

Станислав Втурушин



ЧЕ
КРИММ,
КУКУШКА

НОМИНАЦИЯ
ПРОЗА

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

Управление Алтайского края по культуре и архивному делу
Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В. Я. Шишкова

Станислав Вторушин



НЕ
КРИМИ,
КУКУШКА



Барнаул 2018

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru

ББК 84(2Рос-Рус)6-4

В – 875

16+

*Книга издана на средства краевого бюджета
по результатам краевого конкурса
на издание литературных произведений*

Вторушин, С. В.

В – 875 Не кричи, кукушка / С. В. Вторушин; Упр. Алт. края по культуре и арх. делу, Алт. краев. универс. науч. б-ка им. В. Я. Шишкова. – Барнаул; Кемерово: Технопринт, 2018. – 352 с. – (Победители краевого конкурса на издание литературных произведений).

ISBN 978-5-85905-527-2

Станислав Васильевич Вторушин — один из именитых алтайских писателей, человек с богатейшим литературным и жизненным опытом, что отражается и в его произведениях. Проза Вторушина отличается чистотой и лаконичностью языка, остросоциальной проблематикой, продуманностью и законченностью сюжетных линий. Чувствуется — писатель хорошо знает то, о чем рассказывает.

Эта книга — сборник, в который вошли рассказы разных лет, повесть и литературные эссе. Все они: и художественные произведения, и воспоминания о давно ушедших друзьях, представляют собой яркие картины, проникнутые эмоциональностью и лиризмом, — тем, что обязательно найдет отклик в душах людей.

Книга адресована широкому кругу читателей.

ISBN 978-5-85905-527-2

ББК 84(2Рос-Рус)6-4

© С. В. Вторушин, 2018

© КГБУ «Алтайская краевая универсальная
научная библиотека им. В. Я. Шишкова», 2018

Рассказы

ТРОПИНКА ПАМЯТИ

Трубников никак не мог набраться духа, чтобы решиться на эту поездку. Вот уже несколько месяцев ему снилась маленькая прозрачная речка, песчаный берег и высокий непролазный тальник, окаймлявший его. Но главным видением был не берег, а Люба — пятнадцатилетняя девочка в простеньком ситцевом платье, с двумя косами, опускавшимися на худенькие, выпиравшие из-под платья лопатки. Снились ее глаза, ее тонкие руки, следы ее босых ног на мокром песке. Господи, как это было давно, хотя в ночных видениях казалось, что все происходило не далее, чем вчера. Именно это «давно» и оставляло его. «Ну что я увижу там, на пепелище воспоминаний?» — спрашивал он себя. А на сердце все больше накатывала тоска, которая стала походить на кровотокающую рану.

В последнее время его неожиданно захлестнуло одиночество. До этого жизнь казалась вполне устроенной. Он имел хорошую работу, квартиру, недавно купил новую машину. Каждый отпуск проводил за границей или ездил с друзьями в заповедные уголки отечества. В последний раз вместе с Володькой Логуновым были на Подкаменной Тунгуске. Дикие, завораживающие своей красотой места. Фантастическая река задумчиво и даже с каким-то особым достоинством, как и тысячу лет назад, катила свои воды мимо скал и каменных осыпей, мимо древней, как и сама земля, тайги. От этих видений захватывало дух. Таких мест на земле практически уже не осталось. Он имел возможность сравнивать.

Год назад Трубников был в Швейцарии. Там тоже очень красиво. Высокие горы со сверкающими, покрытыми снегом вершинами, прозрачные полноводные реки, чистенькие деревни, в которых даже улицы похожи на прибранные к праздникам дворы. Но такого величия, такой мощи первозданной природы, как на Тунгуске, ни одному швейцарцу никогда и не снилось. Забраться сюда — все равно, что побывать на другой планете.

А какая здесь рыбалка! Хариусы, сиги, таймени. Но именно там, на Подкаменной Тунгуске ему вдруг вспомнилась речка детства и темноглазая, тонкая, как тальниковый побег, девочка Люба. Вспомнилась так, что сразу перехватило дыхание. Он вдруг ощутил запах ее рук и ее тела, когда они лежали рядом



на песке, ее совершенно необыкновенный, зовущий в такую таинственную глубину взгляд, от которого все поплыло перед глазами. Перед ним вдруг открылась бездна, в которую захотелось броситься, не раздумывая. И от этого видения и Тунгуска, и окружающая ее красота сразу потускнели. Вечером, сидя у костра и потягивая густой, пахнущий дымком чай, он сказал Логуну:

— Хочу домой.

— Да ты что? — удивился Логун. — Вертолет прилетит за нами только через три дня.

— Знаю, и все равно хочу.

Эти три дня показались Трубникову вечностью. Люба все время стояла перед ним, и он не мог отогнать это видение.

В далеком детстве Люба была его соседкой. Он видел ее каждый день. Иногда вечером, закончив поливать грядки, вместе с другими соседскими мальчишками и девочками они сидели на бревнах около ее дома и рассказывали какие-нибудь страшные истории, услышанные от взрослых, или играли в догонялки. Люба ничем не выделялась из остальных. Но однажды, сидя рядом с ней, Трубников поймал взгляд, которым она смотрела на него. И от этого взгляда вдруг гулко толкнулось и замерло сердце, жгучей краской стало заливать лицо и наполнилось жаром тела.

— Ты чего? — хотел сказать Трубников, но язык окаменел, и он не мог выдать из себя ни одного звука.

А она все не отводила взгляда, и он вдруг увидел, каким счастьем светились ее глаза, как изящно изгибалась ее рука, когда она поправляла упавшую на лицо прядь волос. Люба была красавицей, какую нельзя было представить даже на картинке. Трубников прирос к бревну. Сердце стучало все громче, жар накатывал такими волнами, что голова стала мокрой, во рту пересохло. Он не понимал, как случилось, что не разглядел в ней этого раньше. Теперь он уже никогда не сможет разговаривать с Любой так, как говорил минуту назад. Она стала недосягаемой, словно свет далекой звезды. И от этого — до мучительной боли в сердце — желанной.

Два дня он не выглядывал из дома, боясь встретиться с ней. Ему казалось, что все его нутро снова напряжется, язык окаменеет и вместо человеческой речи он станет мычать. На третий долго ходил по комнате, отсчитывая шаги, потом сел за

стол и написал: «Люба, приходи на речку. Я буду там». Отдал записку своей семилетней сестренке и сказал:

— Передай Любе, но только так, чтобы никто не видел. И не вздумай кому-нибудь проболтаться, что я посылал тебя с этой запиской.

Сестренка хитро сверкнула шустренькими глазами, загадочно улыбнулась и побежала к соседке, а он отправился на речку. Но Люба не пришла. Трубников, издергавшись, проторчал на берегу битый час, несколько раз выходил на дорожку, ведущую к пляжу, но там никого не было. Вскоре на речку пришли пацаны с соседней улицы, и он, мысленно распаяя себя и злясь на Любу, купался с ними и играл в футбол. Вернувшись домой, прошипел, строго уставившись на сестренку:

— Отдала?

— Отдала, — заморгав ресницами, сказала сестренка.

— И что она сказала?

— Чтобы ты вечером приходил на бревна.

Злость не прошла, и Трубников решил, что вечером куда-то не пойдет. Пусть знает, что у него тоже есть гордость. Но чем ближе становился вечер, тем меньше гордости оставалось в его душе. Да и вечер был на редкость чудесным. Теплым, как легкое дуновение, ветерком, доносившим запахи созревающего поля, с песней соловья, заливавшего в тальнике на речном берегу. А когда на посеревшем небе появились первые, еще не разгоревшиеся звезды, ноги сами потянули Трубникова к соседским бревнам. Люба уже сидела там, поджав ноги и натянув на колени подол короткого платья. У него снова гулко стукнуло и почти остановилось сердце, но теперь уже не от неожиданно нахлынувшего чувства, а от близости девочки – необыкновенного существа, ворвавшегося в его жизнь. Он молча подошел к ней, сел рядом и опустил голову. Язык снова онемел, он не знал, о чем говорить. Люба вытянула ногу в маленькой белой туфельке, поболтала носком и, бросив на него озорной взгляд, спросила:

— Ну, и зачем ты хотел, чтобы я пришла на речку?

— Искупаться. Зачем же еще?

Ответ прозвучал глупо и Трубников еще больше смутился. Он почувствовал, как начало гореть лицо, как стыд заполняет его от пяток до кончиков волос. Он только сейчас понял, как неверно Люба истолковала его приглашение. Пытаясь исправить неловкость, он сказал:

— Пришла бы с подружкой.

— Ну, вот еще! — Люба снова, теперь уже сердито, мотнула носком туфельки, — Думаешь, я боюсь? Пришла же вот и сижу. — Она посмотрела на Трубникова и придвинулась к нему на несколько сантиметров. — Можешь даже взять меня за руку.

Она еще ближе подвинулась к нему и положила ладонь на бревно. Он накрыл ее своей ладонью и почувствовал, как на него опять накатывается волна жара. Рука Любы была маленькой, прохладной, похожей на необыкновенное чудо. Никогда раньше он не держал в своей ладони ничего подобного. От одного этого прикосновения в душе возникало ощущение счастья. Он замер и посмотрел на Любу. Она опустила голову. Трубников потянулся к ней, ему захотелось коснуться щекой ее плеча, но Люба неожиданно вздрогнула, выдернула руку и соскочила с бревен.

— Ты куда? — спросил ошеломленный ее переменой Трубников.

— Домой. А то мама ругаться будет.

— Придешь завтра?

Она кивнула, резко повернулась и тут же скрылась в калитке. А Трубников так и остался сидеть на бревнах. Но что было удивительно — Люба ушла, а ощущение счастья не покинуло его. Он словно все еще держал в руке ее ладонь и ощущал идущую от нее и заполнявшую всю душу нежность.

Весь день он слонялся по дому, ожидая, когда наступит вечер. День был жаркий и солнечный, небо светло-синее, без единого облачка. В такую погоду все пацаны загорают на речке, а он постоянно выглядывал в окно, ожидая, не выйдет ли из своего дома Люба. Наконец увидел, как она вышла из калитки и остановилась около бревен. На ней было тонкое ситцевое платье, солнце просвечивало его насквозь, очерчивая красивые, тонкие и сильные ноги. Трубников смотрел на ее стройную фигурку, на ее проступающие сквозь платье ноги и воображение стало рисовать ему такие картины, от которых перехватило дыхание и поплыло сознание. Он закрыл глаза, а когда открыл их, Любы уже не было у калитки.

Вечером они снова сидели на бревнах. Она была в том же платье с маленькими полукруглыми крылышками вместо рукавов, закрывавшими предплечья. Последние лучи солнца уже давно исчезли за горизонтом, мягкая темнота накрыла улицу,

соединив землю с небом, усыпанным переливающимися бриллиантовыми звездами. Трубников наклонился к Любе, коснулся щекой ее плеча. Люба пахла свежестью, словно окунулась в воду и солнце одновременно. Трубников повернул к ней лицо и, чувствуя, как прерывается дыхание, шепотом произнес:

— Можно я поцелую тебя?

Она смущенно хмыкнула и закрыла лицо крылышком платья. Трубников вытянул шею и неумело чмокнул ее в губы сквозь тонкую ткань. Но это был не тот, настоящий поцелуй, который он рисовал в своем воображении целый день. Дернув за крылышко, он попытался открыть ее лицо, но Люба, испуганно закрыла его ладонями и, дрожа всем телом, сказала, почти плача:

— Не надо!

Голос ее прозвучал так громко, что Трубников испугался. Он чуть отстранился и замер, не делая никаких движений. Но все же сказал:

— Не думал, что ты такая недотрога.

— А вот теперь думай! — ответила она с вызовом, но не отодвинулась, продолжая все так же сидеть около него.

Он положил руку на ее ладонь, Люба сделала вид, что не заметила этого. Так и просидели они весь вечер.

Это было лето любви. Через несколько дней они уже целовались, как взрослые. А еще через некоторое время Трубников, обнимая Любу, уже прятал в своей ладони ее маленькую, твердую, как зеленое яблочко, грудь, чувствуя, как млеет душа и тело наполняется сладкой истомой. Но о самом тайном своем желании, от которого перехватывало дыхание, о том, что навеки соединяет мужчину и женщину, Трубников не мог сказать Любе ни при каких обстоятельствах. Не хватало духу. Как только он начинал думать об этом, его охватывал жгучий стыд. Язык снова немел, а сердце наполнялось страхом. А вскоре они расстались.

В семье уже давно говорили, что отца должны перевести на работу в другой город. Трубников настолько привык к этим разговорам, что не обращал на них внимания. Он не мог поверить в это даже тогда, когда к дому подогнали машину, чтобы погрузить вещи. «А как же Люба?» — пронеслось сразу в голове. Он кинулся к ней. Люба сидела на крыльце и плакала. Он положил руку ей на плечо и прижал к себе. Она прильнула

лицом к его груди и стала всхлипывать еще сильнее. Он поцеловал ее в голову и сказал:

— Я так люблю тебя, что никогда-никогда не изменю тебе.

— Правда? — Люба подняла на него заплаканные глаза.

— Хочешь, поклянусь. Окончим школу, поступим в один институт и снова будем вместе.

— И я тебе никогда не изменю. Клянусь.

Через год Трубников забыл об этой клятве. Поначалу написал несколько писем, но затем перестал делать и это. Не стал отвечать и на письма Любы.

После института женился, но, не прожив и года, разошелся. Слишком разными оказались они с женой. Вместе спали, вместе вставали завтракать, а ощущение, что в доме живут два разных человека, не покидало ни того, ни другого.

Второй раз заводить семью Трубников не торопился. Тем более что на работе все ладилось, он выбился на хорошую должность и хорошую зарплату, женского внимания было даже с избытком. Иногда, правда, возникала легкая зависть, когда видел кого-то из своих знакомых, гуляющих с детьми. Хотелось тоже поддержать на руках ребенка, пройти с ним за руку по аллейке. Но он тут же, словно ненужное видение, отгонял это желание. «Придет время, заведу и детей», — думал он. Но время шло, а Трубников оставался один. По всей видимости, привык к этому.

Первый раз он почувствовал одиночество, когда был в Баварии. Приехали на Боденское озеро. Кругом холмы, прошитые ровными строчками виноградников. В солнечной дали за сверкающей гладью воды на другой стороне озера виднелся небольшой городок Констанц, к которому спешил паром, заполненный туристами и легковыми автомобилями. На золотистом песке у воды играли дети. И Трубников вдруг ощутил неясную тоску в груди. Вроде все есть — и друзья, и возможность побывать там, где другим и не снилось, а счастливым себя он не чувствовал. Немного позже до него дошло — одинокий человек никогда не может быть счастливым. Одиночество, каким бы оно ни было, всегда сиротство.

Именно там, в Баварии, когда он смотрел на золотистый песок, на накатывающиеся на него, словно поцелуи, небольшие упругие волны, ему вдруг вспомнились невесты откуда всплывшие простенькие строчки:

Девочка в платье из ситца,
С легкою русой косой,
Сердце пронзая мне, снится
Возле речушки босой.
Речка шумит у обрыва.
Плещется в ней ребятня.
Девочка взглядом счастливым
Смело глядит на меня.

Перед глазами вдруг встала Люба, заслонив и солнечное озеро, и паром, и городок на другом берегу. Впервые за многие годы подумалось: «Как она там? Чем занимается? Сложилась ли у нее семья?» И Трубникову до боли в сердце захотелось хотя бы на один день вернуться в городок детства.

Он приехал туда год спустя. Когда подъезжал к Любиному дому, даже опешил: около калитки, как и много лет назад, лежали бревна. Словно никто их не убирал оттуда. Рядом с ними стоял мужчина и что-то прикидывал, разводя руки. «Наверное, муж», — подумал Трубников и сразу засомневался — стоит ли подъезжать к нему. Но выбора не было, и он подъехал. Мужчина поднял голову и настороженно повернулся. Трубников заглушил мотор, вышел из машины и поздоровался. Потом спросил:

— Вы не знаете, кто сейчас живет в этом доме? — и показал рукой на дом, в котором когда-то жил вместе с родителями.

— Серовы. А что?

— Когда-то в нем жил я, — смущенно произнес Трубников.

— Это было, наверное, очень давно, — сказал мужчина.

— Да, давно, — согласился Трубников. — А Любу Голубеву я могу увидеть?

— Любовь Николаевну, что ли?

— Ну, да, — сказал Трубников, вспомнив, как звали Любиного отца.

— Дак она уже два года как умерла.

— Да вы что? — Трубников обессилено опустился на бревно. Потом поднял глаза на мужчину и спросил: — А вы кем ей приходитеесь? Извините, не знаю, как вас звать.

— Никем. Я купил этот дом после ее смерти. А зовут меня Василий Павлович.

В лице Трубникова было что-то такое, что Василий Павлович присел рядом с ним, вздохнул и начал рассказывать, как он



купил этот дом. Оказалось, что Люба жила одна, никогда не выходила замуж и проработала всю свою не очень долгую жизнь учительницей в местной школе.

Трубников слушал его и чувствовал, как сердце наполняется горечью. Он не задал Василию Павловичу ни одного вопроса. Дослушав рассказ, встал, и, не видя ничего перед глазами, сел в машину. Завел мотор и выехал на дорогу. Но он не знал, куда ехать теперь. Да и зачем ехать? Ему казалось, что все хорошее в жизни уже закончилось.

АЛЕШКИНЫ КАНИКУЛЫ

— Алешенька, вставай, пора уже, — слышит Алешка голос бабушки, но открыть глаза и оторвать голову от подушки у него нет сил.

— Вставай, Алешенька, — повторяет бабушка, — дед уже коня запрягает, ехать надо.

Алешке семь. Осенью пойдет в школу, а пока вот уже целую неделю он живет в деревне у бабушки с дедом, куда его на все лето отправила из города мать. В деревне хорошо. Прямо за огородом дедова дома течет речка, на которой они с Анькой пропадают целые дни. Анька — его двоюродная сестра, к тому же на два года старше, и ей все время хочется верховодить. Но Алешка не из тех, кто запросто подчинится девочке. Он и ныряет дальше и плавать уже лучше умеет. А недавно, когда они пошли купаться, Алешка попытался объездить свинью. У Аньки от ужаса даже косички дыбом встали.

Свинья лежала на поляне у дома, закрыв глаза и тихонько похрюкивая. По всей видимости, дремала. Пройти мимо и не потревожить блаженствующее животное было выше человеческих сил. Алешка осторожно подкрался к свинье, одним махом взобрался на нее и схватил за уши. Свинья вскочила и, завизжав, как ошпаренная, рванула через поляну. Если бы она не подпрыгнула, перескакивая яму, Алешка бы ее объездил. Но во время прыжка Алешка произвольно отпустил ее уши, пытаясь схватить свинью за бока, и слетел на землю. Так слетел, что даже перевернулся.

— Больно? — сочувственно спросила тут же подскочившая к нему Анька.

— А ты думаешь, нет? — поднимаясь с земли и потирая ушибленную ногу, сказал Алешка. От боли у него даже навернулись на глаза слезы. — Попробовала бы прокатиться сама, тогда бы узнала.

— Еще чего не хватало, — Анька от возмущения даже передернулась. — Я на лошади-то кататься не хочу, а на свинье тем более...

— Это потому, что боишься, — сказал Алешка.

— А вот и не боюсь. — Анька вплотную подступила к нему и толкнула плечом.

Алешка, отступив на шаг, снова сморщился, и Анька спросила: — Может, не пойдём сегодня купаться? — В её голосе звучало нескрываемое сочувствие, но именно его больше всего не желал сейчас Алешка.

— Ага, чего захотела, — сердито глянув на сестру, сказал Алешка и, стараясь не хромать, пошел к реке.

А когда они возвращались с купанья, Алешка увидел отца. Тот стоял у крыльца и о чем-то разговаривал с дедом. Алешка так обрадовался, что со всех ног бросился к нему. Отец прижал его к себе, потрепал широкой, жесткой ладонью по голове.

— Ты почему не предупредил, что приедешь? — спросил Алешка, замирая от отцовской ласки.

— Чтобы сделать тебе сюрприз, — засмеялся отец. — Неожиданная радость всегда приятнее. Так ведь?

Алешка не ответил, еще теснее прижимаясь к отцу. Около него он забыл и про свинью, и про Аньку, и про то, что у него еще совсем недавно болела нога.

Вечером Алешка узнал, завтра утром отец вместе с дедом и Анькиным отцом дядей Толей поедут метать сено. Оказывается, дед специально ждал для этого отца. Пропустить такое событие Алешка не мог, тем более что еще ни разу не видел, как это делается. Улучив паузу в разговоре взрослых, он попросил, стараясь выглядеть как можно серьезнее:

— Возьмите меня с собой. Я тоже буду метать сено.

— С Анькой останешься. Ей надо завтра грядки полоть, — сурово отрезал дядя Толя.

— Она и без меня выполет, — сказал Алешка, которого тут же захлестнула обида. — Я еще ни разу на покосе не был.

— Ты там с жары упреешь, — попытался отговорить его отец. — Целый день на солнце и спрятаться негде.

Но Алешке так захотелось на покос, что у него на глазах показались слезы. Он не понимал, почему взрослые не хотят брать его с собой. Анька бы попросилась, ее бы взяли. А его до сих пор считают маленьким, хотя он осенью тоже пойдет в школу.

— Пап, возьми, — пригрозившись канючить, слезливо протянул Алешка. — Я от солнца не упреею. Честное слово.

Никто не знает, чем бы закончился этот разговор, если бы в него не вмешался дед.

— Если рано встанешь, возьмем, — примирительно сказал

дед. — А проспишь, не обессудь. Ждать не будем.

— Да я, деда, всегда рано просыпаюсь, — сказал, обрадовавшись, Алешка. — Только когда сильно рано, вставать не хочется.

Дядя Толя засмеялся в ответ на его слова, а отец только молча улыбнулся. Бабушка же обняла Алешку за плечо и, потянув из-за стола, тихо сказала:

— Пойдем спать, я тебе сейчас постель разберу.

Утром Алешка спал так крепко, что не почувствовал даже ласкового солнца, заглянувшего к нему в окно и осветившего своими лучами. Лежа в постели, он слышал, как бабушка будила его, но открыть глаза и встать не было сил. И только когда она сказала, что дед запрягает коня, откинул одеяло и, свесив с кровати босые ноги, протер глаза.

— Иди умывайся, да скорее за стол, — сказала бабушка. — Я тебе оладьев напекла. Не поемши, на покосе не поработаешь.

Алешка наскоро ополоснул лицо, съел два оладушка, выпил целый стакан молока и выскочил во двор. Дед уже запряг в телегу коня, дядя Толя уложил в нее вилы и топор, бабушка сунула ему в руки узелок с едой и полторашку молока. На всю эту суету нетерпеливо смотрел Полкан, стоявший у крыльца и приготовившийся сопровождать на покос хозяев. Алешка никак не мог наладить с ним добрых отношений. Собака брала из его рук еду, разрешала погладить, но ходить на речку категорически отказывалась. «А ведь здорово было бы поплавать в реке, держась за хвост Полкана», — всегда думал Алешка.

— Садись рядом со мной, — сказал дед, усаживаясь на большую, мягкую охапку сена и беря в руки вожжи.

Он помог Алешке залезть в телегу и устроиться рядом. Подождя, пока усядутся отец с дядей Толей, и понукнул лошадь. Телега тронулась, Алешка оглянулся, увидел на пороге провожавшую его бабушку и пожалел о том, что рядом с ней не было Аньки, которая еще дрыхла в своей постели. Теперь он точно был уверен в том, что ее бы на покос не взяли.

Лошадь неторопливой трусцой засемила по дороге, телега загромычала, подсакивая на кочках, но Алешке все равно было хорошо. Он смотрел то на сопки, горбатыми громадами возвышающиеся слева и справа, то на Полкана, бежавшего рядом с телегой. Солнце, поднимаясь над сопками, начало



припекать, и Полкану в его мохнатой шубе стало жарко. Он высунул язык и теперь уже бежал не сбоку телеги, а сзади ее. А Алешке хотелось посмотреть на морду лошади. Ему почему-то казалось, что и она должна была от жары высунуть язык. Но лошадь не оборачивалась, и подтвердить или опровергнуть свою догадку он не мог.

Покос Алешка увидел сразу, как только поднялись на перевал. Внизу, далеко в стороне от дороги, у подножья сопки, стояли маленькие аккуратные копешки. Дед свернул туда, но оставил телегу не у копешек, а за ними, на берегу ручья. Отец с дядей Толей соскочили с телеги и начали вытаскивать вилы, а дед стал распрягать лошадь.

— А тебе, Алексей, — сказал дед, выводя лошадь из оглобель, — надо положить еду в тень под телегу, а молоко в ручей. Пока мы будем сено метать, ты Аньке ягоды набери. Кружку под ягоду в узелке найдешь.

Если бы не дед, Алешка никогда не стал собирать ягоду для Аньки. Но послушаться деда нельзя. Не заступился бы он, не взял бы на покос. Алешка нехотя достал из узелка эмалированную кружку, огляделся вокруг и спросил:

— А где же искать ягоду?

— В траве, где же еще? — сказал дед и, взяв лошадь под уздцы, повел ее к копнам.

Алешка отошел несколько шагов от телеги и тут же увидел в траве крупную красную клубнику, кисточками висевшую на тонких, согнувшихся под ее тяжестью стебельках. Он набрал полную горсть, но не ссыпал ягоду в кружку, а сунул в рот. Ягода пахла солнцем, ароматами горных трав и была такой сладкой, что собирать ее в кружку Алешке никогда не пришлось бы в голову. Он с удовольствием ел ее, удивляясь лишь тому, что на покосе растет так много сладкой клубники. Он уже почти наелся, а ягоды все не убывало. Алешка поднял голову. То, что он увидел, удивило его.

Вместо маленьких копешек на скошенной траве стали появляться очертания большого стога. Дядя Толя на лошади подвозил к нему копны. Отец поддевал на вилы сразу половину копны и подавал деду, стоявшему на основании стога. Дед принимал сено и раскладывал его равномерно по всему основанию.

Алешка вскочил на ноги, бросил пустую кружку в телегу и

побежал к отцу. Отец был без рубахи, разгоряченный работой, его лицо и тело блестели от пота. Алешка остановился около него, наблюдая за тем, как напрягались мускулы отца, когда он поддевал на вилы и передавал деду огромную охапку сена. Передохнуть отцу было некогда. Едва он успевал подобрать последнее сено, как дядя Толя подвозил новую копну. Алешку поразил запах сена, разносившийся вокруг. Он был пряным и сладковатым, и только сейчас Алешка понял, почему у бабушкиной коровы такое вкусное молоко. В скошенной траве было много сладкой клубники.

Алешка так засмотрелся на отца с дедом, что, услышав за спиной тяжелое пыхтение, от испуга отскочил в сторону. Пыхтела лошадь, на которой дядя Толя вез к стогу очередную копну. Остановившись и заставив лошадь попятиться на полшага назад, дядя Толя освободил копну от веревки, с помощью которой тащил ее к стогу, и, повернувшись к Алешке, подозвал его к себе.

— Не хочешь мне помочь? — спросил он, сверху вниз хитрово поглядывая на Алешку.

— Как помочь? — не понял Алешка.

— А вот так! — дядя Толя подхватил Алешку под мышки, резким движением оторвал от земли и усадил на лошадь.

Алешка до того испугался, что сначала зажмурился. Показалось, что лошадь тут же сбросит его с себя. Но лошадь и не думала сбрасывать его.

— Держись за гриву, — сказал дядя Толя, и взяв лошадь под уздцы, повел ее к копне.

Алешка что есть сил ухватился руками за гриву, но вскоре успокоился и, выпрямившись, огляделся. Сверху все выглядело совсем не так, как с земли. Долина между сопкок уходила в синешую даль, русло ручья с высокими кустами тальника по берегам походило на изреженную лесополосу, да и вершины сопкок показались ближе. Нет, сидеть верхом на лошади было совсем не то, что на заполошной свинье. Лошадь придавала не только уверенность, но и силу. И Алешка страшно пожалел, что его не видела сейчас Анька. Начни ей рассказывать, что возил на коне копны, ни за что не поверит.

А дядя Толя, между тем, зацепил очередную копну, и по-нукнув лошадь, направил ее к поднимающемуся над кошеиной стогу. Алешка уже не боялся сидеть верхом. Он даже

отпустил гриву и оглянулся по сторонам, представляя себя былинным богатырем. И опять пожалел, что Анька не видит его. Хоть бы Полкан прибежал посмотреть. Но Полкан рыскал по берегу ручья, что-то вынюхивая и деловито разгребая лапами землю.

Когда подъезжали к стогу, Алешка заметил, что отец, воткнув вилы и опершись на черенок, смотрит на него с какой-то очень хорошей, затаенной улыбкой. С такой хорошей, что Алешка не удержался и радостно засмеялся. И чистый, звонкий смех его, похожий на колокольчик, заставил улыбнуться и деда, и дядю Толю.

— Приеду домой, расскажу, что сын ездит верхом на лошади, — мать не поверит, — качая головой, сказал отец.

— Надо было фотоаппарат взять, — сказал Алешка.

Ему очень хотелось, чтобы мать увидела его верхом на лошади. Был бы фотоаппарат, он бы потом показал фотографию и Аньке, и в школе, когда пойдет учиться.

Дядя Толя, освободив копну от веревки и понукнув лошадь, направился за следующей копной, а отец с дедом стали укладывать сено в стог. На середине пути дядя Толя остановил лошадь и передал поводья Алешке.

— Держи, — сказал он, протягивая поводья. — Только не натягивай их и не дергай. Конь этого не любит.

Тут уж Алешка просто замер от счастья. Отправляясь на покос, он никогда не думал, что ему доверят управлять лошадью.

Обедали в тени телеги. Дед расстелил брезентовый дождевик, выложил на него хлеб, пирожки, которые утром напекла бабушка, вареные яйца. Алешка сходил к ручью и принес молоко. Дед налил ему полную кружку. Молоко было холодным и до того вкусным, что Алешка одним махом выпил половину кружки. Потом принялся за пироги. Когда уже заканчивали обедать, залаял Полкан. Лаял он зло, с остервенением, голос его звенел. Никогда раньше Алешка не слышал такого лая.

— Нашел кого-то, — сказал дед. — Может, хорька?

Алешка соскочил и кинулся на лай собаки. Хорька он не видел ни разу в жизни и пропустить драку таинственного животного с собакой, конечно, не мог. Полкан бросался на кого-то у куста на берегу ручья. Подбежав к собаке, Алешка оторопел. Подняв голову и глядя маленькими, как точки, немигающими глазами на Полкана нападала змея. Сверху она была чер-

ной, а брюшко светло-серым и блестящим, как речная ракушка. Полкан бросался на нее, та делала молниеносные выпады на встречу, но собака успевала уворачиваться. Как помочь Полкану, Алешка не знал, поэтому побежал к взрослым.

— На Полкана змея напала, — подбежав к телеге и еле сдерживая срывающееся дыхание, сказал он.

Дядя Толя тут же вскочил на ноги, схватил вилы и зашагал к собаке. За ним направился отец. Алешке никак нельзя было отстать, поэтому пришлось бежать. Змея все так же бросалась на собаку, та отскакивала, не давая укусить. Дядя Толя подошел к Полкану, отпихнул его ногой, подцепил змею на вилы и перебросил так далеко, на другую сторону ручья, что Алешка услышал, как она шмякнулась о землю. Полкан еще несколько раз тьякнул и замолк.

— Надо было убить, — сказал Алешка. — Она все равно кого-нибудь укусит.

— Никого она не укусит, — отрезал дядя Толя. — Она теперь так напугана, что месяц будет сидеть в какой-нибудь норе.

— Змеи вредные, — стоял на своем Алешка. — Их надо убивать.

— Бог создал каждой твари по паре, — сказал дядя Толя. — Змеи тоже пользу приносят. Они мышей едят.

— Ага, — возразил Алешка. — А коты кого ловить будут?

— Коты дома живут. А мыши везде. Так что, друг мой, без змей нам с мышами не справиться.

— А меня змея не укусит? — спросил Алешка.

— Не укусит, — сказал дядя Толя. — Если ее руками ловить не будешь.

Но Алешка все равно не хотел встречаться со змеями. И очень обрадовался, когда дядя Толя снова усадил его на коня. Тут уж никакая змея не достанет. Алешка уверенно взял в руки поводья и направил коня к очередной копне. Дядя Толя молча шел сзади, зная, что Алешка теперь справится с лошадей и без него.

С покоса возвращались вечером. Алешка так устал, что, когда дядя Толя стал запрягать коня в телегу, ему тут же захотелось лечь в нее на большую, пахучую охапку свежего сена, которую положил туда дед. Но дед достал из узелка кружку и пошел собирать ягоду для Аньки. «Без подарка, — сказал он, — к внучке возвращаться нельзя». Пришлось помогать деду. Ведь Анька,



как-никак, сестра, и заботиться о ней тоже надо. Правда, когда собирали клубнику, Алешка и сам наелся вдоволь.

А дома вернувшихся с покоса работников ждала баня. Бабушка уже истопила ее и сложила на лавке в предбаннике две аккуратные стопочки чистых полотенец и нижнего белья. Тут же стояла запотевшая банка с квасом и стаканы. Алешка долго смотрел на отца, не решаясь раздеться, но когда тот начал снимать с себя рубашку, стянул шорты, а затем и трусы. Дед уже сидел в парной на верхней полке, и Алешка подсел к нему.

Воду на каменку начал поддавать дядя Толя. Когда он плеснул из ковшика на раскаленные камни, вода щелкнула, невидимая, тугая волна пара обожгла Алешку, в ноздри ударил аромат распаренных березовых листьев. И ему показалось даже, что задымились волосы. Он в испуге соскочил на нижнюю ступеньку, но тут же услышал, как рассмеялся дядя Толя.

— Эх ты, а еще париться собрался, — сказал он и снова плеснул из ковшика на раскаленные камни.

Смех разозлил Алешку, и он решил выдержать до конца. Первым начал париться отец. Горячие волны пара после каждого удара веником скатывались вниз, растекаясь по всей парной, и от этого становилось еще невыносимей. Дядя Толя все время поддавал, а дед сидел у самой каменки, словно пар не доставал его. Дед был мокрым, все его тело покрылось блестящими капельками пота, и Алешка подумал, что таким образом он распаривает кости. Два дня назад у деда заныла нога, и Алешка слышал, как он говорил бабушке, что неплохо было бы в субботу попарить кости. Алешке очень хотелось посмотреть, как он будет это делать, но когда отец закончил париться и выскочил из парной, сын прошмыгнул в приоткрытую дверь вслед за ним. Дальше сидеть в парной не было сил. И только остановившись в предбаннике, Алешка услышал, как учащенно стучит его сердце. «Наверно, от перегрева», — подумал он, выпил вместе с отцом холодного кваса и сел отдыхать на лавку. А в парной, между тем, раздавалось непрерывное побряхтывание и хлопанье веника по разгоряченному телу. Это парился дядя Толя. Но зайти в раскаленный ад Алешка бы уже не решился. Ему казалось, что для первого раза он и так пробыл там слишком долго.

Во время ужина за столом он сидел в чистой футболке и новеньких шортах, которые ему послала мать. Алешке показа-

лось, что в этот вечер бабушка была особенно внимательна к нему. Она поставила перед ним блюдце со сметаной и полную тарелку тонких, ароматных блинов. Даже Анька была в этот вечер другой. Она не стала хватать блин первой, а подождала, пока возьмет Алешка. Потом спросила, не поедут ли они на покос завтра.

— А тебе зачем? — удивился Алешка.

— Хочу попроситься, чтобы взяли меня с собой, — сказала Анька. — Я бы вам ягоды набрала. Ягода такая вкусная.

Она зажмурилась и сжала губы. Алешке показалось, что, если ее погладить по голове, Анька замурлыкает.

— А мы змею видели, — сказал Алешка. — Она чуть Полкана не укусила.

— Ну и что? Я змей не боюсь, — ответила Анька. — Я, знаешь, сколько их видела?

Алешка понял, что Аньку не отговорить, если завтра поедут на покос, она обязательно привяжется. «Ну и пусть, — подумал он. — Пока я буду возить копны, она нам всем ягод наберет. И увидит, как я хорошо на коне езжу».

Взрослые выпили по рюмке водки, правда, бабушка отказалась. Дед начал рассказывать о том, где косили сено в прошлом году, и какая хорошая там была трава. Дядя Толя поддакивал ему, а отец молча слушал. Алешку дедовы рассказы не интересовали, он наелся блинов, но выходить из-за стола не хотелось. Ему было хорошо со взрослыми. Он сам чувствовал себя взрослым. Вчера не чувствовал, а сегодня что-то в нем изменилось. И на свинье бы теперь кататься не стал. Да и зачем на ней кататься, если научился ездить на коне. Анька не научилась, а он умеет.

От усталости, которая накопилась за день, жаркой деревенской бани и вкусного ужина у Алешки стали слипаться глаза. И когда дед начал объяснять отцу, куда они завтра поедут косить сено, Алешка, откинувшись на спинку стула и свесив голову, уже спал. Он не слышал, как отец осторожно взял его на руки, отнес в спальню и уложил на кровать. А бабушка накрыла одеялом и поцеловала в голову. Алешка видел счастливые сны. Зеленые сопки, стог сена, который они поставили, звонкий ручей с холодной, прозрачной до самого дна водой. И себя верхом на красивом, разгоряченном коне. И еще смеющуюся Аньку, стоявшую у ручья и протягивавшую ему полную кружку сладких ягод.



АХ, ЗАЧЕМ ЭТА НОЧЬ...

Тимофей Иванович сквозь сон услышал звонкий, похожий на серебряный колокольчик, девичий смех, острожно открыл глаза и уставился в потолок. В окно лился ровный, голубоватый лунный свет. Самой луны не было видно, она уже поднялась и теперь висела высоко над крышей, источая на землю потоки своего света. На белой стене выделялся четкий темный квадрат шифоньера. На другой стене с легким шелестом тикали часы. Впервые это тиканье он обнаружил прошлой ночью. Сначала не мог понять, откуда оно идет. Тикают обычно ходики или механический будильник. А у него часы работали от батареек и никаких звуков издавать не должны. Утром он долго смотрел на них, пытаясь выяснить причину тиканья. Потом понял: звук издаваладвигающаяся по циферблату секундная стрелка. Он удивился, что не замечал этого раньше.

Не обращая внимания на тиканье, он прислушался, снова ожидая услышать девичий смех. Но, кроме звука часов, в комнате раздавалось только тихое посапывание спавшей на другой кровати жены. Из-за окна не доносилось ни голосов, ни смеха. Это-то больше всего и настораживало. Если девчонка под окном не смеется, значит шепчется или целуется с парнем. А от поцелуев совсем недалеко до беды. Тимофей Иванович, сам не зная почему, вдруг стал переживать за нее, словно за собственную дочь.

Девичий смех среди ночи он услышал неделю назад, сразу после того, как под окнами поставили скамейку. До этого ее не было и старушки из подъезда все время выговаривали дому-праву за то, что им негде посудачить. Но, выходит, что скамейка была нужна не только им. Когда Тимофей Иванович впервые услышал девичий смех, тут же стал соображать, кому бы он мог принадлежать. В его подъезде девчонки были или еще слишком маленькими, чтобы сидеть под окнами с женихами, или уже повыскакивали замуж, и теперь им было не до обнимок и вздохов под луной. Он старался представить ту, которая каждую ночь нарушала его сон, но не мог. Однажды он приподнялся на руках и попытался дотянуться до окна, чтобы разглядеть в лунном свете смеющуюся девчонку, но тут же понял, что ему это не под силу. До окна было не менее двух шагов, а ноги

у Тимофея Ивановича после случившегося два месяца назад инсульта не ходили.

Он горестно вздохнул и прикрыл глаза. Нemoшь настолько угнетала, что однажды он собрался наложить на себя руки. День и ночь лежать полутрупом, не вставая с постели, было выше его сил. Тем более что врач никакого реального улучшения не обещал. Повторял только одно: надо надеяться, в медицинской практике всякое бывает. «Теперь уже поздно надеяться, — думал Тимофей Иванович. — Было бы мне двадцать лет, тогда бы другое дело. А в шестьдесят откуда взяться здоровью?» Он настолько исстрадался, что ни в какое свое выздоровление уже не верил. Отсюда и пришло желание уйти из жизни.

Тимофей Иванович уже собрался исполнить свое намерение, благо жена ушла и в квартире кроме него никого не было, но в это время заскрипел ключ входной двери, и он увидел на пороге дочку. Она словно прочитала его мысли. Подошла, молча села на кровать и, запустив руку в его шевелюру, посмотрела в глаза. Никогда раньше Тимофей Иванович не видел такого пронзительного и тоскливого, царапающего за самую душу взгляда. И он понял, что, если наложит на себя руки, исковеркает жизнь дочери. Она привыкла быть рядом с отцом, сиротство ее убьет. Даже такой немощный он оставался для нее опорой. После этого он стал думать только о жизни.

Сейчас, глядя в потолок, Тимофей Иванович пытался представить, о чем могли говорить влюбленные. Он словно сам садился на скамейку под окном, вдыхал будоражащий запах молодого и здорового женского тела, смотрел счастливыми глазами на ту, от одного взгляда которой начинало неровно стучать сердце. Тимофей Иванович всю жизнь старался понять, почему это происходит с мужиком всякий раз, когда около него оказывается понравившаяся ему женщина, но никаких разумных доводов этому не находил. Ведь сотни женщин, многие из которых не просто смазливые, а по-настоящему красивые, пройдут мимо, и ни на одну из них мужик даже не обратит внимания. А потом вдруг увидит такую, что сразу замрет душа. Только оттого, что она рядом, что на нее можно смотреть, слушать ее голос, человек становится счастливым. Что это? Волшебство или стрела Аполлона, как называли любовь древние греки? Да и что такое любовь?

Тимофей Иванович посмотрел на спящую жену, на рассыпавшиеся по подушке темные шелковистые волосы, на ее тонкую белую руку, лежащую поверх одеяла, и вдруг ощутил к ней такую нежность, что у него защемило сердце. Ему захотелось, как это не раз было раньше, обнять ее, прижать к себе, уткнуться лицом в мягкие волосы. Но он не мог дотянуться до нее. Да если бы и дотянулся, представил, как жена сначала тяжело вздохнет, потом моргнет несколько раз ничего не понимающими глазами и с недоумением уставится на него. Ругаться не будет, но при случае беззлобно кольнет: «Вечера тебе не хватило». А при чем тут вечер? Чувство не разбирает ни времени, ни места. Когда нахлынет, тогда и нахлынет. И никакого спасения от него не найдешь. Главное, чтобы оно соединило души, было одинаковым у обоих. А то ведь один любит другого до такой степени, что готов раствориться в нем, а тому от этой любви ни холодно, ни жарко.

Вот и эти двое на скамеечке — сидят и прижимаются друг к другу. Девчонка наверняка полушепотом тараторит о каких-нибудь пустяках, а парень, сопя и прилипая к ней губами, блудливой рукой пытается залезть под тонкую кофточку. Никаких других мыслей у него, подлеца, быть не может. Не видя и не зная его, Тимофей Иванович был почему-то убежден в этом. Он представил, как парень вздрагивающей рукой пробирается к груди девушки, нахмурил брови, сразу посмурнев лицом, и откинул одеяло, чтобы снова попытаться встать с постели. Ему хотелось любым способом помешать греху, но в это время под окном опять раздался чистый девичий смех, и у него отлегло от сердца. Если девушка смеется так искренне, значит, никаких худых умыслов по отношению к себе не чувствует.

«Господи, как быстро пролетает человеческая жизнь, — подумал Тимофей Иванович. — Давно ли сам вот так же сидел на скамеечке, замирал от счастья, обнимая свою девчонку, а теперь думаю о вечном».

Ему вспомнилось, как он впервые встретил Валю, свою будущую жену, на танцах в городском саду и остолбенел, не в силах сдвинуться с места. Ему бы надо было сказать что-то, пока она не успела уйти, а у него отнялся язык. Никогда раньше он не видел такой красивой девушки. Он смотрел на нее и чувствовал, как от макушки до пяток разливается сковывающая все тело робость, сердце вдруг замерло, а дыхание оста-

новилось. Он словно умирал от ее взгляда, причем делал это с радостью, потому что в это мгновение даже умереть ради нее было для него счастьем. И он бы умер, если бы не заметил, что, глядя на него, она тоже оцепенела и тоже не может сдвинуться с места. А потом они пошли танцевать, и он кружился с ней, не чувствуя себя, и напросился провожать ее домой.

Столько лет прошло, а он до мельчайших подробностей помнит эту встречу. Темную ночь с запахом росы из палисадников, тусклые, почти невидимые над головой звезды и такую тишину, что боязно произнести слово. Пересилив себя, он взял ее за тонкие холодные пальцы и увидел, как резко она повернула к нему лицо и вся напряглась, не сделав попытки высвободить руку. Так они и дошли до ее дома. «Почему именно это осталось в памяти? — думал Тимофей Иванович. — Может быть потому, что из таких мгновений и состоит счастье?»

А потом была свадьба, рождение сына и дочери, связанные с работой переезды из одного города в другой. Но это даже не замечалось, потому что рядом была Валя, взявшая на себя все семейные заботы и оставившая ему только работу, которая позволяла содержать семью. И его почти никогда не покидало ощущение счастья. Оно было в ее улыбке, в ее лучистых глазах, в ее тепле, когда она обнимала за шею и прикасалась к нему губами. Особенно внимательной она была, когда что-то не ладилось с работой и над семейным благополучием сгущались тучи. «Ты у меня умный, — любила повторять она, — и всегда найдешь выход из самого трудного положения». И эта поддержка была дороже любой помощи. Вот почему вся жизнь, которая, по сути, почти закончилась, показалась ему легкой.

Тимофей Иванович вздохнул и закрыл глаза. Вспомнил дочку, когда она была совсем маленькой: ее пухленькие ручки с тонкими пальчиками, которые все время хотелось поцеловать, топот босых ног по голому полу — и это тоже было счастьем. Несчастье обрушилось, когда дочка вышла замуж, родила сына, а потом собралась расходиться с мужем. Уличила его в измене, закатила скандал, и он, признавшись во всем, стал просить у нее прощения. Настоящий мужик никогда не поступит так, подумал тогда Тимофей Иванович. Даже если тебя поймали за ноги, но ты не признался, все это останется лишь подозрением, а не состоявшимся фактом. Подозрение забудется, измена — никогда. Признаться можно только себе и нико-



му другому. Если, конечно, не хочешь уходить от жены. Это он и сказал зятю, когда тот пришел к нему и попросил уговорить Дашу не разводиться. Уговорить удалось, но полного счастья в их семейной жизни так и не наступило. Недоверие к мужу осталось у дочки на всю оставшуюся жизнь. Недаром, когда становится трудно, она в первую очередь бежит к отцу. Именно он остался для нее единственной опорой.

«А какая я теперь опора? — с горечью подумал Тимофей Иванович. — Сломанный костыль, который и приспособить-то некуда. Был опорой, теперь стал обузой». Но он тут же отбросил эту мысль. После того, как дочь помешала ему уйти из жизни, он понял, что опираться можно не только на физически здорового человека. Моральная поддержка иногда значит гораздо больше...

Спать уже не хотелось, он смотрел в потолок и думал. Вроде не так давно был молодым, не так давно радовался детям, а такое ощущение, словно пережил несколько эпох. Да так оно, в сущности, и было. Всю жизнь мотался по великим стройкам, проектировал самые мощные в мире нефтяные и газовые магистрали, составлял технико-экономическое обоснование освоения промышленной зоны Байкало-Амурской магистрали и все надеялся, что пройдет еще пять-десять лет, и он вместе со всей страной заживет счастливой жизнью. Осядет в хорошем городе, все свое время будет отдавать семье и детям, потому что чувствовал в душе столько неизлитой любви к ним, что в пору было покаяться. Он вспомнил, как возвращался из дальних странствий домой, почему-то чаще всего глубокой ночью и перед утром, добирался с аэродрома на такси, а жена босиком и в одной ночной сорочке уже ждала его у порога, словно знала, что он появится именно в эту минуту. Тимофей Иванович обнимал ее, теплую, еще не отошедшую ото сна, зарывался лицом в ее волосы, тыкался горячими губами в ее губы. Потом осторожно, на цыпочках, подходил к детской, приоткрывал дверь, смотрел на сладко посапывающих во сне сына и дочь, и обнял жену, шел с ней в спальню. И это тоже были минуты счастья.

А теперь его работа стала никому не нужна, уплыли мечты о хорошем городе, остаться пришлось там, где застал развал государства. Года два Тимофей Иванович жил в постоянном стрессе, не видя цели дальнейшего существования, а потом решил: если мы не сумели сохранить то, что завоевали и по-

строили, значит надо сделать так, чтобы дети вернули себе все это. Но именно на детей направили главный удар разрушители Отечества. С осатанелой настойчивостью они начали крушить вековую мораль, превращая человека в животное. Потому что тогда и поступать с ним можно будет, как со скотиной.

Телевизор невозможно стало смотреть. Весь стыд, который раньше прятали в самых темных глубинах души, вывернули наизнанку. Причем все это обрушили на женщину. Всю мощь государственной пропаганды направили на то, чтобы убить в ней материнский инстинкт, превратить из жены и хранительницы семейного очага в объект сексуального удовлетворения. И, можно сказать, добились этого. Проституция для сотен тысяч женщин — уже профессия.

Тимофей Иванович делал все, чтобы новая жизнь не задела дочь. Узнав о ее размолвке с мужем, он несколько дней не мог найти себе места. А когда она, вся в слезах, пришла к нему, обнял ее за плечо, по-отечески поцеловал в висок и сказал:

— Знаешь, Дашка, почему у вас это происходит? — она подняла на него мокрые глаза и затаила дыхание. — Потому, что завели одного ребенка и на этом строительство семьи посчитали законченным. Один ребенок еще не семья. Надо, как минимум, трех.

— Ты шутишь? — она шмыгнула носом. — В наше-то время?

— В наше время и надо заводить детей. Кто защитит твоего Ваньку? На нашу землю столько желающих, что одному ему не отбиться.

Дочка замолчала, промокнула глаза платком, потом сказала, пожав плечами:

— Может быть, ты и прав.

А недавно сообщила ему, что ждет второго ребенка. Врачи сказали — будет дочка. У сына тоже дочка, так что одну внучку Тимофей Иванович уже имеет, теперь будет ждать другую...

Он снова вздохнул и посмотрел в окно. Луна переместилась за крыши соседних зданий, на небе четче проступили звезды. За окном была тишина и, сколько ни напрягал слух Тимофей Иванович, со двора в комнату не доносилось ни одного звука. Он подумал, что влюбленная парочка покинула скамейку и разошлась по домам, но вдруг услышал с улицы тихий разговор. Такой тихий, что если бы не открытая форточка, его не было бы



слышно. Слов, конечно, не разобрать, но Тимофея Ивановича почему-то обрадовало, что влюбленные до сих пор не ушли. Значит им трудно расстаться, значит у них это серьезно.

Он не мог понять, почему совершенно незнакомая девчонка вдруг стала ему такой близкой. Наверное, потому, что устал смотреть на разоренные семьи и беспризорных детей. Многие молодые женщины уже не хотят выходить замуж. Он сам знает такую, она живет в их подъезде всего двумя этажами выше. Симпатичная, стройненькая, умеющая и одеваться, и вести себя с определенным достоинством. Ей уже под тридцать, а о замужестве не хочет и слышать. Встречается с каким-то мужчиной, ночует у него иногда раз в неделю, а иногда и реже, и ее это вполне устраивает. Причем, ни от кого не скрывает этого. Тимофей Иванович, когда еще ходил, спросил как-то, столкнувшись с ней в лифте:

— Ты что это, Марина, так долго не приглашаешь меня на свадьбу? Ведь состарюсь скоро.

— А я не собираюсь замуж, Тимофей Иванович, — сказала она, смеясь. — Во-первых, мужиков хороших почти не осталось, а во-вторых, пойдут дети, зачем лишняя обуза?

— Но ведь Бог создал женщину для того, чтобы продолжать род человеческий, — заметил он.

— Это все высокие слова. Сейчас о продолжении рода никто не думает. Один день прожил и то счастлив.

— Да нет, — возразил Тимофей Иванович. — Без собственных детей полноценного счастья человеку не обрести.

— Были бы вы лет на двадцать помоложе, вышла бы за вас, — все так же смеясь, сказала Марина. — Отбила бы вас у жены.

Тимофей Иванович хотел продолжить разговор, но в это время лифт остановился, и ему пришлось выходить. Он пожалел, что не удалось договорить до конца. Сказать же он собирался одно: не хочешь замуж, тогда хотя бы родила себе ребенка, пока не поздно. Жить станет труднее, а душа обретет спокойствие. В доме появится человек, которому можешь отдать свою любовь. И который будет отвечать тебе тем же. Без любви у человека не жизнь, а существование.

Сейчас, глядя в потолок, он думал о том, что никакие его слова на Марину, скорее всего, не подействовали бы. Семья должна быть внутренней потребностью женщины, ее ин-

стинктом, а у Марины его нет. Она уже живет другими ценностями, давно вытравив из себя все душевные терзания. Их заменили личное благополучие и сытая жизнь. Марина уже никогда не сможет стать ни хорошей женой, ни матерью. «Господи, в кого же у нас превратили женщину?» — закрыв глаза, с горечью думал Тимофей Иванович.

Ему вдруг вспомнилась недавняя телевизионная передача из Чечни. Показывали не то какой-то гараж, не то сарай, где у ног свободолюбивых вайнахов лежала связанная русская девушка. Ее рот был заклеен липкой лентой. Чеченцев было пять или шесть. Они о чем-то говорили на своем языке, потом один из них взял нож, одной рукой задрал девушке подбородок, а другой перерезал ей горло. Остальные смотрели на эту чудовищную картину и смеялись. У Тимофея Ивановича в тот миг чуть не остановилось сердце. Если бы он мог, сам с автоматом в руках пошел мстить этим вырождакам. Но больше всего его поразил ведущий телепередачи. Он не высказал ни слова сочувствия девушке, ни слова осуждения убийцам. «Вот кто насаждает в стране новую мораль, новые ценности», — подумал тогда Тимофей Иванович.

От этих воспоминаний заняло в груди. Жена постоянно говорила о том, что нельзя принимать все так близко к сердцу. Иначе можно просто свихнуться. Когда она, так же, как и Тимофей Иванович, впервые услышала смех за окном, сказала:

— Все это заканчивается одним и тем же. Сначала смеются, а потом утирают слезы.

— А может, это любовь? — возразил Тимофей Иванович.
— Может, еще такая пара будет, что другим останется только завидовать.

— А ты уже переживать начал? — с ехидной ноткой в голосе спросила жена. — Тебя эти переживания вон до чего довели... О себе думай.

Тимофей Иванович вздохнул и посмотрел в темное окно. И тут ему показалось, что оттуда раздался не то стон, не то приглушенный крик о помощи. Он замер, напряженно вслушиваясь в предутреннюю тишину. За окном снова раздалось непонятные звуки. Перед глазами вдруг встала девчонка, которой перед телеэкраном перерезал горло чеченец. Тимофей Иванович почувствовал, как сорвалось и бешеной дробью забарабанило сердце. Не ощущая себя, он встал с кровати, сделал два шага к



окну и, опершись руками о подоконник, попытался посмотреть вниз, на скамейку. Она была в полумгле, но он увидел на ней два силуэта. Парень обнимал девушку за плечо, уткнувшись лицом в ее волосы. Он или говорил ей что-то, или осторожно целовал в голову.

Тимофей Иванович так увлекся, что не заметил, как встала жена, подошла к нему и, остановившись в шаге от окна, спросила дрожащим голосом:

— Тима, милый, ты начал ходить?

Только сейчас он осознал, что сам, без всякой помощи, встал с постели и сделал два первых шага. Он неуверенно развел руки и сказал:

— Ну да. Ты же видишь...

— А зачем ты выглядывал в окно? — спросила жена.

— Песню вспоминал, — сказал Тимофей Иванович. Он посмотрел на жену счастливыми глазами и протянул к ней руки. — «Ах, зачем эта ночь так была хороша...» Помнишь?

— Конечно, помню, — сказала жена, обхватила Тимофея Ивановича и, прижавшись щекой к его груди, почему-то заплакала.

АРКАША

Всю ночь мела вьюга, окна больничной палаты, отражая порывы ветра, нервно вздрагивали, и было видно, как стоявший у ограды тополь заламывал голые, похожие на узловатые руки, ветви. Ветер зло налетал на него, большая толстая ветка гнулась, пытаясь достать до окна, но как только порыв ослабевал, она распрямлялась и снова тянулась вверх. Электрический фонарь на столбе у тротуара скрипел и раскачивался, и ветка то появлялась в окне, в его желтоватом свете, то пропадала в ночной завывающей мгле. Двое моих соседей по палате спали, один из них похрапывал, а я смотрел в темное окно и слушал ветер.

Вечером в палате опустела одна кровать. Три дня назад на нее поместили находившегося без сознания парня. Его привезли на каталке четыре сестры, он был прикрыт чистой белой простыней и походил на мертвеца. Когда они сняли простыню, мы увидели, что парень голый. Сестры ловко приподняли его, положили на кровать и снова прикрыли простыней.

— Что с ним? — спросил мой сосед Кайманов, кивнув головой на нового пациента.

— Отравился угарным газом, — сказала дежурная сестра Катя, которая незадолго до этого приходила к нам ставить уколы. — Закрыли заслонку, а уголь в печи не прогорел. Жена и дочка — сразу насмерть, а этот еще дышит.

— Он выживет? — спросил я.

— Кто его знает, — пожал плечами Катя. — Мы надеемся, а как будет — известно одному Богу.

Сестры неслышно вышли, а мы, как по команде, устались на парня. Он дышал. Его грудь слегка поднималась и опускалась, но лицо было застывшим, тяжелые веки слиплись. Парень был крупным и, судя по мускулатуре, сильным. Я смотрел на него, и мне казалось, что он должен вот-вот зашевелиться, открыть глаза и увидеть нас и белую палату с большими окнами и высоким потолком. Он должен жить. Такие люди не могут покидать этот мир с закрытыми глазами.

Утром у кровати парня появились сразу три медсестры. Третьей была практикантка из медучилища. Мы это поняли по тому, как неумело и стыдливо она держала в руках больничную



утку и, опустив голову, прятала глаза, чтобы не встретиться с нами взглядом. В руках у Кати была тонкая длинная резиновая трубка. Глядя на практикантку, она поясняла:

— Сейчас мы введем катетер, и ты подставишь под него утку. Так он будет избавляться от мочи.

Она нагнулась над парнем и начала делать необходимые манипуляции, но практикантке, стоявшей за ее спиной, не были видны движения Катиных рук, и она изо всех сил старалась приподняться на цыпочках, чтобы не пропустить ничего. Мы отвернулись, стараясь не мешать сестрам. Вскоре они ушли.

— Этот отойдет, — уверенно сказал Кайманов. — Я уже давно не сплю, смотрю, как он ровно дышит. Как только угарная дурь выйдет из головы, сразу очнется.

— Он еще не знает, что жены и дочери уже нет, — заметил я.

— Все в руках божьих, — сказал Кайманов. — Мы тоже не знаем, когда покинем этот мир.

У Кайманова цирроз печени. У него желтое лицо и такие же желтые белки глаз в красных прожилках. Он измучен болезнью, но все время бодрится, старается заигрывать с сестрами.

— Будь я помоложе, ухлестнул бы за тобой, — уже не раз говорил он Кате.

Она принимает его шутку и, улыбаясь, отвечает:

— Поправитесь, приглашайте на танцы. Я обязательно приду.

Кайманов вздыхает и натягивает одеяло до самого подбородка. Он знает, что уже никогда не будет здоровым, потому что у него началась водянка и два дня назад ему откачивали жидкость из брюшной полости. Но он рад тому, что Катя так по—доброму относится к нему и бросает на нее благодарный взгляд. А я все смотрю на парня и думаю: «Ну, хоть бы рукой пошевелил или застонал во сне. Нельзя же все время лежать вот так неподвижно». Но он не застонал и не пошевелился.

Вечером Катя, как обычно, принесла нам таблетки в маленьких пластмассовых стаканчиках. Подойдя к Кайманову, она повернула голову к соседней кровати, испуганно замерла, и, торопливо поставив стаканчик с таблетками на тумбочку, резко шагнула к лежавшему без сознания парню. Приложила два пальца к его шее и, не сказав ни слова, выбежала из палаты. Мы сразу все поняли, но не могли поверить в случившееся.

Парень, как и раньше, укрытый простыней, лежал посреди кровати, но грудь его уже не приподнималась при вдохе, и лицо стало другим. Нос заострился, а глаза, прикрытые тяжелыми веками, провалились.

Вскоре в палату, гремя каталкой, вошли медицинские сестры, переложили на каталку парня, укрыли его с головой простыней и вывезли из палаты. На улице начиналась метель, слушая ее, Кайманов сказал:

— Умирать надо летом. В такую погоду похоронить человека – смертельная мука. – И после долгой паузы добавил: — Я зимой умирать наотрез откажусь.

Я промолчал, потрясенный тем, как внезапно здоровый, цветущий человек может уйти из жизни. Ведь, ложась спать, ни парень, ни его жена с дочкой не думали, что уже никогда не проснутся.

А утром на опустевшую кровать поместили нового пациента. Он вошел в двери бочком, сцепив на животе ладони и опустив голову, словно стыдился встретиться с нами взглядом. Я видел его перед этим. Он поступил в больницу день или два назад и лежал в коридоре на раскладушке, ожидая, когда освободится место в палате. У него было изможденное серое лицо и седые волосы. Взгрозоздившись на кровать, он тут же укрылся до подбородка одеялом и закрыл глаза. И нам показалось, что в палате ничего не изменилось. Никого отсюда не вывозили, и никто не прибыл вновь, чтобы занять пустующее место. Кайманов долго, не мигая, смотрел на своего нового соседа, потом спросил:

— Ты откуда?

— Ниоткуда, — ответил тот, натягивая одеяло так, чтобы оно закрыло рот.

— А зовут тебя как?

— Аркаша.

— А с чем в больницу попал?

— Не знаю, — ответил Аркаша. — Живот у меня сильно болит.

— Понос, что ли?

— Не-е, — мотнул головой Аркаша. — Просто болит.

Кайманов отвернулся. Ответы Аркаши насторожили меня. Я посмотрел на него, но он, перехватив мой взгляд, сразу закрыл глаза и еще больше натянул одеяло на лицо. Вскоре при-

шел врач, в руках у которого была больничная карта нового пациента. Присев на краешек Аркашиной кровати, он укоризненно сказал:

— Что же это ты так? В день рождения оказался в больничной палате.

— Какого рождения? — спросил Аркаша, скинув с лица одеяло.

— Твоего. Какого же еще? — сказал врач. — Ты что, не знаешь, что тебе сегодня исполнилось тридцать шесть?

Аркаша уставился на доктора испуганным взглядом и затаил дыхание.

— Худо твое дело, парень. У тебя язва, — сказал доктор.

Аркаша кивнул головой в знак согласия и снова настороженно замер. По всей видимости, он боялся того, что может сказать доктор после этого. Но доктор положил больничную карту на прикроватную тумбочку и спокойно произнес:

— Присядь, я тебя посмотрю.

Аркаша послушно сел, свесив с кровати ноги, и стянул с себя грязную, неопределенного цвета футболку.

— У тебя что, одеть, что ли нечего больше? — кивнув на футболку, сердито спросил доктор.

— Нету, — не сводя с доктора испуганных глаз, ответил Аркаша.

— Оставь ее на полу, сестра что-нибудь принесет. Доктор брезгливо отодвинул футболку ногой и начал осматривать Аркашу. Вскоре в палату пришла сестра и увела с собой Аркашу. Вернулся он чистым, даже щеки немного порозовели, одетый в зеленую куртку и брюки на резинке, в которые обычно переодевают больных перед тем, как вести на операцию.

— Язву вырезать будут? — спросил Кайманов, повернувшись к Аркаше.

— Какую язву? — не понял Аркаша.

— Твою. Какую же еще?

— Не говори так. Ничего вырезать не надо.

Аркаша лег на кровать и снова закрылся одеялом до подбородка.

— В шашки сыграть не хочешь? — спросил Кайманов. Он постоянно приглашал играть и меня, но я отказывался. Я все время проигрывал, и меня это злило.

Аркаша приподнялся на локте, pokrutil головой и спросил:

— А где шашки?

Кайманов тут же нырнул в тумбочку, достал оттуда шашки, пододвинул стул к Аркашиной кровати и разложил на нем шахматную доску. Я с интересом стал наблюдать за ними потому, что мне хотелось, чтобы хоть кто-то отомстил Кайманову за нанесенные мне шашечные обиды. Кайманов не сделал еще и нескольких ходов, а уже потерял половину шашек. После очередного хода Аркаши он сдался и нервно сказал:

— Давай еще.

Но тут же проиграл и вторую партию.

— Ты где учился играть? — нервно спросил начавший заводиться Кайманов. — В шахматной школе?

— Я в школе не учился, — обиженно ответил Аркаша.

— Так я тебе и поверил, — пробубнил себе под нос Кайманов, снова расставляя шашки.

— На обед, на обед! — закричала в это время в коридоре няня.

Аркаша встал и закрутил головой.

— Ладно, — сказал Кайманов. — Пойдем на обед. Но потом сыграем еще.

Больные цепочкой потянулись в столовую. Мы троим вышли из палаты. По негласному правилу в столовой у каждого больного было за столом свое место. Оказалось, что у Аркаши его нет. Я придвинул свободный стул к своему столику и пригласил его. Он сел и положил руки на колени. Но как только санитарка поставила перед ним тарелку с супом, низко склонил над столом голову и начал торопливо работать ложкой. Словно боялся, что у него могут отобрать его похлебку. Мы не успели отхлебнуть и несколько ложек, а он уже опорожнил свою тарелку и стал жадно смотреть на санитарку, ожидая, когда она принесет второе. Кайманов, у которого не было аппетита, многозначительно посмотрел на меня. Я опустил глаза. Мы поняли, что Аркаша ужасно голоден.

Принесли второе. Я доел свой суп, а Кайманов без видимого удовольствия все еще неторопливо хлебал из тарелки. Потом, подняв голову, сказал Аркаше:

— Если хочешь, можешь взять мою кашу.

— Правда? — Аркаша недоверчиво посмотрел на соседа.

Кайманов молча пододвинул ему тарелку и так же молча начал доедать суп. В палате после очередного проигрыша он



снова спросил Аркашу про шахматную школу.

— Нет, нет, — торопливо ответил Аркаша, — Я не ходил в школу. Какая школа?

— А где же ты научился? — спросил Кайманов и в голосе его прозвучали суровые нотки.

— В поезде, — сказал Аркаша и посмотрел на Кайманова таким детским взглядом, что у меня защемило сердце.

— В каком поезде?

— В пригородном.

— Там что, учат играть в шашки? — голос Кайманова стал совсем суровым.

— Я когда выигрываю, мне денег дают.

— А когда проигрываешь?

— Бьют иногда. Денег у меня нету.

— А зачем играешь?

— Я на деньги хлеб себе покупаю.

Мне все время не давала покоя мысль, что где-то я уже видел Аркашу. Теперь вспомнил. Однажды, когда я ехал в электричке, Аркаша шел по вагонам и просил милостыню. Тогда он был совсем в другой одежде, в засаленной рваной куртке и тяжелых рабочих ботинках с железными заклепками по бокам. Постоянные пассажиры электрички знали его и называли Аркаша-дурачок. Некоторые из них жалели бедолагу и клали в протянутую ладонь монеты, иные же, наоборот, зло гнали от себя. Аркаша втягивал голову в плечи и быстрым шагом старался обойти таких людей.

— Аркаша, — спросил я, — а где ты ночуешь?

Он вздрогнул, как от удара, и тихо произнес:

— Летом в электричке, зимой в вокзале.

— Не гонят тебя оттуда?

— Гонят, когда увидят.

— И зимой тоже?

— И зимой. Недавно выгнал охранник, я чуть не замерз.

— И как же спасся?

— Бабушка одна шла мимо, позвала к себе. А утром чаем напоила и пирогов на дорогу дала.

У Аркаши, как у ребенка, которому дали игрушку, заблестели глаза, он даже просиял и, улыбнувшись, посмотрел на меня. Было видно, что такие счастливые моменты в его жизни случались крайне редко. А, может, и не случались вообще.

Кайманов втянул голову в плечи, и я увидел, как у него напрыглись желваки на скулах. Потом открыл тумбочку, достал яблоко и протянул Аркаше:

— Возьми, это мне жена принесла. У меня их целый пакет, мне одному не съесть.

Аркаша боязливо протянул руку, взял яблоко и торопливо сунул его под куртку, поближе к больному животу. Съел он его ночью, когда мы спали. Кайманов так и не выиграл у него ни одной партии в шашки, но больше не злился.

А через несколько дней Аркашу выписали из больницы. Мы с Каймановым были в это время в процедурном кабинете и не знали об этом. Аркаша появился на пороге в грязной порванной куртке и рабочих ботинках с железными заклепками по бокам. Увидев нас, выбросил вперед руку и со стоном выдавил из себя:

— Прощайте, товарищи!

На улице мела метель, стекла в окнах палаты подрагивали от злых порывов налетающего снега. У меня перехватило горло. Аркаша обвел взглядом всю палату, низко опустил голову и, сторбившись, пошел по коридору. Он уходил в другой мир, и мы подумали, что больше уже никогда не встретимся с ним. Зима в Сибири долгая, и пережить ее суждено не каждому. Кровать в нашей палате снова опустела.



ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ

Эля Семеновна Клячкина посмотрелась в зеркало, поправила пальцами прическу и, слегка прищурившись, уставилась на левую бровь. Ей показалось, что одна волосинка выбивается из ровной дугообразной линии и придает брови некрасивый вид. Она неторопливо достала из сумочки маленький блестящий пинцет и, сморщившись, выдернула не вписавшуюся в стандарт волосинку. Затем повязала голову черным шелковым платком, еще раз поглядела в зеркало и, не найдя больше в себе никаких изъянов, направилась на автобусную остановку.

Вот уже три года подряд в день святой родительской субботы перед праздником Троицы она отправляется на кладбище на могилу мужа, умершего на ее глазах ночью от инфаркта. Эля Семеновна гордится могилой, памятником, который она поставила, и посещение кладбища стало для нее главным смыслом всей жизни. В автобусе она садится у окна, отрешенно смотрит на мелькающих за стеклом прохожих и думает о том, как хорошо иметь то, что выше тебя, что вечно, что уже не изменить и не исправить, чему можно только поклоняться. На пространстве, огороженном низенькой железной оградкой, внутри которой только небольшой зеленый холмик с мраморным памятником, время остановилось. Здесь можно думать лишь о высоком.

Эле Семеновне за пятьдесят. У нее круглое ухоженное лицо, такие же ухоженные белокурые волосы и если бы не выпирающий живот и толстые бедра, делающие ее коротышкой с отвислым задом, она бы до сих пор могла пользоваться успехом у мужчин своего возраста. Но о мужчинах Эля Семеновна не думает. Никаких чувств у нее к ним нет.

Еще в школе она определила для себя, что настоящий человек должен посвятить свою жизнь чему-то возвышенному.

В старших классах она стала приглядываться к своим сверстникам, но ни в одном из них не находила ничего выдающегося. Между тем, все ее подружки сходили с ума от учившегося в десятом «Б» Эдика Стрекалова. Эдик был гимнастом, на городских соревнованиях выиграл звание чемпиона. Его посылали на всероссийские, но там он то ли повредил, то ли потянул какую-то мышцу и выступить не смог. Больше всех в него была

влюблена Светка Баранова. Дергая за рукав Элю, когда Эдик проходил мимо, она полупшепотом говорила ей в самое ухо:

— Ты только посмотри, Элька, какие у него плечи. А руки! Я бы все отдала, чтобы хоть раз покачаться на его руках.

О том, что могла отдать Эдику Светка, не надо было и спрашивать. Эля внимательно смотрела на школьного гимнаста. Был он стройным, мускулистым, с немного бледным, но чистым, волевым лицом и коротким ежиком самой модной в то время прически. Такую можно было сделать только в Москве. Эля вздохнула и сказала:

— Эдик — парень что надо.

А про себя подумала: а почему бы не стать спутницей великого спортсмена? На следующий день, надев спортивный костюм, она пошла в гимнастический зал, где тренировался Эдик. Подождав, пока он закончит упражнения на кольцах, она подошла к нему, изобразив на лице самую невинную улыбку, и попросила:

— Эдик, помоги мне стать гимнасткой.

— Ты можешь подтянуться? — нисколько не удивившись, спросил Эдик.

— Не знаю, не пробовала, — откровенно призналась Эля, растерянно посмотрев на висевшие над головой кольца.

— Давай я тебя подсажу. — Эдик ухватил ее крепкими ладонями за талию (тут она сразу же вспомнила Светку, которая хотела покачаться на его руках) и осторожно поднял вверх.

Эля уцепилась за кольца и попыталась подтянуться на руках, вытянув ноги под углом девяносто градусов, как это делал Эдик, но у нее ничего не получилось. Повисев несколько мгновений, она разжала руки и мешком свалилась на пол. При этом приземлилась так неловко, что даже ойкнула.

— Подвернула ногу? — испуганно спросил Эдик, сразу наклонившись к ней.

— Не знаю, может быть, — тихо ответила Эля, осторожно вытягивая и поглаживая левую ногу.

Эдик одной рукой взял ее за лодыжку, другой за носок кроссовки, несколько раз согнул и разогнул ступню, повертел из стороны в сторону. Эля почувствовала, что начинает дрожать от прикосновения его рук. Ей вовсе не было больно, просто эти прикосновения неожиданно вызвали учащенное сердцебиение. Ей стало одновременно и радостно, и страшно. Чтобы не



смотреть в лицо Эдику, она закрыла глаза.

— Кажется ничего серьезного, — сказал он, отпуская ногу и помогая Эле подняться. И от одной этой фразы, произнесенной участливым тоном, сердце Эли забилося еще сильнее.

С тренировки он проводил ее до дому. На следующий день все девчонки школы узнали об этом. Первой к ней подбежала Баранова.

— Он тебя целовал? — дрожащим голосом спросила она, заглядывая Эле в глаза.

И Эля поняла, что благодаря Эдику она в один миг поднялась над всеми девчонками. Она стала для них недосягаемой. И этой высоты она уже не хотела отдавать никому. С Эдиком они не целовались, но, опустив глаза, Эля сказала с напускной небрежностью:

— Всего два раза. Да и то, когда уже начали прощаться.

— В губы? — наклонившись к Элиному лицу, Баранова просто пожирала ее горящими глазами.

— Ну а куда же еще? — не понимая, почему это так важно для подружки, засмеялась Эля.

С этого момента Эдик стал для нее божеством. Она хотела всем своим существом служить ему, чтобы быть в лучах его ослепляющей славы. Незадолго до выпускных экзаменов теплым майским вечером на берегу реки, где дурманяще пахла цветущая черемуха, осыпавшая белые лепестки прямо на голову Эле, она отдала Эдику то, на что намекала Светка Баранова. Эля думала, что после этого у них с Эдиком наступит любовь, которую люди, живущие высокими целями, называют вечной. Но, встретившись с ней еще несколько раз под отцветающей черемухой, Эдик охладел к Эле. Сдав экзамены, он уехал на соревнования не то в Минск, не то в Ростов, и больше они с ним не встретились.

После этого случая Эля решила, что ни одному мальчику верить нельзя. Их интересует только то единственное, что есть у девушки. Ни о чем другом, тем более о том, чтобы связать с кем-то свою жизнь, они не хотят и думать. Но сама Эля не переставала мечтать о высоком.

На втором курсе института культуры, куда она поступила, в самом начале учебного года случился переполох. Прибыв утром на занятия, девчонки увидели, что в лекционном зале за одним из столов сидит негр. На его черном, лоснящемся,

словно вакса, лице выделялись только похожие на фарфоровые белки глаз с красными прожилками. Увидев девушек, негр улыбнулся. Его улыбка оказалась ослепительно белозубой и располагающе приветливой. Это был аспирант из Танзании Бабу Мпенза, собиравший материал для диссертации о подготовке кадров учреждений культуры в России.

Танзаниец вполне сносно объяснялся по-русски. Из всех студенток он сразу выделил Элю. Может быть потому, что она была белокурой, а, может быть, из-за осторожно любопытного взгляда, которым она его одарила.

Вечером Эля увидела танзанийца в своем общежитии. Оказалось, его поселили в отдельной комнате на том же этаже, где жила она. Эля пошла в вестибюль посмотреть с девчонками телевизор, и в коридоре чуть не налетела на Бабу Мпензу. Высокий и стройный он был одет в плотно облегающую мускулистое тело белую футболку и такие же шорты, на ногах у него были роскошные белые кроссовки. Одежда так подчеркивала его физические достоинства и так контрастировала с черной кожей, что Эля невольно остановилась. Танзаниец расценил это как знак внимания к своей персоне и заговорил с ней. Даже спустя много дней, Эля не могла понять, почему так быстро они с ним познакомились, перешли на «ты» и она очутилась в его комнате.

Танзаниец усадил ее в кресло у окна, в течение нескольких мгновений приготовил ароматнейший кофе (как говорили потом девчонки, его запах разнесся по всему коридору), положил на столик перед Элей коробку хороших шоколадных конфет.

Эля была в короткой юбке и испытывала смущение из-за своих слишком открытых ног. Это стесняло ее, делало скованной. Но за весь вечер Бабу Мпенза ни разу не остановил взгляда на ее коленках. Он расспрашивал о дисциплинах, которые преподаются в институте, о том, куда после его окончания направляются выпускники, особенно подробно интересовался работой сельских библиотек. Чувство неудобства прошло, Эля расслабилась и теперь уже с любопытством рассматривала своего нового знакомого.

У него был умный взгляд, интеллигентные манеры и большое чувство собственного достоинства. Он словно одаривал Элю каждым своим словом, каждым жестом. А когда танзаниец начал рассказывать о родине, о могучих тропических лесах



и бескрайней саванне, в которой рядом со слонами и львами живут добрые, искренние, доверчивые люди, всеми силами стремящиеся к современной цивилизации, Эля почувствовала, что начинает умирать от зависти к нему. Бабу Мпенза посвятил жизнь просвещению своего народа, устройству библиотек, организации художественных выставок, выявлению талантливых детей, которых надо обучать в культурных центрах Европы. Это была высокая цель, наполняющая всю жизнь особым смыслом.

Сделав паузу во время своего длинного рассказа, танзаниец посмотрел на Элю улыбающимися глазами и сказал:

— Нам очень не хватает хороших специалистов по культуре. Если бы к нам могла приехать такая девушка, как вы, мы бы устроили в стране культурную революцию.

Эля почувствовала, что у нее снова учащенно застучало сердце и ей стало не хватать воздуха. Поехать в Африку, где рядом со слонами и львами живут добрые и доверчивые люди — да кто же не мечтает об этом? Но она промолчала, потому что сначала надо было перевести дыхание.

— А что нужно сделать, чтобы поехать к вам? — щелкая от возбуждения дрожащими пальцами, спросила Эля.

— Только одно — собственное желание, — улыбаясь, ответил Бабу Мпенза.

С этого дня Эля стала неразлучной спутницей танзанийца. Он подарил ей такие же футболку и шорты, в каких ходил сам, и она подумала, что все культурные люди Африки одеваются в белые спортивные одежды. Ведь человек выглядит в них так красиво. Эля просто заболела Танзанией и жителями саванны, которые с нетерпением ждали встречи с ней.

Через неделю, когда она сидела у Бабу Мпензы в том же кресле, что и первый раз, он положил на столик чистый лист бумаги, насыпал на него щепоть белого порошка, достал тоненькую трубочку и с наслаждением втянул через нее порошок в ноздри.

— Хочешь попробовать? — спросил он Элю, сверкая фарфоровыми белками.

— Что это? — осторожно спросила она.

— Эликсир жизни. Секрет его приготовления знают только самые знаменитые колдуны Африки.

Эля втянула кокаин сначала в одну ноздрю, потом в другую. Через некоторое время она почувствовала, как по всему

телу разливается блаженство. Ей стало так хорошо, словно она очутилась в неведомой, сказочной стране. У нее за спиной появились крылья. Смеясь и замирая от восторга, она то поднималась к самому небу, то опускалась на поверхность моря и, нежась, качалась на его теплых, прозрачных, ласковых волнах.

Бабу Мпенза взял Элю за тонкую горячую руку, поднял с кресла и пересадил на кровать. Осторожным, но уверенным движением снял с нее сначала футболку, затем шорты. Эле казалось, что все это происходит во сне и не с ней, поэтому, глядя на него, она только смеялась, словно от щекотки. Потом она почувствовала, как на нее навалилась громадная черная глыба, непривычно пахнущая незнакомым ей резким запахом пота. Этот пот тонкими струйками стекал ей на лицо, на грудь, попадал в глаза и на губы. В одно мгновение Эля стала мокрой. Когда глыба сползла с нее, Эля еще долго лежала на кровати, приходя в себя и выравнивая сорвавшееся дыхание.

Сеансы с кокаином и всем, что следовало за этим, продолжались почти два месяца. За это время о Танзании и ее добрых людях не было произнесено ни слова. Эля не ощущала ни себя, ни реальной жизни, проходящей за стенами комнаты. Все ее существование было подчинено только одному — служению танзанийцу. Но в одно прекрасное утро Эля, проснувшись и чувствуя себя совершенно разбитой, обнаружила, что Бабу Мпенза исчез. Оказывается, он улетел в Москву, не предупредив и даже не разбудив ее. Эля ждала от него писем или хотя бы открытку, но Мпенза словно растворился. По всей видимости, вернулся в свою Африку. А Эля узнала, что у нее беременность уже на третьем месяце. Пришлось делать аборт. С тех пор Эля возненавидела детей.

Закончив институт культуры, Эля не смогла стать ни артисткой, ни режиссером, ни организатором художественной самодетельности. Ей казалось, что ее или не понимали, или не могли по достоинству оценить талант. Тогда она стала писать рецензии на спектакли и цирковые представления. Некоторые из них, правда, сильно сократив, напечатали в местных газетах. И она с удивлением обнаружила, что режиссеры и артисты, еще недавно не замечавшие ее, стали снимать шляпы, едва она показывалась перед их глазами.

Эля быстро стала своей в театральной богеме. Вскоре она вышла замуж за главного режиссера областного молодежно-



го театра, о котором говорили, что его таланту может позавидовать любая столица. Но оказалось, что у него был роман со всеми ведущими актрисами. Когда речь заходила о новом спектакле, и начинался дележ ролей, фурии режиссера, отшвыривая друг друга от дверей, врывались к нему в кабинет, и каждая требовала, чтобы главную роль он отдал только ей. И все подряд вспоминали, кому и что он обещал в постели. Во время одной такой сцены Эля случайно зашла в кабинет своего мужа. Выйдя от него, собрала вещи и откочевала на свою старую квартиру.

Потом она выходила замуж за бизнесмена, но тот стал требовать, чтобы Эля родила ему детей. После аборта родить она не могла, и когда доведенная до отчаяния однажды призналась ему, почему это произошло, он сам собрал в чемодан ее вещи, велел шоферу отнести их в машину и отвезти Элю на вокзал. При этом сказал, чтобы тот купил ей билет до любого города, который она назовет.

Последним ее мужем был архитектор. Он все время что-то чертил, рисовал не то здания, не то средневековые замки, непрерывно курил и рассыпал пепел по всему полу, который потом приходилось подметать. Эля Семеновна прожила с ним четыре года, и ей казалось, что попавшему в ад Данте было легче. Того хотя бы не заставляли готовить обеды, стирать грязные носки, заваривать среди ночи и приносить в кабинет кофе. Но самым ужасным было то, что, вылезая перед утром из-за чертежной доски и отряхивая с себя пепел, новый муж шел к Эле, которая в это время видела самые сладкие сны, и требовал от нее выполнения супружеских обязанностей. Чтобы избавиться, как считала Эля Семеновна, от гнусных притязаний, она купила бутылку водки дворнику и тот, опохмелившись, врезал в спальню английский замок, открывавшийся только изнутри.

Почти два года у нее шла борьба с мужем, которого она не пускала в спальню. Сначала он страшно ругался, стучал кулаками и пинал ногой дверь, потом понял всю тщетность своих усилий и к утру стал напиваться прямо в кабинете. Умер он около ее двери. Эля сначала слышала его яростные крики и стук кулаков, потом раздался глухой звук падающего тела, и все стихло. Эля подумала, что он слишком много выпил. Прележав после этого в постели почти час и так и не заставив себя уснуть, она осторожно приоткрыла дверь и услышала не то хрип, не то

храп. Архитектор лежал на полу с почерневшим лицом, высоко задрав подбородок. Эля закрыла дверь, легла в постель и сразу же уснула. Когда она проснулась, архитектор был мертв.

Эля Семеновна поставила на его могилу мраморный памятник по эскизу, который еще при жизни выполнил он сам. Памятник походил на раскрытую книгу и, приходя на кладбище, Эля Семеновна садилась на согретую летним солнцем маленькую мраморную скамейку и сочиняла ненаписанные страницы. Это была история ее выдуманной жизни, которая так никогда и не стала явью. Она представляла себя то в Париже, куда приехала на конференцию вместе с несуществующим мужем, то в африканской саванне, где, держась за руку Бабу Мпензы, прохаживалась с ним между львов, пожиравших ее горящими глазами.

Иногда, глядя на страницы каменной книги, она ни о чем не думала. Просто слушала птиц, смотрела на зеленые березы, окружавшие кладбище, и чувствовала необыкновенную умиротворенность, заполняющую душу. Особенно она любила слушать звонкий и чистый голос кукушки. Когда та роняла с высокого дерева свое первое «ку-ку», Эля Семеновна, замирая, как в детстве, и свято веря в народную примету, начинала считать, сколько лет непрожитой жизни отводит ей лесная птица. И почти всегда выходило, что жить ей еще очень долго. Эля Семеновна радовалась этому, вытягивала ноги, подставляя их солнцу, и мечтательно смотрела вдаль. Только здесь, на теплой каменной скамейке кладбища она ощущала себя по-настоящему счастливой. Здесь ни о ком не надо было заботиться, никто не мешал светлomu течению ее мыслей.

Однажды она вспомнила неожиданную встречу со своей школьной подругой Светланой Барановой, приехавшей на родину навестить престарелую мать. Оказывается, она вышла замуж за Эдика Стрекалова, переехала с ним в соседнюю область, родила от него двух сыновей и дочку. Эдик содержит небольшую авторемонтную мастерскую, а Светлана занимается домашним хозяйством.

— Дочка вышла замуж на втором курсе, сейчас родила, я сижу с внуком, — сказала Светлана, и Эля Семеновна увидела, как радостно заблестели ее глаза. — Такой смысленый мальчишка, наглядеться не могу. А ты-то как?

— Недавно похоронила мужа, сейчас еду на кладбище, —



вздохнула Эля, поняв, что та до сих пор любит своего Стрекалова и безумно счастлива этим.

Ей почему-то стало жаль Баранову, погрязшую в семейных делах и, по всей видимости, до сих пор не узнавшую, что такое настоящее счастье. Больше говорить было не о чем, и они расстались.

Сейчас, сидя на скамеечке, Эля Семеновна подумала о том, что если бы Эдик Стрекалов погиб в какой-нибудь катастрофе в то время, когда они с ним еще дружили, она бы все эти годы ходила на его могилу, приносила цветы и вот так же слушала голос далекой кукушки. И, может быть, прожила бы совсем другую жизнь. Она бы уже столько лет приезжала сюда на святую родительскую субботу, опускалась на маленькую теплую скамеечку и думала о чем-то высоком. Вот только о чем конкретно, Эля Семеновна не знала.

ТЕНЬ В РАЮ

Море играло. Дразня сушу, оно неторопливо выплескивало на берег упругую волну, но когда та пыталась бежать, хватало ее, словно за подол, и волна с неохотой, шипя и оставляя широкую мокрую полосу, откатывалась назад, а на ее место набегала другая. Иван с Настей, впервые в жизни приехавшие отдохнуть в солнечную Испанию, не могли наглядеться на эту игру. Настя приподнялась на носках, широко раскинула руки, втянула ноздрями ни на что не похожий тысячами своих ароматов морской воздух и, зажмурившись, замерла. Со стороны могло показаться, что она исполняла ритуал. Потом опустилась на пятки, тряхнула головой так, что волосы рассыпались по плечам, открыла глаза и сказала, выдохнув:

— Никогда не верила, что на земле действительно существует рай.

Она повернулась. Белый пляж с искрящимся песком, упираясь одним концом в высокую черную скалу, охватывал широкой подковой кусочек морской лазури. Там, где кончался песок и начиналась зелень, росли раскидистые пальмы, отделявшие пляж от жилой зоны. Сразу за пальмами поднимался белоснежный отель.

Ни Иван, ни Настя ни разу до этого не видели моря. Оно простиралось до самого горизонта, над которым, едва оторвавшись от воды, поднимался огромный, красный диск солнца. Между берегом и солнцем над пологими волнами скользили похожие на тени неторопливые чайки. Теплый ветерок нес на берег запах утренней сырости и йода.

— Все, — сказала Настя, повернувшись к Ивану. — Буду наслаждаться морем и солнцем на берегу колыбели человечества.

— На какой колыбели? — спросил он, радуясь, что наконец-то они добрались до места, и теперь целых две недели их не будут одолевать никакие заботы.

— Разве Средиземное море не колыбель человечества? — Настя посмотрела на мужа, наморщив лоб. — Может быть по этому берегу, на котором стоим мы с тобой, ходил Юлий Цезарь. А еще раньше Ганнибал. Ведь Карфаген совсем недалеко отсюда. Вон за тем утесом. Ведь Африка там, правда? — Она

скользнула взглядом по пляжу и, удивившись, спросила: — А почему здесь нет ни одного отдыхающего?

— Потому, что все нормальные люди еще спят, — ответил Иван. — Время-то только шесть.

— Самая пора для утреннего купанья, — сказала Настя.

— Ты еще не достала свой купальник из чемодана, — ответил Иван.

— Тогда пойдем в отель и достанем. Я хочу искупаться. — Она обняла мужа за талию и прижалась щекой к его плечу. — Ты знаешь, Иван, я просто счастлива.

В это время из-за скалы показался мужчина в джинсах и клетчатой рубашке с коротким рукавом. В руках у него был полиэтиленовый пакет. Увидев мужчину, Настя сказала:

— Вот тебе и рано. Этот-то наверняка ходил купаться.

— Наверно, такой же бедолага, как ты, — ответил Иван. — Тебе хочется купаться, а мне спать. Мы всю ночь провели в самолете.

Ивану показалось, что незнакомец не ожидал увидеть их с Настей. Он замедлил шаг, потом повернул к пальмам и торопливо пересек поляну, направляясь к отелю. По всей видимости, не захотел встречаться с новыми постояльцами.

Войдя в свою комнату, Настя открыла дверь в лоджию, чтобы дышать морским воздухом. Затем разложила на кровати вещи, разобрала их и отнесла в шифоньер. На кровати остались только два ее купальника. Один закрытый, цвета морской волны. Другой — вызывающий, состоящий из узеньких плавочек и лифчика. Она долго раздумывала, в какой облачиться, выбрала вызывающий и пошла в ванную переодеваться. Вышла оттуда и, увидев все еще стоящего посреди комнаты мужа, удивленно воскликнула:

— Иван, ты до сих пор не переоделся?

— Я же тебе сказал, что хочу спать, — ответил он.

— А ты думаешь, я не хочу? — сказала Настя. — Я что, не летела в самолете? Сейчас искупаемся и ляжем спать.

Море показалось прохладным. Иван сначала попробовал его ногой, потом зашел по щиколотку, но набежавшая волна тут же обдала его, он испуганно подпрыгнул, пробежал навстречу другой волне несколько шагов и плюхнулся в воду. Настя уже перескочила волну и, выбрасывая вверх руки, поплыла от берега. Иван, сопя, бросился догонять ее. Когда они поравнялись,

Настя сказала, отфыркивая воду:

— Райское наслаждение.

Вдали от берега волны были покатыми, как отшлифованные валуны. Надо было лишь чуть-чуть шевелить руками, чтобы держаться на поверхности воды. Волна сама поднимала тело, какое-то время несла его на себе, потом Иван чувствовал, что начинает скатываться вниз, но его тут же подхватывала другая волна, и они с Настей снова оказывались наверху. Это походило на игру человека с морем.

Минут двадцать они плыли в сторону открытого моря, потом, решив, что на первый раз этого достаточно, развернулись и направились к берегу. Когда вышли на песок, Иван почувствовал, что устал. Настя накинула на плечи халатик, вздохнула полной грудью и сказала:

— Господи, ну почему в нашей Сибири нет такого моря? Гляжу на эти пальмы и, как подумая, что у нас полгода лежит снег, ужас берет. Давай переедем в Испанию?

— Ты серьезно? — спросил Иван.

— Ну а почему бы нет? — ответила Настя. — Выучим испанский, найдем работу. Ты посмотри, сколько наших знакомых уехали за границу.

— Увидела море и сразу захотелось построить дом на песке, — сказал Иван. Настя была увлекающейся натурой, в ее голове все время возникали неожиданные идеи. Он посмотрел на жену и добавил: — В раю тоже бывают тени.

Подходя к отелю, они увидели свою лоджию на втором этаже. Дверь в комнату была открыта, легкий ветерок колыхал опущенную штору.

— Там и шпагат натянут, — сказала Настя, кивнув на лоджию. — Есть где высушить купальники.

По ее тону Ивану показалось, что кроме моря Насте понравился и отель. Ее тронула забота о постояльцах. С этой минуты начался их отдых.

Выспавшись, они спустились вниз, где рядом с отелем был ресторанчик под открытым небом, съели по хорошему бифштексу и снова пошли купаться. Потом загорали, лежа на огромных махровых полотенцах, сразу впитывавших влагу с тел и потому пахнущих морем. Вечером, после ужина, гуляли по дорожке, проложенной под пальмами вдоль пляжа. Настя вдыхала свежий морской воздух, смотрела на высокое черное



небо, усыпанное бриллиантовыми звездами, и слушала звон цикад, играющих на своих невидимых скрипках в притихшей траве. Однажды она даже остановилась и, подняв голову, замерла с мечтательной улыбкой на сияющем лице. Такого концерта она не слышала ни разу в жизни. Это было, почти как в сказке. Тем более что отель походил на огромный светящийся корабль, огни которого отражались в море.

Через день после приезда Иван стал замечать во время обеда в ресторанчике человека, одиноко сидящего с кружкой пива за пустым столом. Он внимательно осматривал каждого посетителя, появляющегося рядом, потом, словно утратив интерес, поворачивал лицо к морю и устремлял неподвижный взгляд за его скрытый в голубоватой дымке горизонт. Он словно хотел улететь туда. Ивану показалось, что это был тот самый человек, которого они увидели на пляже в первый день своего приезда. Его печальное одиночество среди развлекающихся отдыхающих казалось странным, и когда Иван сказал об этом Насте, она ответила:

— Мало ли что может быть с человеком? Может быть, он специально приехал сюда, чтобы побыть одному.

Сама Настя ни в чем не знала чуру. Она сходила с ума по золотистому загару, ей хотелось во что бы то ни стало уже через пару дней походить на южную женщину со смуглой кожей, которая бы рельефно подчеркивала ее светлые волосы и голубые глаза. На третий день не только спина, но и ее ноги стали походить на морковку. Настя боялась прикоснуться к опаленной солнцем коже. Даже прикосновения халата, который она надевала, вызывали жгучую боль. Иван понимал, что ругать ее бесполезно, потому что во всех своих бедах она все равно обвинила бы его. Облегчить страдания жены могло только сочувствие.

— Я слышал, что в таких случаях всегда помогает сметана, — сказал Иван, глядя на страдающую Настю. — У нас в деревне девчонки часто мазались ей.

— Где ты ее возьмешь? — жалобно простионала лежавшая на кровати Настя.

— Пойду, спрошу в ресторане, — сказал Иван.

В ресторане на первом этаже отеля сметаны не было. Он направился в летний ресторанчик под открытым небом, где они обычно обедали. Там ее тоже не оказалось. Не сумев по-

мочь Насте, Иван взял кружку пива, чтобы утолить жажду самому. День был жарким, раскаленное солнце висело прямо над головой. Сев за столик, он увидел рядом постоянного одинокого посетителя. Перед ним стояла кружка пива, рядом лежал полиэтиленовый пакет. Иван внимательно посмотрел на мужчину. Этот взгляд вызвал у того еле заметную скрытую улыбку. Он повернулся и спросил на чистом русском языке:

— Вяленой рыбки не хотите?

Мужчина засунул руку в пакет и достал небольшую рыбку. Иван после недолгого раздумья принял подарок. Незнакомец тут же взял пиво и пакет и пересел к Ивану.

— Меня зовут Федор, — сказал он, протягивая руку. — Вы откуда?

— Из Сибири, — ответил Иван, разглядывая неожиданного знакомого.

— Да вы что? — удивился Федор. — А откуда из Сибири?

— С Алтая.

— Почти земляк. А я из Новосибирской области, из Купино. Слышали о таком?

— Ну как же не слышал? — сказал Иван. — Там рыбалка отменная. Давно сюда приехали?

Федор опустил голову, молча достал из пакета рыбу, начал чистить ее, складывая шелуху в чистую тарелочку. Потом отхлебнул пива, поднял глаза на Ивана и сказал:

— Я уже семь лет как уехал из России.

— Сюда, в Испанию? — спросил Иван.

— Да нет, в Германию. У меня жена немка.

Иван тоже очистил рыбу, отщипнул кусочек, попробовал на вкус. Потом спросил:

— Что это за рыба?

— Бычок. Я их каждое утро вон там ловлю, — Федор кивнул в сторону скалы, около которой его впервые увидели Иван с Настей. — Если хотите порыбачить, могу взять с собой. Только вставать надо очень рано.

— Сейчас не берет? — спросил Иван.

— Берет. Почему не берет? Только здесь рыбачить запрещено. Курортная зона. А вялю я бычков в лоджии. На таком солнце они через два дня готовы.

— Жена не ругается? — Иван снова отщипнул кусочек рыбы. Вяленый бычок оказался неожиданно вкусным.

— Я сюда езжу без нее, — тихо произнес Федор. — Она рыбалку не любит. — Федор поднял кружку, чокнулся с Иваном, сказал: — За знакомство.

Потом начал рассказывать о своей страсти. К рыбалке в Испании, оказывается, нужно готовиться заранее. Поскольку она браконьерская, требуются снасти, которые бы никто не заметил. Федор рыбачит на закидушки, у него их шесть штук. Закидушка удобна тем, что ее не видно в самом обычном пакете. Бычков он ловит на червей, которых привез из Германии. Здесь, на песчаном пляже, ни одного червяка днем с огнем не найдешь.

— Слушай, — удивился Иван, — неужели для того, чтобы отвести душу, нужно ехать на рыбалку в Испанию? В Германии ведь тоже должно быть много рыбы.

— Рыба-то там есть, — грустно усмехнулся Федор. — Да уж народ слишком подлый.

И он поведал о своих мытарствах.

Федор работал в строительной фирме, забор которой упирался в речушку. Недели через две после того, как устроился, он проделал в нем дыру, оторвав снизу одну доску. В первый же день поймал шесть крупных рыбин, похожих на язей.

— Но это не язь, а, скорее всего, голавль, — сказал Федор. — Чешуя немного другая, и сама рыба прогонистее. В Европе рыба совсем не похожа на нашу.

В конце недели он решил снова порыбачить, и опять рыбалка была удачной. А когда он в третий раз удобно устроился у речной заводи, услышал, что за спиной кто-то кряхтит. Оказалось, что это хозяин фирмы пытался пролезть в дыру, проделанную Федором. Федор не успел смяться. Взмокший, с красным от напряжения лицом хозяин все-таки пролез в дыру и, замахав кулаками, кинулся на Федора. Начал внушать ему, что не только земля, но и река, которая протекает по ней, является частным владением и рыбачить здесь может только ее хозяин. В этот же день Федора вытурили с работы, правда, никаких протоколов для полиции хозяин составлять не стал. Иначе бы пришлось заплатить большой штраф.

Вскоре Федор устроился на работу в небольшом городке. Недалеко от него протекала речка с тихими и глубокими омутами. Один из них сразу понравился ему. К омуту он пришел затемно. Едва закинул крючок, сразу почувствовал, что взяла

крупная рыба. Чтобы вытащить ее, пришлось повозиться.

— А когда вытащил, чуть не обмер от страха, — сказал, засмеявшись, Федор. — Сначала подумал, что попала громадная змеюка. Только потом понял, что это угорь. Их в этом омуте было видимо-невидимо. За час вытащил семь штук. Когда снимал с крючка последнего, на дороге, которая проходила над берегом, притормозила машина. Я оглянулся и увидел, что ко мне идут двое полицейских.

Федора вместе с угрями отвезли в участок, составили протокол и оштрафовали. Угрей сдали в ближайший ресторан.

— Нет, — мотнул головой Федор. — В Германии рыбачить нельзя. Если тебя кто-нибудь увидел на реке или берегу пруда, обязательно донесут в полицию. Там все стукачи.

С работы его опять выгнали, немцы не любят браконьеров. Пришлось искать новое место. А на рыбалку он стал ездить в Голландию. Там много каналов и в каждом полно крупной рыбы. Но и в Голландии его тоже задержали. Пришлось два дня просидеть в каталажке.

— А здесь не боишься? — спросил Иван, глядя на обглоданного бычка, скелет которого Федор положил на тарелку.

— Испанцы совсем другой народ, — сказал Федор. — Они почти как мы, русские. Со мной на рыбалку часто ходит Хосе, портье из нашего отеля. Я научил его ловить на закидушки. Поэтому и езжу сюда. Но такой рыбалки, как в Купино, мне уже не видать никогда. И уха с костра не попробовать тоже. Костер здесь не разведешь.

Он надолго зажмурился, а когда открыл глаза, Иван увидел, что они мокрые.

— А у меня жена обгорела, — сказал Иван. — Хотел купить сметаны, чтобы она помазалась, а ее здесь нет.

— Сливки купи, — они тоже помогут, — сказал Федор.

— Да здесь и сливок нет.

— Они в пластмассовых стаканчиках величиной с наперсток продаются. Пойдем, я тебе покажу.

Иван допил свое пиво и поднялся. Федор завернул в салфетку несколько вяленых бычков и сунул ему в руку. Они поднялись, подошли к стойке бара. Федор спросил сливки. Бармен подал ему какой-то пакет, Федор рассчитался и протянул пакет Ивану.

— Сколько я тебе должен? — спросил Иван.

— Нисколько. Это презент твоей жене.

Иван поблагодарил и направился в отель.

Настя сняла халат и сидела в кресле в одном купальнике. Иван заметил, что кожа на ней стала уже не такой красной, в некоторых местах она побелела, на ней появились крошечные пузырьки.

— Сметаны нету, давай попробуем сливками, — сказал Иван. — Но, по-моему, ты уже начинаешь облазить.

— Я так и знала, что нету, — Настя подняла на него глаза. — Чужбина она и есть чужбина. А это что у тебя? — Она кивнула на бычков, завернутых в салфетку.

— Рыба вяленая. Земляка встретил, он меня угостил. Кстати, сливки тоже его.

Настя протянула руку, взяла одного бычка, очистила и с наслаждением откусила. Потом повернулась к мужу и сказала:

— Окрошечки бы сейчас, а? Холодненькой.

— А может быть нам собрать манатки и двинуть домой? — сказал Иван.

— Да ты что? — испугалась Настя. — Такие деньги заплатили и уезжать. Нет уж, я в этом раю выдержу до конца. А крошки наедемся, когда вернемся.

Иван отвернулся. За окном, насколько хватало глаз, простиралось аквамариновое море. Робкий ветерок невидимыми руками шевелил бахрому на листьях пальм. Пляж и береговая полоса прибоя были усыпаны людьми. Две девушки в открытых купальниках соскочили с лежаков и, догоняя друг друга, с разбегу бросились в воду. Их подняла волна и они, высоко выбрасывая вверх руки, поплыли от берега. Море играло. Не глядя на него, по мощной тропинке вдоль искрящегося пляжа неторопливо шел новый знакомый Ивана Федор. Он был в джинсах и клетчатой рубашке с коротким рукавом и походил среди резвящихся людей на тень в раю.

ОТЕЦ

Егор Семенович третий день не находил себе места. Вернувшаяся от дочери из города жена подтвердила то, о чем он давно догадывался: зять Виктор окончательно задурил. Он уже не скрывал, что у него есть другая женщина и для него теперь главное развестись с Таней без душераздирающих истерик и долгих судебных разбирательств. Теще он прямо заявил: ошибки молодости надо исправлять вовремя. Женитьбу на Татьяне он считал ошибкой. Егору Семеновичу же, наоборот, казалось, что ошибку совершила Татьяна.

Зятя он недолюбливал. Все надеялся, что тот возьмется за ум, научится ремеслу, которое бы позволяло в достатке обеспечивать семью и самого себя. Но тот упрямо не хотел уходить из школы, где работал учителем физкультуры. Когда же его сократили, а по понятию Егора Семеновича, выгнали за ненужностью, устроился судебным приставом. Егору Семеновичу казалось, что все обязанности зятя теперь будут сводиться к тому, чтобы выбрасывать из квартир стариков, которым нечем платить за жилье. Такой гадкой работы он не желал бы даже врагу. И все не понимал, как Таня могла выйти за такого пустышку. Вон Колька Саморуков до сих пор про нее спрашивает. А он не чета Виктору. Сельхозинститут закончил, колбасное производство в деревне организовал, недавно продал «жигули» и купил новенькую «тойоту». А у зятя штаны и те куплены на деньги, которые Таня из родительских откладывала.

Жена Ксения приехала от дочери такой возбужденной, что у нее даже начало дергаться левое веко.

— Я уж говорила ей, смирись ты со своей участью и уходи, — Ксения, сидя на стуле, притиснула к бедрам трясущиеся руки, чтобы их не увидел Егор, и он перевел взгляд. — А та вместо ответа поднимается и уходит в другую комнату.

— Совсем не разговаривает, что ли? — спросил Егор Семенович, которому было больно видеть измученную жену, но еще больше думать о дочери.

— Да почти и не разговаривает. — Ксения тяжело вздохнула и посмотрела на мужа. — Не вмешивайтесь, говорит, в наши дела. Сами во всем разберемся. А чего разбираться-то? Тут и так все видно.



Егор Семенович отвел глаза. По взгляду жены понял, о чем она подумала. В молодости ей тоже досталось. Девки к Егору липли сами собой, и ни одной он не отказал. Но никогда в жизни ему не приходило в голову бросать из-за этого семью. Ксению он по-своему любил, а когда начинал возиться с детьми, забывал себя. Особенно много ласки доставалось Татьяне. И не потому, что она была младшей. Татьяна росла тихой, задумчивой и необыкновенно любознательной. Еще совсем маленькой сядет, бывало, к нему на колени и начинает расспрашивать. Почему, говорит, у Карюхи есть грива, а у кошки Мурки нету? Или почему собаки лают, а кошки мяукают. Егор почешет в затылке, пересадит дочь поудобнее и отвечает:

— Так Богу угодно. Люди и те по-разному разговаривают. У русских язык один, у татар — другой, у немцев — третий.

Вроде только вчера это было, а дочь уже выросла, у самой двое детей, и они, по всей видимости, задают ей те же вопросы. Егор Семенович тяжело вздохнул и почувствовал, как запершило в горле. Дочку было жалко до слез.

Однажды Егор Семенович, приехав к Татьяне, увидел ее зареванной. Виктора третий день не было дома. Детишки сидели на полу, грызли сушки. Другой еды в доме, по-видимому, не было. Егор Семенович, считавший себя человеком терпеливым, взорвался.

— Собирайся и едем отсюда к чертовой матери! — сказал он сурово. — Хватит!

Ему казалось, что дочь обрадуется его заботе. Про себя он подумал, что Татьяна еще молода, не растеряла, слава Богу, красоты и здоровья и выйти второй раз замуж для нее не составит труда. Колька Саморуков, не задумываясь, возьмет ее и с двумя детьми. Он до сих пор ходит неженатым и при встрече все время спрашивает о Татьяне. Но дочь неожиданно возразила:

— Никуда я не поеду! И вообще, не суйтесь в наши семейные дела. Сами во всем разберемся.

— Если бы речь шла только о тебе, может, и не совались бы, — заметил Егор Семенович. — Но у тебя дети. Двое на руках.

— Это не только мои дети, но и Виктора. Мы их родили, мы и вырастим.

Егор Семенович сначала опешил от такого ответа, но потом понял: от Виктора она не уйдет. Она его вечная раба. И такой

ее сделала любовь. Бабье сердце отличается преданностью...

Сейчас он лежал в постели, смотрел на мерцающие в окне звезды и думал о том, что человеческая жизнь устроена несправедливо. Почему-то часто случается так, что если один человек любит другого, тот не дорожит этой любовью. Может, потому, что легко далась, не выстрадал ее? Побегал бы Виктор за Татьяной года три, сейчас бы носил на руках. «Да разве мужик вытерпит три года беготни? — тут же подумал он. — Нет, не вытерпит. Уйдет к другой». Егор Семенович думал и, сам того не замечая, вздыхал. Ксения тоже не спала. Услышав его очередной вздох, она спросила:

— Чего маешься? Уже светать скоро начнет.

— О Татьяне думаю, чего же еще? — буркнул Егор Семенович.

— Уж лучше бы развелся сразу и не терзал, — вздохнула Ксения. — А то ведь довел до того, что от нее одни глаза остались.

— Я ей предлагал вернуться к нам, — сказал Егор Семенович. — Отказалась.

— И откажется, — тут же согласилась Ксения. — Чего ей от мужа-то уходить?

— Дуры вы, бабы, — произнес Егор Семенович с досадой и отвернулся к стене.

— А вы умные? Кобели несчастные. — Ксения тоже легла к нему спиной.

Егор Семенович тут же повернулся обратно.

— Это кто же кобели? — спросил он. — Я, что ли?

— И ты ни одной юбки не пропустил.

— Ну, это ты зря, — примирительно сказал Егор Семенович. — Я с тобой разводиться никогда не собирался.

Ксения не ответила. Разводиться они действительно не собирались, а вот то, что Егор по бабам бегал, она не только догадывалась, но и знала. В деревне все сразу становится известным. Сами же бабы и разболтают.

Почувствовав, что жена не в настроении, Егор Семенович не стал продолжать разговор. Утром он отправился к своему старому другу Тимофею Шабанову. Тот сидел в ограде на березовом чурбаке и снимал наждачной бумагой заусенцы на только что выструганном топорище. Тимофей был степенным, мудрым мужиком. Всю жизнь прожил с женой, не ругаясь, вы-



растил троих детей. Все они обзавелись семьями и живут, не жалуясь на судьбу.

Тимофей отложил топориче, поздоровался с Егором и кивнул на соседний чурбак, приглашая садиться. Тот сел, щурясь на солнце, достал из кармана сигареты, протянул Тимофею. Мужики закурили. Надо было начать разговор, но Егор Семенович никак не мог решиться рассказать без подготовки о своей беде. Другое дело, если бы сидели за бутылкой, там любая проблема обсуждается легко. Поэтому начал издали.

— С покосом-то управился? — спросил он, хотя знал, что Тимофей уже давно сметал свое сено.

— Тяжело нынче было, — неожиданно сказал Тимофей. — Мне ведь всегда Василий помогал. А здесь, как назло, Анна заболела. Ему пришлось с ребятишками сидеть. Веришь-нет, мужик за две недели высох, как щепка. Шатать его стало и заговариваться начал. Как только Анна из больницы вышла, он и рванул ко мне на покос. За три дня управился. Я его потом еле домой отправил, боялся к детям возвращаться.

Василий был зятем Тимофея. Егор Семенович хорошо его знал. Еще два года назад он работал механиком колхоза, а теперь занялся своим хозяйством. Дочь Тимофея Анна перенесла тяжелую операцию, а жена, как назло, тоже заболела. Управляться с ребятишками пришлось Василию.

— Мужик с ребятишками не усидеть, — согласился Егор Семенович. — На них терпение надо. Особенно на маленьких. — Он вдруг бросил сигарету, затоптал ее каблуком и поднялся с чурбака. — Пора мне.

— Ты зачем приходил-то? — удивившись неожиданной перемене Егора, спросил Тимофей.

— Посоветоваться хотел.

— О чем?

— Теперь уж не надо. — Егор Семенович торопливо направился к калитке.

Пока шел домой, все время думал о том, что образумить зятя могут только дети. Все заботы о них на плечах Татьяны. Сотворив детей, Виктор посчитал свои обязанности по отношению к ним выполненными. Дети не только утомляют, но и раздражают его. Когда Егор Семенович приезжает в город, зять каждый раз жалуется ему, что не высыпается. Шурик постоянно просыпается по ночам и будит своим криком.

— А Татьяна его не слышит? — не скрывая ехидства, спрашивает Егор Семенович. Но Виктор не замечает подковырки.

— Татьяне что? Она может и днем выспаться, — отвечает он.

«В чужих руках и огонь горячим не кажется», — думает Егор Семенович, но разговор с зятем на этом и заканчивается. Влезать в него, значит обострять их отношения с дочерью. А они и без того накалены. Сейчас Егор Семенович думал о том, как хотя бы на две недели оставить зятя одного с детьми.

Дома его ждала жена младшего брата Полина. Она стояла в ограде с Ксенией возле кабанчика, который два дня назад поранил ногу и теперь еле передвигался от кормушки к корыту с водой. Женщины обсуждали его дальнейшую судьбу. Увидев Егора, Полина обрадованно произнесла:

— А я к тебе. Мне к Николаю надо, он уже четвертый день живет один.

Николай все лето жил на пасеке в сорока километрах от деревни. Дорога туда шла по узкому распадку вдоль речки. По ней в сухую-то погоду Егор Семенович едва добирался на своем «москвиче», а после дождя, когда вздувалась река, она и вовсе становилась непроезжей. Дождь прошел только вчера. Но у Полины и в мыслях не было, что Егор может отказаться от поездки. Он это видел по ее глазам, поэтому сказал:

— Иди, собирайся.

— У меня уже все собрано, — ответила Полина.

— А с кабаном что делать? — спросила жена.

— Вернусь, тогда и решим, — произнес Егор Семенович.

На пасеку они приехали под самый вечер. Николай только что закончил качать мед и сейчас составлял фляги в омшаник. Лето нынче было медосборное, дожди шли регулярно, трава цвела и благоухала.

— Медведь возле пасеки объявился, — сказал Николай, выходя из омшаника. — Следы вчера после дождя вон там видел.

Он кивнул на пихтач, над которым отвесной стеной поднималась скала. Между лесом и пасекой было метров триста чистого пространства.

— Собаки отгонят, — ответил Егор Семенович. — Не напакостит. — Он поднял глаза на вершину сопки, под которой находилась пасека, и добавил: — Хорошо у тебя тут.

- Меду возьми хотя бы флягу, — предложил Николай.
- Я тебе лучше сюда Татьяну привезу недели на две, — сказал Егор Семенович.
- Ей здесь с ребятишками будет просто благодать, — тут же согласился Николай.
- Одну, без ребятишек, — ответил Егор Семенович.
- Николай удивленно вскинул брови.
- Дома у нее нелады, надо от мужа увезти. — Егор Семенович подошел к брату вплотную и, понизив голос, заговорщицки сказал: — Ты бы не мог прикинуться больным? Иначе она не приедет. А так, вроде, как навестить тебя надо.
- Ну, навестит, — Николай пожал плечами. — Попьет чаю, соберется и назад уедет.
- Там уже я решу, — Егор Семенович посмотрел на брата.
- А когда ты ее хочешь привезти?
- В субботу.
- Ладно, — согласился Николай.
- Домой Егор Семенович возвратился глубокой ночью. Утром наточил нож и пошел во двор.
- Все-таки решился? — спросила Ксения.
- Забью кабана и поеду к Татьяне, — сказал Егор Семенович. — А завтра отвезу ее к Николаю. Он сильно хворает, с постели не поднимается.
- Полина вроде ничего не говорила, — Ксения вопросительно посмотрела на мужа.
- Заболел, пока ее не было. — Егор Семенович потрогал пальцем лезвие ножа и вышел...
- Татьяна обрадовалась, увидев на пороге отца.
- Проходи, пап. Чего стоишь? — сказала она, делая шаг в сторону.
- Виктор дома? — спросил Егор Семенович.
- Нет, на работе.
- Ну да, сегодня же пятница. — Егор Семенович коснулся пальцами лба, словно только что вспомнил об этом. — Я сейчас в машину сбегаю и вернусь. Привез вам кое-что.
- Вскоре он появился в дверях с двумя большими сумками в руках.
- Здесь мясо, — он приподнял одну сумку над полом. — Кабана сегодня заколол. А это мать вам послала дары полей и огородов. Ты с этой сумкой осторожнее, там варенье клубничное в стеклянной банке.

Татьяна помогла отцу занести сумки на кухню. Первой открыла ту, что с вареньем. На самом верху лежали два пакета, один с конфетами, другой с шоколадными вафлями. Эти подарки внукам Егор Семенович купил уже в городе. Шурик, которому было два года, тут же подскочил к матери и бесцеремонно заглянул в сумку. Старшая Настя, сцепив пальцы рук, наблюдала за всем со стороны. Татьяна достала вафли, протянула их детям:

— Возьмите, это вам бабушка послала.

Ребятишки взяли вафли и тут же исчезли из кухни. Егор Семенович помог дочери освободить сумки. Мясо сунули в холодильник, в котором лежали начатая пачка сливочного масла и пакет кефира. Огурцы, помидоры и капусту Татьяна уложила в коробки и поставила в шкаф под окном.

— Сегодня пир устроим, — сказала она, не скрывая радости.

Татьяна была в короткой юбочке и серой, плотно облегающей тело футболке с коротким рукавом. Егор Семенович окинул ее взглядом. Родила двух детей, а стала еще красивее, чем до замужества. Ни один мужик не пройдет мимо такой женщины, не оглянувшись. «И чего этому Виктору надо? — подумал Егор Семенович. — Видно не зря говорят, что белый хлеб и тот приедается. Любила бы меньше, носил бы на руках».

— С Виктором-то у вас как? — спросил Егор Семенович, когда Татьяна управилась с гостинцами.

— А почему ты спрашиваешь? — она бросила на него острый взгляд и залилась краской.

— Ты ведь мне дочь. Была бы чужая, не спрашивал бы.

— Все нормально, — ответила Татьяна и отвернулась. Ей было стыдно признаться, что позавчера Виктор опять не ночевал дома.

— Когда он придет? — спросил Егор Семенович.

— Если не задержится, в шесть.

— А раньше нельзя?

— Зачем он тебе, — насторожилась Татьяна.

— Плохую новость я тебе привез, дочка, — тяжело вздохнув и опустив голову, произнес Егор Семенович. — Николай умирает. Я сюда прямо от него.

Татьяна побледнела, остановившись посреди кухни. Дядя Николай был ее крестным. Девчонкой она провела на его папсе не одно лето.

— Что с ним? — спросила она.

— Удар случился. Я к нему врача возил. Врач говорит, по всей видимости, инсульт. А отвезти в больницу нельзя, он не-транспортабельный.

— Так он на пасеке, что ли?

— Ну а где же еще? — подтвердил Егор Семенович. — За тобой послал, наверное, хочет попроситься.

— Он что, не поднимается? — спросила Татьяна.

— Какое там «поднимается»? Языком пошевелить не может.

Татьяна села на стул, положила руки на колени. После некоторой паузы сказала:

— Съездить, конечно, надо. А на кого ребятишек оставить?

— У них что, отца, что ли, нет? — произнес с неподдельным возмущением Егор Семенович.

— Виктор же работает.

— А разве в субботу и воскресенье он не отдыхает?

— Отдыхает, конечно.

— Ну вот. Если завтра мы с тобой съездим к Николаю, послезавтра я привезу тебя назад. За два дня он не похудеет.

— Вряд ли он меня отпустит, — сказала Татьяна, опустив голову.

Виктор пришел с работы вечером. Сухо поздоровался с тестем, не обратив внимания на детей, прошел на кухню.

— Сейчас накрою на стол, будем ужинать, — сказала Татьяна. — Папа мяса привез.

Он не ответил. Достал сигареты и закурил около открытой форточки. Егор Семенович понял, что дела у них намного хуже, чем рисовала Ксения. Раньше при каждом приезде тестя тот доставал из холодильника бутылку, а если ее не было, бежал в магазин. Сейчас, подождав пока Татьяна накроет на стол, молча сел, пододвинул к себе тарелку и, не глядя ни на кого, начал есть. Егор Семенович видел, что Татьяна побоится сказать ему о поездке в деревню. Поэтому начал сам.

— Николай при смерти лежит, — сказал он, посмотрев на Виктора. — Врачи сказали, больше недели не протянет.

— Что с ним? — спросил Виктор, впервые проявив какой-то интерес к семейным делам.

— Инсульт. Лежит, разбитый параличом, языком уже не ворочает. — Егор Семенович изобразил на лице величайшую

скорбь. — Велел Татьяну привезти, проститься с ней хочет.

— Пусть едет, я ее не держу, равнодушно ответил Виктор.

Еле сдерживая себя и стараясь сохранить на лице скорбное выражение, Егор Семенович сказал:

— Мы сейчас после ужина и поедем. А завтра утром к Николаю на пасеку.

— Пусть собирает детей и езжайте.

— Зачем же мы их к полумертвому человеку повезем? — удивился Егор Семенович.

— Мы послезавтра вернемся, — подняв глаза на Виктора, торопливо добавила Татьяна.

— Нет, я с ними не останусь. — Виктор отодвинул тарелку и откинулся на спинке стула. — Сашка ночью по пять раз встает. А я, когда не выплусь, целый день хожу, как дурак.

— Ничего тебе не сделается, — неожиданно резко сказал Егор Семенович.

— Или пусть забирает детей, — произнес Виктор, поднимаясь из-за стола, — или куда не поедет.

— Они что, только ее, что ли? — кивнув на притихших ребятишек, сказал Егор Семенович. — Там человек помирает, а ты бузу затеял. Собирайся! — крикнул он на Татьяну.

Виктор остановился в замешательстве, не зная, что предпринять. Если бы не предсмертное состояние дядьки, он бы заставил Татьяну взять ребятишек с собой. В нынешней же ситуации затевать скандал было неудобно. Тесть этого не поймет, да и настроен он был решительно. Виктор это видел. Поэтому, немного помедлив, сказал:

— Ладно, пусть едет. Но чтобы в воскресенье была дома.

Когда Егор Семенович с Татьяной собрались выходить, Виктор еще раз напомнил ей, чтобы ни в коем случае не задерживалась. Егор Семенович остановился, сказал Татьяне, чтобы шла к машине, а сам закрыл дверь и, привалившись к ней спиной, спросил:

— А если бы вы развелись? Как бы ты жил один со своими детьми?

— При чем тут я? — удивился Виктор. — Дети должны оставаться с матерью.

— Должны, — подтвердил Егор Семенович. — Но не обязаны. Мать тоже может платить алименты. Ты об этом никогда не думал?



Виктор хотел что-то сказать, но Егор Семенович не стал его слушать, саданул на прощанье дверью и вышел из квартиры.

Когда выехали за город, сказал, повернувшись к Татьяне:

— Вижу, что у вас с Виктором не все благополучно. Что случилось?

— Что случается с мужиками, — тихо произнесла она, понуриив голову.

Больше до самой деревни она не проронила ни слова. Приехали уже по темноте. Едва свернули с большака, Татьяна открыла окно машины, и Егор Семенович заметил, как жадно вытягивает она трепещущими ноздрями родной воздух, всматриваясь в знакомые очертания местности. Очевидно, только здесь отошла от своих тревожных дум. Справа от дороги простирались пшеничные поля, слева шла гряда сопок, вершины которых на фоне темного неба походили на громадные верблюжьи горбы. Далеко за ними находилась пасека Николая.

Все эти места Татьяна исходила своими ногами. Вместе с девчонками она собирала на сопках клубнику, в окрестностях пасеки рвала кислицу и черемуху. Но больше всего она любила помогать Николаю качать мед. Они по очереди крутили ручку медогонки, и Татьяна с благоговением смотрела, как из нее тоненьким прозрачным ручейком стекает во флягу тягучая и ароматная, удивительно вкусная жидкость. Рядом с медогонкой стоял большой эмалированный таз, в который Николай острым ножом срезал с каждой соты тонкий слой воска. Этот воск, полный меду, любила жевать ребяшня. Татьяна не отрывала взгляда от темных очертаний сопок и, по всей видимости, вспоминала времена своего детства.

Дома она кинулась на шею матери, спросила, глотая слезы:

— Что с дядей Колей?

— Не знаю, — ответила Ксения. — Я сама вся извелась. С тех пор, как отец оттуда приехал, никто больше на пасеке не был.

Утром, чуть свет, Татьяна была уже на ногах. Егор Семенович слышал, как она ходила в своей комнате, шлепая босыми ногами по полу. Ей, конечно же, хотелось быстрее попасть к больному дядьке, чтобы оттуда сразу возвратиться домой.

— Может и нам вставать? — спросила Ксения, приподнимая с подушки голову.

— Лежи! — строго приказал Егор Семенович. — Время-то еще только пять.

За окнами было светло. Притаившаяся за сопками заря еще прятала солнце, но первые его лучи уже ласково обнимали сбрасывавшие дрему вершины. Минут десять Егор Семенович лежал в постели, обдумывая, как лучше затеять разговор с Татьяной, чтобы рассказать ей всю правду. Но ни одной стоящей мысли в голову не приходило, и он понял, что даже самое долгое лежание ничего не даст. Сбросив одеяло, он, кряхтя, поднялся с постели.

Татьяна вышла из своей комнаты уже одетой.

— Ты что встала ни свет ни заря? — спросил он, искренне удивившись.

— Выспалась уже, — сказала Татьяна. — Дома и спится по-другому.

Окно ее комнаты, выходящее в палисадник, было открыто настежь. Прямо под ним рос огромный куст окультуренного шиповника, который Ксения называла сибирской розой. Его цветы в большими тонкими лепестками походили на розы и издавали такой же благоухающий аромат.

— Хорошо здесь, — Татьяна кивнула в сторону окна. — Все утро соловей пел. Он меня и разбудил. Прямо как в детстве.

— В детстве ты в это время спала без задних ног, — заметил Егор Семенович.

— Ну а в старших классах? — сказала Татьяна.

— В старших классах, когда начинал петь соловей, мы с матерью еще ждали тебя с вечерки.

Разговор с дочерью предстоял трудный, поэтому с самого утра он настраивал себя на суровый лад. Егор Семенович до слез, до сердечной боли любил Татьяну. Ему казалось, что всю свою нежность, которую дал Бог растратить на женщин, он отдал ей. Дочка выросла и красивая, и умная, и послушная. И в семье у нее все складывалось сначала неплохо. Егор Семенович смирился с тем, что Виктору не предназначено судьбой хватать с неба звезд. Про себя он решил: буду помогать им, куда могу. Лишь бы Татьяна была счастлива. Но оказалось, что со счастьем-то ей как раз и не повезло.

— Когда поедет? — спросила Татьяна, подходя к отцу.

— Управится мать со скотиной, позавтракаем и поедет. Сходи пока на улицу, подыши свежим воздухом.

Мать заранее собрала Татьяне сумку. Положила туда чистое белье, крем, даже губную помаду. Дочь ведь думает про-

вести на пасеке пару часов и вернуться. Егор Семенович сам отнес сумку в салон машины.

Когда выехали из деревни и по узкому распадку, окруженному темной пихтовой тайгой, устремились в горы, Татьяна немало посветлела. Егор Семенович, чтобы поддержать ее настроение, а главное — подготовить к тому, чего она не ожидает, мечтательно произнес:

— Представляешь. Приезжаем мы сейчас к Николаю, а он ходит между ульев и поглядывает на дорогу, поджидая нас.

— Ну что ты, — сказала Татьяна. — От инсульта так быстро не оправляются.

— Всякое бывает, — заметил Егор Семенович. — Вон в Ельцовке один мужик три дня без сознания пролежал, а потом очнулся и пошел, как ни в чем не бывало.

— Хорошо бы, — сказала Татьяна.

Машину тряхнуло, и Егор Семенович замолчал, сосредоточившись на дороге. Это было в самое время. Про ельцовского мужика он сочинил сам, а дальше врать становилось неудобно. «Москвич» Егора Семеновича начал стонать, переваливаясь с камня на камень, мотор — подвывать, и Татьяна с опаской посмотрела на отца.

— Да, — сказал он, перехватив ее взгляд. — Лишний раз сюда не поедешь. А в дождь — и думать нечего.

Пасека показалась, когда ущелье неожиданно раздвинулось, превратившись в небольшую долину. На ее краю, приткнувшись к высокой скале, стояла рубленая из бревен изба. Рядом с ней на склоне горы виднелось несколько десятков похожих на спичечные коробки ульев. Услышав машину, из-за дома выскочили две серых лайки с маленькими острыми ушами и закрученными в кольца хвостами.

— Нас встречают, — сказал Егор Семенович, сворачивая к избе.

На пороге дома показалась Полина. Егор Семенович остановил машину, вышел. Татьяна вышла вслед за ним. Полина обрадовалась, увидев Татьяну, кинулась ей навстречу. Они обнялись, потом Полина повернулась к Егору Семеновичу и сказала:

— Николай-то второй день не поднимается с постели.

— Что с ним? — спросил Егор Семенович, у которого все сразу обмякло внутри. Тут же подумалось, что это он накаркал беду брату.

— Кто знает, — Полина вопросительно посмотрела на Егора. — Лежит весь мокрый, а самого трясет.

Егор Семенович размашистым шагом направился в избу. Николай лежал на кровати, закрытый одеялом до подбородка. Щеки его впали, мокрые волосы прилипли ко лбу.

— Ты чего это? — спросил Егор Семенович, присаживаясь на краешек кровати.

— Бог нас, наверное, услышал, — сказал Николай. — Надо было заболеть, я и заболел.

— Да нет, болеть-то как раз не надо, — сказал Егор Семенович.

— Татьяна приехала? — спросил Николай.

Егор Семенович кивнул. На пороге показалась Татьяна. Она подошла к кровати, остановилась у изголовья.

— Ну вот, теперь я быстро поправлюсь, — сказал Николай, подняв на нее глаза. Он выпростал из-под одеяла руку и показал ладонью на место около себя.

Татьяна села на кровать, а Егор Семенович встал и пошел к Полине. Она в сенях наливала из фляги мед в чашку.

— Давно он заболел? — спросил Егор Семенович, остановившись около нее.

— Вчерась. Попил воды прямо из ключа, горло и перехватило. К вечеру температура поднялась такая, думала — не выдержит.

— По всей видимости, ангина. Лекарства есть?

— Да есть какие-то. Только я в них не разбираюсь.

Зашли в избу. Полина достала из шкафа полиэтиленовый пакет с лекарствами. Егор Семенович перебрал их, нашел упаковку аспирина. Оторвал две таблетки, протянул их Полине:

— Пусть выпьет. А то скрутило, на мужика не похож.

Полина отнесла таблетки мужу, налила в стакан теплой воды, чтобы запил. Татьяна встала с кровати, подошла к отцу, спросила:

— Так у него еще и простуда?

— По всей видимости, так, — сказал Егор Семенович и, глядя дочери прямо в глаза, добавил: — Придется тебе здесь остаться, пока он не выздоровеет.

— Да ты что? — испугалась она. — Там же Виктор с ума сойдет.

— А вот ему недельки две с ума походить только на пользу будет.

— Нет, нет, — решительно запротестовала Татьяна. — И не думай даже. Я уеду с тобой.

— А вот и не уедешь, — произнес Егор Семенович с таким металлическим оттенком в голосе, что она даже отшатнулась. — Этот шатун уже детей своих за родных не признает. Пусть повозится с ними, узнает, что это такое.

— Так ты меня сюда для этого привез? — спросила Татьяна и на ее глазах появились слезы.

Егор Семенович повернулся и пошел из избы. Он не переносил женских слез. Татьяна кинулась за ним. Он подошел к машине, достал сумку с вещами, протянул ей.

— Поживи недельку, а там посмотрим. Я думаю, у нас с тобой другого выхода не было. Положись на меня.

Татьяна не ответила. Из-за скалы показался Пашка, двенадцатилетний сын Николая. В одной руке у него была удочка, в другой кукан с рыбой.

— Иди, встретить брата, — сказал Егор Семенович и, достав из кармана носовой платок, протянул Татьяне: — Вытри слезы. Когда ты плачешь, становишься некрасивой. — Потом добавил: — За детей он отвечает так же, как ты. Они и ему родные.

Егор Семенович завел машину, стараясь не глядеть в глаза дочери, тронулся с места. Всю дорогу от пасеки до дому он думал, не сделал ли Татьяне хуже. Но, поразмыслив, пришел к выводу: у нее и так все настолько плохо, что хуже уже не может быть. «Нашла, за кого выходить», — в который раз подумал Егор Семенович и решил, что если Виктор привезет ему внуков, он их отправит обратно вместе с ним. Пусть по-настоящему узнает, что такое семья. Не зря говорят: что легко дается, то не ценится.

Зять приехал к нему в субботу на рейсовом автобусе один. Присмотреть за детьми, по всей видимости, попросил соседку. Егор Семенович возился в ограде с мотоциклом. Не с «Ямагой», как у Кольки Саморукова, которую тот купил недавно, а со стареньким «Ижом», прослужившим ему уже лет двадцать. Правда, последние годы он стоял у него в сарае. А теперь подумал: чем гробить по камням машину, лучше уж добираться до пасеки на мотоцикле.

Зять выглядел бодро. На нем была чистая, хорошо выглаженная рубашка и модная куртка. Кивнув Егору Семеновичу, он недовольно спросил:

— Где Татьяна?

Весь его вид показывал, что в дом он заходить не намерен. Остановившись в двух шагах от тестя, он даже не протянул ему руку. Егор Семенович ставил на мотоцикл карбюратор. Затянув гайку, он поднял голову на Виктора и, кивнув в сторону дома, сказал:

— Проходи, чего стоишь?

— Некогда мне, — отрезал Виктор. Объяснение с тестем не входило в его планы.

— А почему один? Где ребяташки? — спросил Егор Семенович.

— О детях она должна думать, — сказал Виктор.

— Нету ее.

— Как нету? — удивился Виктор.

— Нету и все. — Егор Семенович нажал на ручку, проверяя тормоза мотоцикла.

— В общем, так, — сказал Виктор. — Передайте Татьяне, пусть сегодня же забирает детей. Вечером я уезжаю, и, может быть, не вернусь.

— А ну-ка иди сюда, — сказал Егор Семенович, направляясь к зятю. Тот отступил на шаг. — Иди, я тебе говорю! — требовательно повторил он.

Виктор остановился. Егор Семенович повернулся и пошел к крыльцу. Замешкавшись на мгновение, Виктор направился вслед за тестем. Надо было довести разговор до конца. И лучше всего это было сделать сейчас, пока не остыл.

Егор Семенович сел на крыльцо и кивнул на место около себя. Виктор сел, обхватив колено ладонями. Ему хотелось показать, что разговор, который начнет тесть, не интересен, он его знает наперед.

— Ну и что ты думаешь делать с детьми? — спросил Егор Семенович.

— Спросите у дочери, она им мать.

— А ты кто? Двоюродный плетень нашему забору, что ли?

— К чему вы все это заводите? — не выдержал Виктор. — Пусть забирает, и надо с этим кончать.

— Никого она забирать не будет, — отрезал Егор Семенович.

— Как не будет? — у Виктора отвисла челюсть. — Вы это серьезно?



— Серьезнее некуда. — Егор Семенович даже посуровел лицом, произнося эти слова. — Татьяна себе новых родит. Хватит мучиться с таким забулдыгой, как ты.

Виктор втянул голову в плечи, ссутулился. Потом сказал:

— Она не имеет на это право.

— Я имею, — резко произнес Егор Семенович. — Не можешь быть мужиком, будь бабой. Настоящего мужика должно хватать на все: и на семью, и на работу, и на остальное.

Виктор насупился, уставившись на носки своих ботинок. На одном из них была старая, не замазанная кремом царапина. Егор Семенович, посмотрев на него, добавил:

— Если не хватает, от чего-то надо отказываться.

В дальнем конце улицы затарахтел мотоцикл. Егор Семенович по звуку узнал «Ямагу». Через несколько секунд Колька Саморуков остановился около калитки. Заглушив мотор и стянув с головы шлем, он крикнул, не слезая с сиденья:

— Егор Семенович, я слышал, что Татьяна приехала?

— Приехала, Коля. Она уже неделю здесь.

— А можно с ней поговорить?

— На пасеке она, — сказал Егор Семенович.

Колька натянул шлем, мотоцикл рывкнул и, сорвавшись с места, исчез в ближайшем переулке. Виктор проводил его взглядом и спросил:

— Кто это?

— Предприниматель из нашей деревни. С Татьяной в одном классе учились.

Виктор встал с крыльца, подошел к «Ижу», одиноко стоящему посреди ограды. Покрутил ручку газа, резко нажал на стартер. Мотоцикл взревел. Виктор перекинул через него ногу, ловко уселся на сиденье.

— Ты куда? — испуганно спросил Егор Семенович.

— На пасеку, — сказал Виктор и, поддав газу, пустился вдогонку за Саморуковым.

СУМЕРКИ

Он выходит в сад в наступающих сумерках, становится в густой тени высокой ели и смотрит на тлеющий уголек уходящей за горизонт зари. Тонкая ниточка заката опускается за край земли, на небе появляются переливающиеся хрустальным блеском звезды, а он все смотрит туда, где исчез раскаленный краешек солнца и не хочет верить, что наступила ночь. И лишь когда за оградой в зарослях ольхи начинается щелкать соловей, до его сознания доходит, что день ушел окончательно и солнце теперь появится только после утренней песни птицы. Природу он понимает лучше, чем людей. Она всегда была для него храмом спасения, в котором он укрывался, когда надрылась душа.

Жена уже давно зажгла в доме свет и разобрала постель, но он не идет туда, потому что не хочет видеть ее. Она это знает, но не ляжет спать, пока не дожидется его. Ей страшно оставаться в доме одной.

Беда пришла неожиданно, хотя он и чувствовал, что она уже нависает над ним. Всю неделю он ощущал себя разбитым, голова будто налилась свинцом, каждое движение давалось с трудом. Надо было показаться врачу, но жена, ходившая, как разъяренная пантера, при каждом упоминании о больнице бросала зло:

— Ты просто не хочешь ничего делать, поэтому выдумываешь себе болезни. Спешешь сорваться к друзьям, чтобы напиться.

С друзьями он не виделся уже давно, и повидать их действительно хотелось. Николай Твердохлебов много раз приглашал к себе в мастерскую, где долго и трудно работал над очередной картиной. Он хорошо знал горы, умел их изобразить, но сейчас у него что-то не получалось.

— Ты понимаешь, Гена, — говорил он, разводя руки и как всегда чуть заикаясь. — Никак не могу схватить последний луч. Ясно вижу — солнце уже завалилось за горы, его нет. На какой-то миг осталась только узенькая, словно шпага, полоска света над темной долиной. Там, где она касается снегов, они искрятся, четко высвечивают грани вершин, а внизу — сумеречная темнота приготовившихся ко сну гор. Как при сотворении мира: и отделил Он свет от тьмы, и назвал свет днем, а тьму ночью.

— Что же у тебя не получается? — усмехнулся ты. — Ты так хорошо рассказываешь...

— Рассказываю хорошо, а на холсте не выходит. — Твердохлебов чуть улыбнулся и добавил с просящей ноткой: — Приходи, что-нибудь подскажешь. У тебя точный глаз.

Все встречи с друзьями проходили одинаково. Когда ты приходил в мастерскую к тому же Твердохлебову, тот доставал бутылку и два стакана, резал на картонке или дощечке хлеб и соленые огурцы, вы неторопливо пили водку и, вспоминая, рассказывали друг другу какие-нибудь истории. Посреди мастерской стояла практически законченная картина, на которую Твердохлебов время от времени бросал короткие взгляды. Ему нужно было знать твое мнение о сюжете, мельчайших деталях, свете и тенях, положенных на холст. Ты всегда говорил правду и те, кто был талантлив, умели ценить ее, даже если она была горькой. Для человека способного острые замечания только на пользу. Он их учтет и дотянет свою вещь до произведения искусства. Бездарному нужна лишь похвала.

Но ты не поехал к Твердохлебову, потому что надоели ежедневные упреки жены, и вынести очередной скандал уже не было сил. А утром проснулся с таким чувством, словно забыл всю прежнюю жизнь. Пытался сказать что-то, но не мог вспомнить слов. В памяти вставали картины прошлой жизни. Горы, которые ты любил, своенравная, но работающая и преданная, выручавшая не раз в таежных походах лайка Дулька, волки, загнавшие на скалу и разорвавшие на ней марала. Все это стояло перед глазами, но ты не мог произнести ни слова «марал», ни даже имени своей собаки.

На столе рядом с кроватью лежала книга, которую ты начал читать вечером. Ты взял ее в руку, внимательно посмотрел на обложку и попытался шепотом произнести название, но вдруг со страхом обнаружил, что забыл все буквы. Ты в ужасе поднялся с постели, вышел из дома и почувствовал, что мир стал другим. Где-то далеко посвистывала иволга, над самым домом, разворачиваясь на широких крыльях, недовольно верещал коршун, но тебе казалось, что все эти звуки исходят из другого, совершенно незнакомого мира. В дверях показалась взлохмаченная, заспанная жена в помятой ночной рубашке и, посмотрев на заросший травой огород, сказала:

— Опять хочешь прикинуться больным?

В ответ ты хотел прокричать ей зло и резко: «Дура!», но вместо этого издал лишь несколько нечленораздельных звуков.

— Ну вот, уже начал прикидываться, — сузив глаза, ядовито сказала жена и вернулась в дом.

В больницу ты попал через три дня и врач сразу же установил, что случился инсульт. Диагноз прозвучал, как приговор, но вскоре ты обнаружил, что жить можно и с этой болезнью. Она не давала общаться с друзьями, но не мешала думать. Особенно вспоминать пережитое. И ты начал перебирать в памяти свою прошлую жизнь, пытаясь понять, откуда все началось.

Людмила или Мила, как ласково называл ты жену, высмотрела тебя на персональной выставке Твердохлебова. Худенькая, с остреньким, вздернутым кверху носиком, в больших очках с массивной оправой, она стояла, повернувшись спиной к картинам, и неотрывно смотрела на тебя. Ты разговаривал с Твердохлебовым, собиравшимся приехать на этюды к тебе в заповедник, но ее взгляд постоянно отвлекал.

— Гена, по-моему, она в тебя втрескалась, — чуть улыбаясь, тихо сказал наблюдательный Твердохлебов и осторожно повернул голову в сторону Милы.

Ты проследил за его взглядом и наконец-то рассмотрел очкастую девушку в простеньком платьице и тупых, начищенных до блеска черных башмачках. Она пожирала тебя своими большими, увеличенными стеклами очков глазами. Ты взял Твердохлебова под локоть и повел в дальний конец зала, где были выставлены картины, изображавшие любимую тобой тайгу. Очкастая девушка несколько не интересовала тебя. Но уже через мгновение заметил, что она снова оказалась возле вас. Это задело.

— Вам нравятся эти картины? — спросил ты навязчивую девушку, кивнув на горный ручей, изображенный Твердохлебовым.

— Очень, — сказала она, дрожа и заливаясь краской.

Она заметно волновалась, и это волнение делало ее беззащитной. И ты, сам не зная почему, взял девушку за локоть, подвел к картине и начал рассказывать о ручье, о кедрах, со шлепаньем роняющих шишки в холодную осеннюю воду, о посвисте иволги ранним утром, когда и ручей, и низины гор покрыты тягучим и влажным белесым туманом и каждый звук слышен за километр. Она слушала, затаив дыхание, и при этом



смотрела не на картину, а на тебя, словно пыталась раствориться в твоих глазах. И ты вдруг почувствовал тепло, разливающееся в груди от этого взгляда.

— Вы так хорошо рассказываете о тайге, как будто выросли в ней, — сказала Мила и снова наивно, по-детски заглянула тебе в глаза.

— Я живу там, — ответил ты, улыбаясь ее наивности. — Около этого ручья. Приезжайте, я покажу вам его.

— Вы серьезно? — спросила она и опять разволновалась так, что не могла найти места своим рукам, все время зажимая ладонью пальцы то одной, то другой руки.

— Вполне серьезно, — сказал ты, хотя на самом деле попытался просто разыграть девушку.

А через две недели, когда, возвратившись в тайгу, ты приехал в поселок запастись продуктами и куревом, увидел на пристани Милу. Она бросилась к тебе, ты раскинул руки, и Мила оказалась в твоих объятьях. Через час на моторной лодке ты увез ее в свой домик на берегу озера, в котором никогда не было ни одной женщины, и она прожила там десять дней. Это были самые счастливые дни в твоей жизни. Никогда еще рядом с тобой не было такого очаровательного, ласкового и любящего существа. Тебе казалось, что и для нее эти дни были такими же счастливыми. Почему же потом все стало по-другому?..

Ты вдруг вспомнил высокого молостого соседского племянника Гришку, приехавшего на лето в деревню к тетке. Он не понравился тебе с первого взгляда не только потому, что был длинноволос и неопрятен, неприятным казалось его прыщавое лицо и блудливые, все время бегающие глаза. Как только из дома выходила твоя дочь Лена, на соседнем огороде тут же появлялся Гришка. Он следил за каждым ее движением, словно затаившийся охотник. Лене было всего пятнадцать, но она уже превратилась из угловатого подростка в симпатиченькую девушку с оформившейся грудью и красивыми стройными ногами. Не глядя на Гришку, она шестым чувством улавливала на себе его внимание и начинала поправлять пальцами прическу и, как бы невзначай, расправлять воротник голубенькой тесной кофточки. Она чувствовала, что нравится соседу, и ей явно хотелось произвести на него еще большее впечатление. Но ты всегда считал свою дочь серьезной и был убежден, что она стремится лишь подзадорить Гришку. Ни на какие его уловки Лена не поддастся.

И вдруг однажды заметил, что дочь стоит в тени кустов у забора, а Гришка, скаля зубы, обнимает ее за плечо и прижимает к себе. Ты чуть не задохнулся от негодования. Подскочил к дочери и, оттолкнув локтем ухажера, не сказал, а прошипел побледневшими губами:

— А ну-ка, марш домой!

Дочка прошмыгнула в калитку, а Гришка язвительно заметил:

— Всю жизнь за подол не удержите.

— Роди сначала свою, потом будешь учить, — не глядя на него, ответил ты.

Дома ты набросился на дочь со злыми словами:

— Не понимаешь, что он старше тебя? Он же охмурит такую простофилю, как ты, в два счета. Что будешь делать потом? Как будешь смотреть в глаза мужу? Всю жизнь глотать вместе со слезами его упрёки?

Но совершенно неожиданно за дочку заступилась жена.

— Ты что на нее напал? — возмутилась она. — Пусть живет, как хочет. Тоже мне моралист. У Гришки отец вон какой богатый. Два магазина имеет, на джипе сюда приезжает.

Ты посмотрел на жену, как на неожиданно возникшее перед лицом чудовище. В голове сразу пронеслась мысль: «Что это за женщина? Откуда она взялась?» Но, опустив глаза, сказал совсем другое:

— Не в деньгах счастье. Ей жить не с джипом, а с человеком.

— Иди ты со своей моралью к себе в горы, — сказала жена и отвернулась.

А тебе вдруг стало жалко ее. С деньгами в семье и вправду было трудно, уезжая в заповедник, ты иногда даже не знал, на что живут жена с дочкой. Оправдание находил в одном — Мила хорошо представляла, за кого выходила. Да и другие живут не лучше. Зато, когда она приезжала к тебе в горы, ты устраивал ей настоящий праздник.

Однажды повез ее с дочкой на речку, где жили выдры. Забавно было наблюдать, как ранним утром, скользя по влажной траве на светлом пушистом брюхе, они плюхались в воду и начинали играть, ныряя и догоняя друг друга. За этой игрой можно было следить часами.

Солнце еще не поднялось над вершинами, оно только обшаривало искрящимися лучами холодные голые скалы. Над во-



дой, собираясь в клубки, стелился реденький белесый туман. С обрыва к реке прямо по песку змеились толстые узловатые корни высокого кедра. Между ними у самого края обрыва, поросшего жесткой осокой, виднелась нора, в которой жила семья выдр. Вы осторожно подошли к скрадку, из которого ты наблюдал за животными, присели на корягу и сквозь ветки куста стали следить за норой. Первая выдра показалась уже через несколько минут. Высунув наружу усатую мордочку, она на мгновение задержалась у входа, повертела головой и, скользя на брюхе, съехала в воду. За ней появилась вторая, потом третья. Вскоре весь выводок оказался в воде. Выдры начали гоняться друг за другом, ныряя и уходя в глубину. Когда одна из них оказывалась на поверхности, она крутила круглой головой, поджидая пока вынырнет другая. И как только та появлялась над водой, тут же ныряла. Зрелище было захватывающим, и дочка, подавшись вперед, застыла с полуоткрытым ртом, боясь пошевелиться.

В это время одна из выдр показалась над водой с большим налимом в усатой пасти, подплыла к берегу и уселась на песке в пятнадцати метрах от вас. Вытащив рыбу на песок, выдра с хрустом начала поедать ее. Солнце, словно сбросив невидимые оковы, поднялось над горным хребтом. Его лучи сначала осторожно коснулись воды, потом скользнули по выдре, шоколадная шубка которой сразу же заискрилась. Дочка, уже совсем не дыша, напряглась еще больше, но жена неосторожно повернулась, хрустнув попавшей под ногу сухой веткой, выдры, услышав звук, нырнули и тут же исчезли. На песке остался лишь недоеденный налим. Над речкой и горами повисла напряженная тишина. Ты встал, протянул руку Лене и сказал:

— Пойдемте домой. Теперь нам их здесь не дождаться.

Жена обняла тебя, прижалась к плечу и виновато произнесла:

— Не сердись. Я же не специально.

— Я и не сержусь, — ответил ты.

— Я так тебе благодарна, — сказала жена, подняв голову.

— Такую красоту нам показал. Где бы мы еще увидели это?

В тот миг тебе показалось, что тайгу со всеми ее обитателями жена любит не меньше, чем ты. И ты прижал ее к себе и поцеловал в голову. Волосы жены пахли свежей хвоей, утренним туманом и солнцем.

Длинными, холодными ночами, мучаясь от бессонницы в своей избушке, ты вспоминал Милу, босую, теплую, в короткой ночной рубашке, не прикрывавшей круглые, розовые коленки. Тебе так хотелось взять ее на руки, осторожно поцеловать сначала коленки, потом маленькие, торчащие сквозь рубашку груди, а затем припасть к горячим влажным губам, чтобы задохнуться от поцелуя. Ты долго ждал этого мгновения и, замирая, тысячу раз предвкушал его в своей таежной избушке. Собираясь на побывку домой, обязательно срезал несколько веточек маральника с набухшими почками, дома ставил их в вазу с водой и через два дня они покрывались бледно—розовыми цветами, преображая всю комнату. И все было хорошо до тех пор, пока человеческие отношения не поменялись в стране на рыночные. Вскоре во время каждого приезда Мила прямо с порога стала спрашивать:

— Денег привез?

Вы уже не бедствовали. Хотя зарплата биолога-охотоведа была не слишком большой, ты постоянно привозил из тайги то маральего мяса, то рыбу, кедровые орехи не переводились в доме круглый год. А Мила, поступив в коммерческую фирму, вообще стала получать хорошо. Но ей все время хотелось больше, потому что те, с кем общалась, были богатыми. И чем дольше это длилось, тем заметнее становилась ее неприязнь к тебе, а встречи вместо радости начали приносить мученья. Вместо чувств, которые еще недавно до края заполняли вас обоих, в ее отношениях с тобой появился расчет. Твоя работа стала тяготить ее.

Ты снимал с плеч тяжелый рюкзак, ставил в комнате дочери в маленькую вазу веточки маральника, шел в ванну и иногда, даже не поев, ложился спать на холодный диван. Потому что Мила, встретив тебя, уходила в спальню и демонстративно закрывала за собой дверь на защелку. На следующий день, так и не обменявшись с женой ни словом, ты шел к Твердохлебову.

Однажды ты выманил его в тайгу на этюды и привел на ручей к выдрам. Он сидел на той же коряге, что и Мила, и был похож на ребенка, увидевшего чудо. Его глаза искрились восторгом, когда солнце ощупывало лучами скалы, он, прищурившись, с изумлением смотрел на клубящийся туман, а увидев выдр, вообще замер от удивления. Потом, не шевелясь, одной рукой достал из сумки карандаш и, не отрывая взгляда от ру-



чья, начал тонкими штрихами набрасывать на листе бумаги очертания берега и гибких, как речные струи, резвящихся в воде выдр. Вы просидели здесь почти полдня.

Когда выдры уплыли, Твердохлебов, с трудом разгибая колени, поднялся, обнял тебя и сказал, не скрывая восхищения:

— Спасибо, Гена. Это были лучшие минуты в моей жизни.

Через полгода он прислал цветную фотографию своей картины «Утреннее купанье». На ней был изображен берег горного ручья, выдра, скатывающаяся на животе по крутому откосу, и ее подружки, резвящиеся в воде. Потом ты видел эту картину на областной выставке. Ее купил известный сибирский музей изобразительного искусства. Не было бы на реке выдр, не было бы прекрасной картины, не было бы славы Твердохлебова как художника. И ты с горечью подумал: «Красота — понятие духовное. Почему же ее все больше заменяет материальный интерес?»

Возвращаясь зимой в свою городскую квартиру, ты все чаще заставлял ее неухоженной, похожей на туристский бивуак, где все вещи на виду, чтобы не забыть, если вдруг неожиданно придется сниматься с места. Жена потеряла желание наводить уют в собственном доме. Зато дочка похвалилась новым спортивным костюмчиком и кроссовками известной заграничной фирмы.

— Дядя Вова подарил, — не скрывая радости, сказала она, показывая обновки.

— Какой дядя Вова? — удивился ты.

— Который приезжает к нам на джипе.

«Ну, вот и случилось то, что должно было случиться», — тяжело опустив голову, с горечью продумал ты. Надо было выбирать: оставлять жену с дядей Вовой или, закрыв на все глаза, делать вид, что ничего не произошло. Ты не мог бросить тайгу, потому что не представлял без нее жизни, а жена ненавидела заповедник из-за того, что он не приносил денег и отнял тебя у нее. Надо было собраться и уйти, но у тебя не хватило духу. Вдруг до сердечной боли стало жаль дочку, такую доверчивую и незащитную, за которую, кроме тебя, заступиться в этой жизни было некому. И ты стал оправдываться перед женой, кляня и ненавидя себя за это.

А вскоре к вам в гости приехала ее младшая сестра Люська после развода с очередным мужем. Ей было тридцать пять, и

она уже четыре раза выходила замуж. Появившись на пороге, она остановилась, оглядела квартиру, достала из сумочки сигарету, прикурила и только после этого произнесла, изобразив удивление:

— О, на этот раз и хозяин дома!

После каждого развода она заявлялась к вам и жаловалась на бывших мужей. Как оказывалось, все они были негодяями, имели любовниц и тратили на них большую часть своих денег.

Ты пропустил ядовитую реплику мимо ушей, помог ей снять пальто и участливо спросил:

— Снова не повезло?

Люська нервно затаилась, выпустила длинную струю дыма и, постучав пальцем по сигарете, сказала:

— И почему мужики такие кобели?

— Имеешь в виду меня? — спросил ты, окидывая Люську взглядом. Несмотря на частую смену мужей, она не выглядела потасканной. У нее была хорошая фигура и ухоженное лицо. Да и одеваться она умела со вкусом.

— О тебе речи не идет, — отрезала Люська. — Ты предан дому, как твоя собака Дулька.

Люська прошла в комнату к жене, они сели в кресла за журнальный столик и начали обсуждать свои проблемы. Такие обсуждения могли длиться часами. Ты сходил в магазин за водкой, приготовил гуляш из марала, достал из холодильника банку соленых рыжиков, собранных в тех же заповедных местах, и пригласил сестер на кухню. Они моментально откликнулись, жена достала рюмки и села за стол. Ты наполнил рюмки и чокнулся с сестрами, хотя пить совсем не хотелось. Когда остатки гуляша остыли, а рыжики были съедены, Люська сказала слегка заплетающимся языком:

— Ты знаешь, Гена, мы с Милкой решили, что я теперь буду жить у вас. Ну их всех, мужиков. — Она посмотрела на сестру, улыбнулась и добавила: — Нам с ней одного тебя хватит.

Ты рассмеялся, взял в руку узкую, холодную Люськину ладонь и сказал, кивнув на жену:

— Она так не считает.

— Это я ей предложила, — вдруг неожиданно сказала жена. — Может, ты ей понравишься больше, чем мне.

Люськина ладонь выпала у тебя из руки, ты с недоумением посмотрел на жену.

— А чего нам с ней делить, сестра ведь, — улыбаясь злой, беспощадной ухмылкой, пожалла плечами жена.

Они обе откровенно издевались над тобой. Ты встал, прошелся по кухне и сказал, удивляясь своему спокойствию:

— Вы тут поговорите, а мне надо обсудить это с Твердохлебовым.


И, не оглядываясь, вышел. Утром ты уже был в заповеднике. Уложил в рюкзак провиант и охотничье снаряжение и вместе с Дулькой отправился осматривать свои угодья. Дома появился через два месяца. Люська за это время очередной раз вышла замуж, а дочке покупал подарки уже не дядя Вова, а дядя Боря...

Сейчас, глядя на угасающий закат, ты думал о том, что все лучшее в жизни осталось позади, да и вся жизнь оказалась скоротечной и скомканной. В голову лез один и тот же вопрос: почему так быстро все перевернулось? Куда вдруг ушло то, ради чего человек появляется на земле? Доверие друг к другу, любовь, трепетные отношения, от которых душа обретает крылья? Куда сбегало счастье? Ведь и у дочки сложилось не лучше. Она вышла замуж за прыщавого Гришку, но уже через год вернулась, сказав, что ей противно ложиться с ним в одну постель. А ведь у Гришки, в отличие от тебя, не переводятся деньги, и ездит он не на латанной-перелатанной «Ниве», а на сверкающем лаком японском джипе. Вот уж, действительно, не в деньгах радость. А в чем же тогда?..

Закат догорел, опустившись за край горизонта. Черная тень ели, похожая на опрокинутую пирамиду, растворилась в вечерней мгле. В зарослях ольхи защелкал соловей, отсылая память к самым счастливым дням твоей жизни. Ты вспомнил Милу в подвенечном платье, легкую, воздушную, от пяток до макушки пахнущую цветами и солнцем. Будто ветку маральника, распустившуюся весной на темной скале. При одном взгляде на нее у тебя разливалось тепло в душе и начинало учащенно стучать сердце.

Сейчас она стояла за спиной, ожидая, когда ты пойдешь в дом. Осознав твою болезнь, она вдруг испугалась потерять тебя. Ты это чувствовал затылком, но не хотел оборачиваться. Предавшему однажды не верят всю оставшуюся жизнь.

Почерневшее небо длинной раскаленной линией прочертила падающая звезда. Проследив за ней взглядом и подо-



ждав, пока она погаснет, ты повернулся и, не поднимая глаз на жену, молча пошел к дому. Ты думал о Твердохлебове, который снова собрался на этюды в заповедник и звал тебя с собой. Там уже исстрадалась, ожидая тебя, преданная и ласковая Дулька. Ты знал, что каждый вечер она выходит на берег, садится у камня и так же, как ты, одиноко смотрит на падающие звезды. И ты подумал о том, что, по всей видимости, тайга и есть твоя единственная настоящая жизнь. Она не предаст...

ВЕЧНЫЙ ЗОВ СЕВЕРА

Чем ближе было утро, тем труднее давался Гусыне каждый взмах уставших крыльев. Табун снялся с воды вечером, когда солнце стало опускаться за горизонт, расстилая над землей красную полосу зари. Вожак, вытянув шею, приподнялся над гладью озера, потянулся, расправляя крылья, и легко оторвался от воды. За ним с шумом поднялась вся стая. Гуси летели всю ночь, переговариваясь в полете. Они выстроились клином, на острие которого собрались самые сильные. Тем, кто летит в конце строя, не приходится разрезать плотный воздух, они идут в кильватере впереди летящих. Точно так же, как караван судов вслед за ледоколом.

Всю зиму стая провела на берегу Персидского залива. В середине марта, преодолевая пустыни и горы Ирана, она остановилась на юге Каспия, где почти три недели набиралась сил перед великим перелетом на места гнездовий. Каждый член стаи был возбужден до предела, даже молодые, отправившиеся в свой первый полет с зимовки на родину. Гуси не могли долго сидеть на одном месте, постоянно срывались, словно ища чего-то и не найдя, перелетали то с воды на прибрежный песок, то с песка на воду. Гусыня тоже была возбуждена. Но в отличие от молодых понимала причину своего состояния. В ней проснулся зов Севера, который не прекратится до тех пор, пока она не достигнет родного озера и не отложит в гнездо первое яйцо.

Приближение родных мест Гусыня почувствовала еще до рассвета. Внизу, в еле различимом мраке, на фоне чуть сереющего пространства начали встречаться темные островки различной величины. Так выглядят с высоты березовые колки. Но главное было не только в этом. Сам воздух становился другим. Им стало легче дышать, он добавлял сил уставшим крыльям. Гусыня поняла, что пустынные пространства остались позади и стая летит над лесостепью великой Западно-Сибирской равнины. Внизу то там, то здесь стали мелькать зеркала озер, почти полностью очистившиеся ото льда.

Когда на востоке, вытянувшись во весь горизонт, появилась светлая полоса наступающего дня, Гусыня увидела родные места. Большие, заросшие по берегам высоким камышом озера находились далеко друг от друга, но с полуторакилометровой высоты просматривались хорошо. Старый прошлогодний камыш резко выделялся на фоне черной, еще не начавшей зеле-

неть береговой линии. Увидев озеро, на котором гнездились все гуси стаи, вожак загоготал и начал снижаться. Но прежде чем сесть, надо было убедиться, что озеро безопасно. Опыт подсказывал, что даже к дарованной тишине надо относиться с осторожностью.

Стая заходила на посадку через камыши, за которыми блеснула вода. На ней уже отдыхали прилетевшие раньше гуси. Они негромко гоготали, переговариваясь между собой. Это и обмануло Вожака.

Уже на самом подлете к озеру он увидел на краю камыша три затаившиеся фигуры. Их темные очертания проступали сквозь обесцветившуюся, ставшую почти белой, растительность. Отвернуть было невозможно, и Вожак резко взял вверх, увлекая за собой стаю. Но было уже поздно. Раздались выстрелы, крупная дробь просвистела рядом, и Вожак краем глаза увидел, как, вывалившись из стаи, на землю падают сразу три гуся. Первым был крупный сильный гусак, летевший во время всего перелета вслед за Вожаком и часто менявший его на острие клина. За ним падала гусыня, которой перелет дался труднее других. В ней уже вызрело яйцо, и она торопилась быстрее добраться до гнезда, чтобы отложить его. Третьей тоже была гусыня, собравшаяся в этом году впервые стать матерью. Из двенадцати гусей в стае осталось только девять.

Вожак забирал все выше и выше, удаляясь от озера, на котором появился на свет шесть лет назад. Уже не первый год родные места встречали его выстрелами, и каждый раз стая теряла самых сильных. Тяжело махая уставшими крыльями, он повел табун на большое открытое озеро с голыми песчаными берегами. Оно было безопасным, потому что охотникам негде здесь спрятаться, но соленым. А гуси после дальнего перелета хотели пить. Теперь несколько часов придется ждать возможности добраться до пресной воды.

Просидев на пустынном холодном берегу, Вожак полетел на разведку. Он молча поднялся с земли, и стая так же молча проводила его. Над родным озером он пролетел на большой высоте. Развернулся над полем и, постоянно гогоча, пошел к камышам на бреющем полете. Он специально привлекал к себе внимание, пытаясь спровоцировать охотников на выстрелы. Одного из них он видел здесь каждую весну. Небольшой толстый человек в камуфляжном бушлате, ожидая прилета гусей, прятался на краю озера в одном и том же месте. На фоне



светлого, высохшего за зиму камыша желто—зеленый бушлат выделялся ярким пятном. Его маскировка годилась только для лета, когда распустится зелень. Но это знал только Вожак, молодые гуси об этом не догадывались. Они первыми попадали под выстрелы.

Лететь над самой землей было опасно. Вожак постоянно покачивался, переваливаясь с крыла на крыло. Он усвоил, что так легче уйти от разящего выстрела. На подлете к камышам, где мог затаиться охотник, Вожак резко свернул, чтобы увидеть всю кромку озера. Ничего подозрительного здесь не было. Вожак пролетел над озером, на котором там и тут сидели утки, набрал высоту и направился к березовому колку, видневшемуся на краю поля. У крайних берез стояла зеленая тупорылая машина с брезентовым тентом. Толстый охотник складывал в кузов убитых гусей. Вожак развернулся и полетел к стае.

Он сел рядом с Гусыней и, подняв голову, окинул взглядом тех, кто доверил ему великий перелет. Как только гуси окажутся на озере, они распадутся на пары и начнут устраивать гнезда. Но это сделать не все. У двух гусаков охотники убили гусынь, у одной гусыни — гусака. Новые пары сложатся у них только к следующей весне. Если, конечно, доживут до нее.

Гусыня, косолапо переваливаясь и негромко гогоча, подошла к Вожаку. Она словно разговаривала сама с собой, но ее хорошо слышали остальные. Она торопила Вожака на родное озеро. Он медлил, опасаясь, что охотники могут вернуться, но она уже не могла ждать. Она взлетела, и Вожак взмахнул крыльями вслед за ней.

Гусыня летела низко над землей, ее вместе с Вожаком можно было легко снять из ружья, но охотников уже не было. Вдоль края камыша, слегка припадая на левую лапу, мелкой трусцой семенил рыжий Лис. Он часто останавливался и, поднимая морду, втягивал ноздрями воздух, пытаясь определить по запаху, нет ли поблизости добычи. Когда к озеру подходили охотники, Лис прятался в камышах. Но стоило им уйти, он выбирался из укрытия и начинал обследовать берег. После набега охотников в камышах часто остается подбитая и не найденная ими дичь. Гусыня знала — если Лис бродит не прячась, значит охотников уже нету. Лиса же гуси не боялись. Иногда демонстрируя это, Вожак смело налетал на него и тот, скаля зубы, отступал. Но сейчас Вожаку было не до Лиса, он слишком устал после дальнего перелета.

Перелетев камыши, гуси сели на воду и негромко загоготали. Гусыня огляделась. Озеро было хорошо ей знакомо, но каждой весной оно выглядело по-иному. В стене камыша, окаймлявшего воду по периметру, виднелись проплешины. В этих местах его поломали бураны и тяжелый двухметровый снег. Он еще не везде растаял, кое-где превратившись в лед.

Гусыня поплыла к камышу, который в одном месте остроконечным мысом вдавался в озеро. Обогнув острие мыса, она протиснулась между камышинами и выбралась на мокрый, пористый лед. Гусыня подняла голову. Озеро просматривалось по обе стороны от мыса почти на всю ширину. Любую опасность, исходящую с воды, с этой точки можно было заметить издалека. С берега никакой враг добраться до мыса не мог — двухсотметровая полоса стоящего стены камыша была непреодолима ни для Лиса, ни для человека.

Гусыня, переваливаясь, потопталась на месте и сильным клювом начала ломать камыш и укладывать его на лед. Каждую тростинку она укладывала так, чтобы они сплетались между собой, составляя единое целое. Вожак, сидевший на воде у кромки мыса, тоже вылез на лед и начал продираться к Гусыне. Добравшись до нее, он стал ломать камыш и подавать ей. Гусыня устраивала гнездо. Оно должно было быть высоким и плотным, чтобы вода не добралась до кладки, когда окончательно растает лед. Гнезду надо было выдержать и волну, если на озере поднимется сильный ветер.

На устройство гнезда ушло несколько часов. Когда оно было сделано, Гусыня согнула ближние камыши так, чтобы они закрыли его сверху. Через день-два на озере появятся белохвостые орланы, кочующие вслед за гусями на Север. Если Гусыня не укроется от зоркого взгляда хищника, она может стать его легкой добычей. Орланы держатся на озере не меньше недели, до тех пор, пока дальше на Север не откочуют казарки. Пару этих суетливых, писклявых птиц, постоянно выдающих себя за настоящих гусей, Гусыня уже заметила на дальнем конце озера. По всей видимости, они прятались в камышах от охотников и сейчас выплыли на чистую воду.

Походив по гнезду, чтобы уплотнить подстилку, Гусыня вылезла наружу, где ее подждал Вожак. Пробравшись к воде, они бесшумно взлетели, поднялись над озером, перевалили на небольшой высоте березовый колок и опустились на зеленое поле, где после суровой снежной зимы начала расправлять на



весеннем солнце стреловидные листочки озимая рожь. Только здесь Гусыня поняла, насколько она голодна. Она жадно набросилась на зелень и начала щипать ее, неуклюже переваливая с ноги на ногу.

Гуси не успели еще утолить голод, когда к ним подсела пара казарок. И хотя Вожак с Гусыней недолюбливали их за суетливость и считали самозванцами в своем племени, казарки тоже были гусями, пусть и вдвое меньшими, чем серые. Их окраска была значительно темнее, зато голова от клюва до самых глаз была белой. Но Гусыня не любила казарок не за окраску, а за писклявый голос. И еще за то, что лето они проводят Бог знает где, зато осенью перед самым отлетом на юг казарок набивается на озере столько, что от их писка можно оглохнуть. Стаи казарок появляются внезапно, чаще всего в холодную и ясную звездную ночь, день отдыхают и кормятся на близлежащих полях, а на следующую ночь с громким криком и хлопаньем крыльев снимаются с озера и улетают дальше на юг.

Недовольно поглядывая на казарок, Гусыня щипала зелень, а Вожак время от времени поднимал голову и оглядывал окрестности. По краю поля, пригнув голову к самой земле, мелко трусил хромоногий Лис. Обычно он выходил на охоту ближе к вечеру, но предыдущая вылазка, по всей видимости, была неважной, и голод согнал его с дневной лежки раньше времени. Лис повредил лапу на озере, где гнездились гуси. Осенью охотники ставили там капканы на ондатру. Вороватый Лис решил поживиться дармовой добычей и потащил попавшую в ловушку ондатру из камышей. Но капкан был привязан. Не выпуская ондатру из пасти, Лис начал пятиться и угодил левой задней лапой в другой капкан.

От страха и нестерпимой боли он взвился над землей, забыв и об ондатре, и о мучившем голоде, но капкан не отпускал его. Лис обезумел от ужаса. Он начал метаться из стороны в сторону, переворачиваться через голову, даже грызть в ярости железные дужки капкана, между которыми застряла лапа. Он вымазался в озерной тине от ушей до кончика хвоста и был скорее похож на болотную кикимору, чем на настоящего Лиса в роскошной темно-рыжей шубке. В конце концов ему удалось вырваться из западни. На трех лапах он проскакал от озера до ближайшего леска, залез под куст и начал зализывать рану. Капкан содрал кожу, повредив сухожилия, и первые прикосновения горячего шершавого языка к ране казались жгуче болез-

ненными. Но чем дольше он лизал, тем меньше становилась боль. Лапа, в конце концов, зажила, но Лис на всю жизнь остался хромым.

Увидев Лиса, казарки испуганно взлетели, на ходу переговариваясь между собой. Вожак тоже взлетел бы, но не от страха, а для того, чтобы задать Лису трепку. Однако не сделал этого, потому что рядом была Гусыня. Покинуть ее он не мог ни при каких обстоятельствах.

Гуси кормились еще не менее часа, потом вернулись на озеро. Навстречу им из-за камышей поднялись две пары из их стаи. Обменявшись приветствиями, Вожак с Гусыней опустились на воду у камышового мыса, где устроили гнездо. Гусыня сразу же залезла в него и, вытянув шею, начала собирать лежавшие рядом камышинки и укладывать их вокруг себя. Затем стала выщипывать перья и пух с груди и живота и выстилать ими гнездо. Вожак стоял рядом, внимательно оглядывая окрестности. Он должен был оберегать покой и безопасность семьи.

Через день Гусыня снесла первое яйцо. Укрыв его перьями, она вылезла из гнезда, и они вместе с Вожаком полетели кормиться. Вожак повел ее не на ржаное поле, ярко сверкавшее свежей зеленью, а на черную безотвальную прошлогоднюю пахоту. Правда, и там между щетинистой пшеничной стерней уже кое-где пробивалась зелень. Но на этом поле было немало и не проросших зерен. Вожак знал, что скоро они укоренятся в земле, и тогда их не достанешь. Но пока ими еще можно было кормиться.

Гуси сели на просохший, прогретый солнцем склон и начали по зернышку собирать пшеницу. Вскоре к ним присоединилась молодая пара из их стаи — красивая розовоклювая гусыня и статный широкогрудый гусак с несколькими белыми перьями позади левого глаза. Из-за этих перьев его прозвали в стае Меченым.

Эта пара гнездилась впервые. Меченый не отходил от своей гусыни ни на шаг, подавал ей камыш, когда она строила гнездо, и даже выщипнул из своего живота несколько щепотей перьев, чтобы гусыне было уютней высидывать яйца. Перед отлетом на кормежку она снесла второе яйцо, и Меченый был настолько горд собой и своей гусыней, что свысока посмотрел на Вожака стаи. Но тот, не обращая внимания на молодое высокомерие, продолжал собирать пшеничные зерна, постоянно поднимая



голову и озираясь по сторонам. Несмотря на то, что поле простиралось до синеющего вдали леса и хищнику подобраться по нему незамеченным не представлялось возможным, Вожак все время был на стороже. К этому его приучила жизнь.

Гуси еще не успели покормиться, когда над ними торопливо пролетела стая испуганных казарок. Они отдыхали на большом соленом озере, куда возвратились с кормежки совсем недавно. Согнать их с озера могла только большая опасность. Вожак поднял голову и стал всматриваться в горизонт и небо над ним. Но на горизонте виднелись только островки берез, а по небу плыло одинокое взлохмаченное облачко. Гусыня еще выискивала на земле одинокие зернышки, но Вожак замер, как изваяние. Поднимающийся от земли теплый дрожащий воздух наполнился тревогой. Она передалась Вожаку, и он стоял с напряженными мускулами, готовый в любое мгновение сорваться с места. Гусыня тоже подняла голову. Не сговариваясь, они взмахнули крыльями и стали быстро набирать высоту. Меченый со своей гусыней остался на поле. Они были слишком голодны, чтобы учуять опасность.

Не долетая до своего озера, Вожак заметил белохвостого орлана. Он парил низко над камышами, высматривая добычу. Лететь к гнезду было опасно, и Вожак повернул к соленому озеру. Там можно было переждать, пока орлан не улетит в другое место. Не поживившись птицей, он отправится на поле искать зайцев. Но на берегу соленого озера сидел другой орлан и тербил казарку. Он упирался в нее когтистой лапой и мощным крючковатым клювом выдирал с груди и живота сразу по целому пучку перьев. Они летели вдоль берега, цепляясь за песок и оседая у воды, походили на прибитую волной пену.

Гуси забрали вверх и, развернувшись, полетели назад. Еще издали увидели, что орлан, круживший над их озером, направился в сторону поля, где они только что кормились. Он парил в воздухе, лишь время от времени пошевеливая крыльями, и эта неторопливость позволяла ему зорко осматривать каждый метр проплывающего внизу пространства. Сделав над озером круг, гуси сели на воду и поплыли к гнезду. Гусыня залезла в камыши, а Вожак остался на воде охранять ее. Если над озером появится орлан, Вожак взлетит и отвлечет его внимание.

Несколько дней прошли относительно спокойно. Орланы появлялись над озером, но Гусыня была хорошо укрыта, а Вожак, как всегда стоявший рядом и наблюдавший за тем, что происхо-

дит вокруг, научился прятаться. Ветер согнул и обломал старый камыш, под ним образовались похожие на небольшие пещеры пустоты, в которых можно было укрыться. Тем более что сквозь старый, прошлогодний камыш уже начали прорастать молодые зеленые тростинки, и притаившийся среди них серый гусь был совершенно не заметен. Пара орланов не очень докучала гусям, потому что главной их добычей были казарки, а когда не удавалось поохотиться на них, орланы улетали на озеро Чаны, где в это время начался нерест сазана. Рыба теряла всякую осторожность, выходя у края камышей на самую поверхность.

Но однажды они учинили разбой и на родовом озере. Целый день дул пронизывающий северный ветер, гнавший над самой землей лохматые серые тучи, сыпавшие то мелким дождем, то мокрым снегом. Вожак, как всегда, стоял на страже около гнезда. Орлана он увидел совсем рядом, когда тот уже готов был сжаться в комок и броситься на добычу. Вожак взлетел, крича и резко набирая высоту, чтобы оказаться выше орлана. Он проскочил под самым носом хищника, но тот увидел другую добычу. У своего гнезда, нахолившись, дремал Меченый. Вскинув голову, он увидел орлана и тоже взлетел. Розовоклювая гусыня вместо того, чтобы вжаться в гнездо и затаиться под камышами, попыталась взлететь вслед за ним. Очевидно, это произошло от испуга.

Орлан, словно огромная черная тень, упал на нее, разрывая ткань, вонзил острые когти в крыло и спину и тут же нанес ей такой удар клювом по голове, что гусыня потеряла сознание. Накрыв жертву широкими растопыренными крыльями и раскрыв страшный крючковатый клюв, орлан несколько мгновений торжествующе поводил головой, празднуя победу. Потом тяжело поднялся в воздух и понес бездыханную гусыню над самыми камышами.

Едва он опустился на землю, к нему тут же прилетела орлица, и они вместе начали теребить добычу и вырывать из ее тела куски еще теплого мяса. Хромой Лис, прятаясь на краю камышей, высунул голову из укрытия и стал следить за орланами. Он ждал, когда они насытятся и улетят, чтобы докончить их трапезу.

Меченый вернулся к своему гнезду лишь после того, как прошел испуг и унялось сердце. Гусыни не было, вокруг гнезда валялись серые, окровавленные перья. Меченый неподвижно просидел у гнезда до самой темноты, изредка издавая негромкие, печальные крики. Он все еще надеялся, что гусыня услы-



шит и вернется. Когда совсем стемнело, он неуклюже прошел к гнезду и уселся на остывшие яйца. Их было шесть.

К середине ночи ветер сменился на южный, небо прояснилось, открыв яркие звезды и широкую полосу Млечного Пути. Перед самым рассветом казарки снялись с озера, поднялись высоко в небо и клин за клином направились на Север. Утром вдогонку за ними отправились орланы.

Гусыня делала гнездо большим и глубоким, но девять яиц, которые она снесла в этом году, заполнили его до краев. Она часто переворачивала их клювом, и Вожаку иногда казалось, что Гусыня пересчитывает яйца. В начале мая, когда молодой зеленый камыш поднялся над мелководьем, она услышала, как внутри яиц зашевелились птенцы. А через несколько дней первый из них появился на свет. Продолбив изнутри маленькую дырочку, гусенок набрал полные легкие воздуха и на некоторое время затих, собираясь с силами. Затем расширил дырочку, просунул в нее голову, упираясь лапками и шевелясь всем телом, вылез по плечи, и тут верхняя часть яйца раскрошилась и наружи оказалась сразу половина гусенка. Он еще немного полежал, приходя в себя, потом выбрался из яйца и, вытянув шею и растопырив культиapistые крылышки, обессиленно растянулся под крылом у матери.

Он был мокрым и совершенно беспомощным. Гусыня оглядела его, выбросила из гнезда скорлупки и осторожно клювом подгрестила гусенка под себя, чтобы согреть и обсушить. Вскоре, превратившись в пушистый серый комочек, он высунул голову из-под материнского живота. Вожак подошел к гнезду, наклонил голову и долго смотрел на гусенка, словно хотел узнать, на кого похож появившийся на свет малыш.

К концу следующего дня все гусята вылупились из своих яиц. Стояла теплая сухая погода. Солнце заливало светом всю землю. Вокруг озера зеленела трава, камыш рос не по дням, а по часам. Кряковые утки уже плавали со своими выводками и очень гордились этим. Гнездившаяся недалеко лысуха — небольшая кургузая черная водяная курочка с белой нащепкой на лбу — тоже вывела птенцов и ушла вместе с ними к мелководному плесу с прогретой водой. Надо было показывать озеро гусятам.

Вожак негромко позвал их, они, расталкивая друг друга, выскочили из гнезда и, оказавшись на воде, попытались улепетнуть кто куда. Но Вожак строгим голосом приказал им со-

браться вместе и не отходить от родителей. С появлением на воде выводков над озером стали шнырять вороны, а в небе то и дело кружили коршуны. Они охотились за молодым. Стоило на мгновение зазеваться, и гусенок тут же мог распрощаться с жизнью.

Раздвигая камыши, Вожак выплыл на чистую воду и осмотрелся. У дальнего конца озера над мелководьем моталась ворона. Гусям она была не страшна, она охотилась за утятами и птенцами лысухи. Вожак негромко позвал семейство, и гусята, словно пушистые шарики, оказались около него. Удивившись тому, что обрели под собой неведомую опору, они, орудуя лапками, стали разворачиваться направо и налево, двигаться вперед и назад. Плавать было гораздо удобнее, чем ходить около гнезда. Некоторые тут же отправились открывать неведомые для себя дали. Но Вожак призвал их к порядку, и они выстроились за ним, как по линейке. Гусыня замкнула шествие.

Вожак гордился Гусыней и своим потомством. Столько гусят редко кому удается вывести. Он неторопливо поплыл к мелководному заливу, где вода была теплее, и малыши могли без труда добывать корм. Гусятам, как и всем детям, хотелось играть. Они пытались уплыть в сторону, стали гоняться за жучками, отмерявшими тонкими ножками невидимые шаги по воде, иногда хватали вкусную озерную креветку — мормыша — и тут же проглатывали ее. Это была обычная жизнь малышни, но именно в этом возрасте они становились легкой добычей хищников. Гусыня уже заметила появившегося над озером коршуна. Она тут же издала предупреждающий звук, и гусята мгновенно сгрудились около родителей. Надо было приучать их реагировать на опасность. Коршун сделал круг над озером и, поняв, что пожить здесь не удастся, полетел дальше.

И тут Гусыня увидела, как из-за камышей показался Меченый. Он настолько похудел, что уменьшился до размеров казарки, его трудно было узнать. Меченый тоже вел за собой выводок. Потеряв гусыню, он сам сел на гнездо и вывел шестерых малышей. Сейчас они плыли за ним. Увидев сородичей, Меченый издал важно поприветствовал их и сделал по озеру полукруг, чтобы Вожак и Гусыня подивились на его потомство. Вожак тоже выстроил малышей цепочкой и горделиво поплыл с ними от одного берега залива до другого.

Вскоре из камышей показалась еще одна пара с выводком. Это были молодые гуси из стаи, которую привел на озеро Вожак.



Они вывели всего четырех малышей, но тоже были безмерно счастливы. Остальные гуси стаи, оставшиеся без пар, улетели на озеро Чаны и готовились к линьке. Озеро было огромным, простиравшимся от горизонта до горизонта, с многочисленными островами и заросшими непроходимым камышом берегами. В этих камышах можно было укрыться от хищников, когда потеряешь способность летать. У тех же, кто вывел потомство, линька проходила постепенно, в течение всего лета.

Через два дня на озере разыгралась трагедия. В знойном небе появились сразу три коршуна. Озеро в эту минуту наполнило детский сад. Вместе с гусятами по его глади плавали утиные выводки. Их было не меньше двух десятков. В основном кряковые и чирки. Но сегодня к ним присоединились две самочки соксунгов с крошечными, похожими на одуванчики, утятами.

Гуси вовремя заметили опасность. Вожак, вытянув вверх шею, издал предупреждающий звук, и гусята сбились в кучу около него. Гусыня тоже подплыла к ним, готовая встать на защиту. Пара молодых гусей тоже прикрыла свой выводок с обеих сторон. Только Меченому никак не удавалось собрать в кучу потомство. Гусята рассредоточились по заливу и, несмотря на истошные, испуганные крики отца, не торопились собираться под его крыло. И только когда он загоготал во всю мощь, кинулись к нему. Но перед носом одного гусенка почти на самую поверхность выплыло сразу несколько мормышей. Он с жадностью начал хватать их. Коршуну только это и надо было. Он сложил крылья, камнем упал на воду и, вонзив в гусенка острые крючковатые когти, потащил его над водой и камышами на берег. Перепуганные гусята полезли под крыло Меченого. Он и сам испугался не меньше их. И только ответственность за потомство не дала потерять самообладание.

После налета коршуна озеро на какое-то время стало походить на вымершее. Даже тонкие синие стрекозы, постоянно вьющиеся над водой, и те куда-то исчезли. Но вот у самого края камыша показалась лысуха. Некоторое время она сидела на воде, не двигаясь, и походила на болотную кочку. Затем издала жалобный, похожий на всхлип звук и около нее сразу появилось несколько птенцов. Лысуха поплыла вдоль камыша и пушистое потомство, выстроившись в ниточку, последовало за ней.

След за лысухой на озере появилась кряква с выводком.

Она тоже держалась ближе к камышам, чтобы в случае опасности тут же спрятаться в них. За первой кряквой показалась вторая, затем вылезли из укрытий чирки, и вскоре озеро зажило прежней жизнью.

Последними показались гуси. Сначала Вожак с Гусыней, затем молодая пара. Ошеломленный Меченый долго не показывался из камышей. А когда выплыл, тут же направился к Вожаку. Тот недовольно загоготал, но Гусыня ответила ему таким сердитым и длинным выговором, что он замолчал. Меченый с благодарностью посмотрел на нее и с этих пор стал держаться со своим потомством около Вожака. Так было легче защищаться от хищников.

Гусята быстро подрастали, и вскоре на озере им стало не хватать корма. Между тем по его берегам бурно разрослась трава. Она покрыла землю плотным зеленым ковром и на восходе солнца сверкала перламутром от облепившей ее росы. Вожак уже несколько раз поднимался в воздух, облетая озеро и его окрестности. Он знал, что птенцов пора вывести на траву, но на земле их подстерегала еще большая опасность, чем на воде. Здесь не было камышей, в которых можно спрятаться от коршуна, кроме того, на берегу озера жил хромой Лис. В чистом поле Вожак без труда мог отбиться от него. Но Лис караулил выводок на самом краю камышей. Прижавшись к земле, укрытый зеленью Лис пропускал Вожака и нескольких следовавших за ним гусят, затем молниеносно выскакивал из засады, хватал гусенка и тут же скрывался в камышах.

Так неоднократно случалось в прошлые годы. Вожак хорошо помнил это. Поэтому искал широкий, заполненный водой выход из озера на берег. Лис боялся воды, и устроить засаду в подобном месте не мог. Вожак нашел такой выход и на следующий день на рассвете повел по нему выводок. Он шел первым, Гусыня в середине. За ней следовали пять гусят Меченого. Сам Меченый замыкал процессию.

Гусята накинулись на траву и с жадностью начали щипать ее. Вместе с ними кормились и взрослые гуси. При этом один из них постоянно стоял с вытянутой шеей и озирали окрестности.

Первая кормежка прошла без приключений. День гуси провели на озере, к вечеру снова выбрались на берег. Теперь их жизнь пошла по заведенному ритму, на кормежку они ходили в строго определенное время. Несколько раз за эти дни Вожак видел Лиса, бегавшего с опущенной мордой взад-вперед



вдоль камыша. Но приближаться к гусям он боялся. Лис выжидал своего часа. Кружившие в небе коршуны тоже не нападали на молодняк. Видели, как зорко стерегут гуси свое потомство и знали, что они будут защищать его с безрассудной храбростью. Удар гусяного клюва и крыла выдержит далеко не каждый коршун. Беда пришла совсем с другой стороны.

Однажды утром, когда гуси, выйдя на берег, были уже далеко от озера, они увидели вынырнувшую из-за камышей машину. Она неслась на большой скорости, отрезая им путь к воде. У самого выхода из озера машина резко затормозила. Из нее тут же выскочил толстый охотник, за ним еще два мужика, все с мешками в руках. Они начали хватать испуганных гусят и заталкивать их в мешки. Вожак сначала бросился на толстого охотника, но, когда тот чуть не поймал его, притворился подранком и, громко крича, заковылял к камышам. Он подпрыгивал над землей и тут же падал, показывая гусьятам спасительный путь. Те рассыпались по всему берегу, и это спасло жизнь нескольким из них.

Меченый, заготовав, взлетел и начал низко кружить над берегом и камышами, также зовя гусят к озеру. Один из них — тот, что вывелся первым и тоже имел белую отметину за глазом, кинулся на крик отца. Толстый охотник бросился за гусенком, но он увернулся и охотник, проехав на животе по мокрой траве несколько метров, матерно выругался. Вскочил на ноги и, размахивая мешком, кинулся вдогонку. Но гусенок увернулся и на этот раз. Толстяк погнался бы за ним и дальше, но рядом оказался другой гусенок. Он тут же упал на него, схватив за лапы. Пока засовывал добычу в мешок, маленький Меченый скрылся в камышах. До камышей успел добежать и один из его братьев.

У пары молодых гусей, выведших всего четырех птенцов, охотники поймали двух. Но самые большие потери понесли Вожак с Гусыней. Из их выводка охотники отловили сразу четырех гусят. Взрослые гуси, сбившись в стаю, летали над озером, призывая сохранившееся потомство выбираться к воде. Охотники, между тем, громко матерились, считая, что добыча оказалась незаслуженно малой. Лишь толстый охотник не высказывал возмущения.

— Восемь штук для начала не так и плохо, — говорил он. — Поехали на другое озеро, там поймаем еще.

Охотники вытрянули гусят в большую картонную коробку, стоявшую в багажнике машины, и поехали дальше. До вечера

они отловили еще два десятка малышей. Вместе с курами и домашними гусями их оставят жить до осени. С первыми морозами, когда гусята вылиняють и превратятся в красивых серых гусей с розовыми клювами и такими же розовыми лапами, им, как и остальной домашней птице, отрубят головы. Часть из них будет продана на базаре, другую часть съедят сами охотники. Эти гуси никогда не увидят ни Каспия, ни Персидского залива, не ощутят сумасшедшего восторга и беспредельной усталости от безумно долгого и прекрасного перелета на зимовку.

А те, кому удалось спастись, плутая по камышам, изнемогая от усталости и подолгу отдыхая, к вечеру все же выбрались на чистую воду. Правда, одному увидеть ее не удалось. Хитрый Лис, сидевший в засаде, по запаху определил, в какую сторону направились гусята. Низко пригибаясь и прислушиваясь к каждому шороху, он вышел на след одного из них и, когда гусенок был уже почти у самой воды, схватил его.

Разгромленное гнездовье гусей представляло жалкое зрелище. Из восемнадцати гусят на озере осталось только девять. По два сумели сохранить Меченый и молодая пара, пять гусят остались у Вожака с Гусыней.

Два дня Вожак не выводил гусят на траву. На третий он взлетел, едва над горизонтом появилась алая полоска зари, несколько раз облетел озеро, близлежащие поля и березовые колки и, убедившись, что охотников нигде нет, вывел гусят на кормежку.

Между тем, лето перевалило на вторую половину, на полях начал созревать хлеб и гусята из неуклюжих, беспомощных птенцов превратились в молодых гусей. Они часто приподнимались на воде и махали крыльями, пробуя их силу. Потом стали делать перелеты над самой водой. Сначала короткие, всего по несколько метров, затем все длиннее и длиннее и, наконец, вместе с Вожакom поднялись над озером и впервые увидели сверху место, на котором родились.

Широкое и длинное озеро с камышовыми островами и зелеными берегами, тоже заросшими непролазным камышом, показалось им необыкновенно красивым. Но еще больше им понравилось ощущение полета. Они вдруг почувствовали, какие необъятные просторы открылись впереди, сколько полей и озер, о которых даже не подозревали, оказалось рядом. Над некоторыми из них тоже летали и гоготали гуси.

Через несколько дней Вожак впервые повел молодых гусей



на пшеничное поле. Оно было огромным, простиравшимся по обеим сторонам высокой гривы. Гуси сели на гриву, где стебли были короткими и уже пожелтевшими, а, значит, вызревшими. Вожак начал обламывать колосья и целиком проглатывать их. Молодые гуси последовали его примеру. Колосья им понравились. У них был совсем не такой вкус, как у травы. Зоб быстро наполнялся, и вскоре гуси почувствовали, что насытились. Вожак взлетел, подняв за собой стаю, и направился на озеро. Сев на воду, гуси сразу начали пить. Сухие колосья требовали влаги.

Вечером стая снова полетела на пшеничное поле. Когда гуси приблизились к нему, Вожак показал молодым, как надо «ломать крыло» — переворачиваться с боку на бок, выставляя вытянутые крылья перпендикулярно земле. Так можно за несколько секунд без каких-либо физических затрат снизиться на добрую сотню метров. Этот прием важен во время дальнего перелета на зимовку. Он экономит силы при посадке, которых к тому времени уже не остается. Вся стая «сломала крыло» вслед за Вожаком.

Молодые быстро набирали вес и силу. С каждым днем Вожак заставлял их делать все более дальние перелеты. Стая уже не жила на родовом озере. Она возвращалась туда после кормежки только для того, чтобы попить пресной воды. Затем Вожак уводил ее на большое, открытое всем ветрам соленое озеро с голыми берегами. Там гуси отдыхали весь день до вечерней кормежки.

Но вскоре на поле, где кормились гуси, появились комбайны, начавшие валить пшеницу в валки. Вожак тут же нашел другое поле, но и туда пришли комбайны. Тогда Вожак вернулся на место прежней кормежки. Комбайны с поля ушли, но оно стало неузнаваемым. Пшеничные колосья уже не торчали, а были уложены в ровные, бесконечно длинные валки. На таком поле стало легче кормиться. Можно было не только обламывать колоски, но и собирать зерна, рассыпавшиеся между валков.

Между тем дни становились короче, а ночи все длиннее и холоднее. Вожак поднимал стаю, едва начинало светать, и она приходила на поле первой. Но однажды, прилетев на кормежку, Вожак увидел, что на их месте сидит большой табун гусей. Это удивило его, но не испугало. Он решил сесть к чужакам, чтобы познакомиться с ними. Никакой внешней опасности на поле не было, здесь все вот уже много дней оставалось неизменным. И это обмануло его. Вожак уже был над самой зем-

лей, когда увидел, что прямо из валка на него поднимается ствол ружья.

Он резко отвернул в сторону, и дробь просвистела у самого тела, пробив несколько маховых перьев. Снизу раздался грохот выстрелов, и Вожак краем глаза увидел, как сложил крылья Меченый и камнем пошел к земле. Вслед за Меченым на землю свалилась пара молодых. И только тут Вожак разглядел, что на поле сидел не табун гусей, а их силуэты, нарисованные на чем-то плоском. Из окопа, замаскированного под валком, вылез толстый охотник и побежал собирать добычу.

Вожак повел стаю к родовому озеру, но с его берегов тоже неслась ружейная канонада. Она раздавалась со всех сторон, и с высоты невозможно было определить безопасное место, которое еще осталось на земле. Вожак решил, что в этом случае лучше всего отправиться на Чаны. День был тихим и безветренным, а, значит, на озере не было волны.

Стая опустилась на воду в километре от берега. Здесь уже сидели другие гуси, как сбившиеся в табуны, так и одиночки. Гусыня возбужденно заговорила, пытаясь рассказать Вожаку об испуге, который охватил ее, когда раздалась первая выстрелы. За лето она отвыкла от них. На ее гогот сразу же откликнулись три гуся одиночки, сидевшие в сотне метров. Они поднялись в воздух и над самой водой потянули к стае. Когда они сели, Вожак узнал в них своих. Это были те, что остались весной без пары и улетели на Чаны на линьку.

Ближе к вечеру гуси почувствовали нестерпимый голод. Утром покормиться не удалось, и теперь сидеть на озере в ожидании неизвестно чего не было сил. Вожак, погоготав немного, чтобы успокоить стаю, полетел на разведку. Он забрался на большую высоту, стараясь обезопасить себя от выстрелов. Сверху хорошо просматривались поля, на которых лежали неубранные валки, но он обходил их стороной. Теперь он знал, что в них может таиться смерть. Он нашел большое убранное поле, на котором не было ни одной копны соломы. На самой его середине кормились гуси. До него доносился их спокойный разговор. Вожак снизился над полем, пролетел над гусями и, убедившись, что здесь нет опасности, полетел за табуном.

Несколько дней стая кормилась на новом месте. Здесь не было такого обилия еды, как на пшеничных валках, но корма хватало. Пшеничные зерна встречались между стерней, надо было только собирать их. Но и на новом месте однажды их



встретили выстрелы. Охотники сумели и здесь выкопать окопы и так замаскировать их, что птицы не заметили ловушки. Стая снова потеряла трех гусей.

После этого Вожак стал каждый день водить табун на новое поле. Он выбирал то, на котором не было гусей. Оказалось, что на таких полях не было и охотников.

Дни, между тем, становились все короче. С Севера прилетели казарки, но не задержались в здешних местах. Они уходили от надвигающихся холодов. В воздухе все чаще кружились белые пушинки снега, а по утрам на озерах у самого берега возникала корочка льда.

Однажды вечером над озером, где жили гуси, установилась необыкновенная погода. Было так тихо, что даже замолк все время надоедливо шелестевший камыш, а вода, словно замерев, перестала плескаться у берега. Когда землю окутала темнота, на небе выпали удивительно яркие звезды, сквозь которые проступила широкая белесая полоса Млечного Пути. Гуси возбужденно загоготали. Вожак привстал на воде, взмахнул сильными крыльями и легко поднялся в воздух. Вслед за ним поднялась вся стая. Она поднималась все выше и выше и, выстроившись клином, во главе которого встал Вожак, направилась на юг. Сначала на Каспий, а затем на побережье Персидского залива, где ей предстояло провести всю зиму. Внизу осталось родовое озеро вместе со шныряющим вдоль камышей хромоногим Лисом и трудное, беспокойное лето. Перед тем как взлететь, Вожак пересчитал стаю. В ней было одиннадцать гусей. На одного меньше, чем весной, когда они прилетели на гнездовья.

ГОРЬКИЕ ОРЕХИ

В середине ночи Есаулов проснулся от холода. Сел на бревно, около которого лежал на мягких кедровых ветках, протер кулаками глаза, несколько раз отвел и снова свел на груди руки. Его трясло.

Он достал папиросу из смятой пачки, сунул ее мундштуком в рот, прикурил и только после этого осмотрелся. Костер догорал. Из-под темно-багровых углей выбивались маленькие желтоватые огоньки. Ветер чуть слышно шумел, ощупывая невидимыми руками кроны могучих деревьев, но внизу, у земли, его не ощущалось совсем. В высоком черном небе холодными льдинками отсвечивали звезды. И казалось, что желтоватые огоньки потухающего костра — не что иное, как отражение этих звезд.

Есаулов затянулся дымом папиросы и закашлялся. У костра зашевелился Гоша Мастерков. Есаулов знал, что он скоро тоже проснется и встанет. Костер греет только с одного бока, к другому, леденя тело, пробирается колючий холод ночной северной тайги. От него не спрячешься, не укроешься легкой походной курточкой. Согреть другой бок может только товарищ. Но Есаулов закоченел до того, что дальше лежать около Мастеркова уже не было сил. Что поделаешь, если спать можно только одному. В течение ночи они меняются местами несколько раз. А эта ночь у них шестая.

Четыре дня они уже не ели хлеба, питаюсь только обжаренными на костре рябчиками и брусникой. Но от горелого, к тому же не соленого мяса Есаулова тошнило. Он где-то читал, что дикари обмазывают птицу глиной и кладут в костер. Потом глина отстает от тушки вместе с пером. Но глины в тайге не было. Всюду торф или песок. Воду и ту приходилось пить из болот. Она была черной, словно густо заваренный чай, но они к ней привыкли.

Семь дней назад начинающий предприниматель Леша Есаулов вместе с деревенским самоучкой, выдававшим себя за бывалого таежника Гошей Мастерковым, отправились на заготовку кедровых орехов в заповедные места на речку Еланку, где лесники начинали новую рубку. По словам Мастеркова, лесники валили сплошные кедры, и орехов там было видимо-невидимо. За два дня на такой деляне можно было сколотить целое



состояние. И вот теперь оба возвращаются назад, бросив поломанный вездеход посередине дороги. Когда отправлялись в тайгу, взяли с собой булку хлеба да по куску колбасы. Четыре дня назад съели последний хлеб. Сейчас их кормило только ружье, которое Мастерков всегда держал в вездеходе.

Есаулов поднялся и, не глядя на свернувшегося калачиком Мастеркова, пошел к костру. Наломал тоненьких веточек, приготовленных еще с вечера, положил их на угли, нагнулся и раздул маленький огонек. Желтое пламя осветило осунувшееся, заросшее черной щетиной лицо Есаулова. Он протянул руки навстречу огню, зябко потер ладонь о ладонь. Отогрев руки, взял топор и начал рубить дрова. Костер разгорелся, отодвинув темноту ночи на несколько метров от стоянки.

Мастеркову начало припекать бок. Он перевернулся, но вскоре и второму боку стало жарко. Мастерков открыл глаза, несколько мгновений молчаливо разглядывая своего напарника, потом сел.

— Ты зачем распалил такой костер? — недовольно спросил он и поежился.

Есаулов не ответил. Мастерков похлопал себя по карманам, нашел папиросы, достал одну, на четвереньках подполз к костру и прикурил от горящей ветки. Закашлялся до того, что из глаз потекли слезы. Вытер глаза рукавом грязной куртки, отошел и сел на бревно.

— В который уже раз думаю, — произнес он, глядя слезящимися глазами на огонь, — зря мы ушли от вездехода. Там бы на нас, может, кто-нибудь и наткнулся. А здесь кого встретишь?

— Мы же с тобой не собирались блудить, — ответил Есаулов. — Если бы не сбились, уже давно были бы дома.

— Что ты заладил бы да бы, — нервно выпалил Мастерков и Есаулов заметил, что в его глазах мелькнули злые огоньки. — Седьмой день идем и конца не видно. Где река, в какой стороне, можешь ты мне сказать?

Приступы отчаяния и злости сменялись у Мастеркова меланхолией. Он докурил папиросу, бросил ее в костер и, не глядя на Есаулова, негромко произнес:

— Жрать охота. У тебя не появилось такого желания?

— Нет, — сухо отрезал Есаулов.

— А я до смерти хочу. Селедки. Выпил бы стакан водки и съел штуки три подряд. Да еще с картошечкой, от которой пар

идет. А?

— О водке забудь, — сказал Есаулов и отвернулся от Мастеркова.

— Слушай, может, выпьем по кружке? Ну чего ты строишь из себя интеллигента? Я ведь не баба, тоже мне, нашел перед кем строить.

Есаулов подбросил в костер несколько веток и еще более сухо сказал:

— Ну вот что, Гоша, давай спать. Это самое разумное, что можно сейчас сделать. Ложись к бревну, а я к костру. Я еще не сомкнул глаз, хотя уже четыре утра. Ложимся спать, Гоша.

— Я водки хочу, — протянул Мастерков.

— Никакой тебе водки. Ложись и спи.

— Хреновый ты человек, Леха, — сказал Мастерков. — Никогда тебе не выбиться в люди, потому что не понимаешь себе подобных.

— Уж какой есть, — отрезал Есаулов и лег на кедровые ветки, пододвинув ближе к боку рюкзак с водкой.

Мастерков достал новую папиросу, опять прикурил от костра и сел на бревно. Есаулов, обняв рюкзак, лежал рядом с закрытыми глазами. Мастерков с ненавистью посмотрел на здорового, широкоплечего напарника, которому, казалось, и в тайге не было никакого износа, и до того ему стало жалко себя, что на глазах выступили теперь уже настоящие слезы. Будь у него сила, он бы отобрал рюкзак у Есаулова и напился до бесчувствия. «Именно до бесчувствия, — подумал он, — чтобы забыть кошмары возвращения и эти мучительные ночевки у костра». Но в маленьком худеньком теле Мастеркова уже вообще не было никаких сил.

Водку с собой взял Мастерков. Хотел уговорить лесорубов, чтобы навалили за нее побольше кедров. Но, видать, не зря говорят, что бодучей корове Бог рогов не дает.

Когда стало ясно, что у двигателя вездехода сломался колечатый вал и надо почти пятьдесят километров идти назад пешком по тайге, Мастерков решил сказать Есаулову про шесть бутылок водки, которые вез с собой.

— Так вот кто спаивает бригаду! — произнес Есаулов и присвистнул. — За эту водку мастер участка нас с тобой пинками оттуда выгонит. Брось ты ее здесь. Не хватало еще таскаться по тайге с лишним грузом.



— Это водку-то? — удивился Мастерков. — Да ее тут бурндуки вылакают.

Он осторожно надел на плечи рюкзак, подпоясался патронташем, взял в руки ружье и, не оглянувшись на вездеход, пошел назад. Но вскоре стал отставать от Есаулова. На высокой гриве, поросшей густым прямоствольным сосняком, Есаулов дождался Мастеркова. Тот подошел, тяжело дыша и утирая рукавом пот с лица.

— Ну что, устал? — спросил Есаулов и улыбнулся одними глазами. Ему стало жаль напарника, который уже еле передвигал ноги.

Он помог Мастеркову снять рюкзак. Положил его на землю и сел на поваленное дерево выкурить папиросу. Мастерков осторожно присел рядом с ним и тоже закурил. Пока сидели, почувствовали, что потянуло холодом. Ветер был не сильный, но сырой, словно скатившийся с гребней вспененных волн, и пробирал до костей. По небу, едва не цепляясь за верхушки сосен, ползли тяжелые, темные тучи.

— Вечером пойдет снег, — подняв голову, сказал Есаулов. — Надо держаться ближе к ручью, который мы переходили утром. А то как бы не заблудиться.

— Я не заблужусь, — ответил Мастерков, радуясь тому, что удалось сплавить рюкзак, — я тут дорогу знаю.

Снег пошел ночью, когда они сидели у костра и молча курили. Есаулов решил, что после тяжелого дня все же можно немного выпить. Мастерков сразу засуетился, достал пластмассовую кружку и завалывшуюся в кармане грязную луковицу. После ста граммов его развезло, он начал говорить о тайге, об охоте, о том, что опытный человек никогда здесь не пропадет. Тайга и накормит, и обогреет. Есаулов не слушал его. Он нарубил веток кедрового подроста, натаскал их поближе к костру и лег на них спать.

Утром Мастерков заявил, что не сможет идти, пока не опохмелится.

— Никаких похмелок, — отрезал Есаулов. — Нам еще идти Бог знает сколько. Доберемся ли?

Мастерков насупился и ничего не ответил. Лишь несколько раз шмыгнул носом и недовольно сплюнул на землю.

Есаулов закинул на плечо рюкзак с водкой, взял ружье. Свой рюкзак с остатками провизии и топором оставил Мастер-

кову. Тяжелый серый рассвет завис над тайгой, не давая солнцу пробиться к земле. Тучи, обдирая себе подбрюшье, бороздили по низкому небу, цепляясь за верхушки деревьев. Есаулов бросил взгляд на Мастеркова, который все еще сидел на кедровых ветках, переступил с ноги на ногу, и неторопливо направился в глубь тайги. Мастерков с минуту сидел неподвижно, затем вскочил, догнал Есаулова, схватил его за рюкзак.

— Отдай водку, моя! — визгливо закричал он, но Есаулов оторвал его руки от рюкзака и, не оглядываясь, пошел дальше.

Мастерков тяжело задышал, рванулся к Есаулову, пытаясь еще раз схватить его за рюкзак, но, поняв, что напарника ему не одолеть, молча поплелся сзади. Водку Есаулов решил ни за что не отдавать. Он понял, что Мастерков человек слабый, неорганизованный, значит пить ему нельзя. Во всяком случае, пока они в тайге.

К середине дня они обнаружили, что заблудились. Куда бы ни шли, везде островки тайги перемежались с болотами. Выбравшись на высокое место, они переходили через него и снова попадали на болото, по которому брели совсем недавно. Есаулов понял, что они ходят по одному и тому же кругу. Надо было остановиться, собраться с мыслями и, главное, определить, куда идти дальше. Но небо плотным слоем закрыли тучи и узнать где восток, где запад не было никакой возможности. Вскоре пошел снег. А когда он прекратился, сразу подморозило. Вода между кочек покрылась тонкой стеклянной корочкой и теперь, чтобы напиться, приходилось сначала разбивать ее сапогом. Ночевали снова у костра, и это было единственной отрадой за все время мучительных скитаний. Встали рано. Есть не хотелось. Есаулов достал папиросу, отмечая про себя, что в последнее время стал слишком много курить, а это вредно, но все-таки сунул ее в рот. Костер окончательно догорел. Есаулов долго искал глазами уголек, от которого можно было прикурить, а, найдя, раздул его добела и только потом поднес к папиросе.

Мастерков тоже закурил и снова закашлялся до слез.

— Нельзя тебе курить, — сказал Есаулов. — Здоровье у тебя хилое.

— Грудь что-то давит, — тихо ответил Мастерков. — Вдыхаю нормально, а выдохнуть не могу. Словно воздух цепляется там за что-то.



Есаулов недовольно посмотрел на Мастеркова, сгорбившегося, заросшего рыжеватой щетиной, и его обожгла неожиданная мысль. Если Мастерков заболит, его придется тащить на себе. А этого уже не вынести. Надо сейчас же заставить его собраться с силами и шагать дальше. Есаулов поднял голову к небу. Но оно все так же было затянуто плотными серыми тучами, сквозь которые не пробивался ни один луч уже поднявшегося над тайгой солнца. И, словно не предвещая ничего хорошего, недалеко громко и противно прокричала кедровка.

— Ну что, двигаемся? — протянув руку к рюкзаку, спросил Есаулов.

— А ты знаешь, куда идти? — подняв голову, спросил Мастерков.

— Знаю.

— Куда?

— На восток. Там Обь. А на Оби жизнь. Пароходы, лодки, люди. Откуда всходит солнце, туда и пойдём.

Есаулов вдруг почему-то поверил, что теперь знает, где находится восток. Он рывком закинул на плечо ляжку рюкзака, взял ружье и, не оборачиваясь, пошел через бурелом. Мастерков покорно поднялся и поплелся за ним.

Тайга была мрачной. Высокие деревья перемежались с гаями и таким валежником, через который невозможно было пробраться. Поваленные, полусгнившие, облепленные ненасытным мхом стволы сосен и кедров густо поросли брусникой. Ее было столько, что пожелай Есаулов увидеть больше, желание осталось бы невыполненным. Он сорвал полную горсть горько-сладкой, вишневого цвета ягоды, протянул ее Мастеркову:

— Ешь. Одни витамины.

Мастерков не ответил. Угрюмо сопя и не замечая напарника, он перелазил через валежину.

— Ну, как хочешь, — сказал Есаулов и отвернулся.

И тут же услышал стук падающего тела и резкий вскрик. Есаулов нервно оглянулся. Перевалившись через поваленный ствол и уткнувшись головой в землю, рядом с валежиной лежал Мастерков. Лицо его с прилипшими к щеке рыжими сосновыми иголками исказила боль. Сжав побелевшие губы и обхватив ладонями резиновый сапог, он заскулил, пытаясь подняться на одной ноге.

— Что случилось? — испуганно спросил Есаулов.

— Ногу сломал, наверно, — стискивая зубы так, что на скулах выступили желваки, выдавил из себя Мастерков.

Есаулова словно полоснули ножом по сердцу.

— Встать можешь? — Есаулов смотрел на съезжившегося, сразу постаревшего напарника.

Мастерков, закусив губу, поднялся, сделал шаг, пытаясь опереться на левую ногу, и тут же сел. Лицо его побелело и открылось испариной.

— Снимай сапог, — сказал Есаулов и шагнул к нему.

Мастерков попробовал стянуть сапог, но это ему не удалось. Каждое прикосновение к ноге вызывало резкую боль, и он сразу же отдергивал руку.

— Расслабься, — сказал Есаулов. — Будет больно, а ты расслабь ногу, иначе не снимем.

Он взялся правой рукой за каблук сапога, левой за носок и потянул на себя. Мастерков сморщился и застонал.

— Терпи, казак, — изображая на лице наигранный улыбку, сказал Есаулов. — Все твои беды оттого, что носишь импортные сапоги, они мягкие, как тряпочка. Наши, хоть и тяжелее, зато в них нога, как в гипсе. Захочешь подвернуть, не сможешь.

Есаулов специально завел разговор о сапогах, чтобы отвлечь внимание напарника. Мастерков поднял на него глаза, на донышке которых шевелился нескрываемый животный страх.

— Прижми колено к груди и держи его обеими руками, — прикрикнул Есаулов. — Да не скули, мне и без того тошно.

Он потянул за пятку сапога и тот начал сползать с ноги Мастеркова. Потом они осторожно размотали портянку и осмотрели ногу. Она немного припухла во взъеме. Есаулов попробовал ощупать опухоль, но Мастерков испуганно вскрикнул и отдернул ногу.

— Ты ее не сломал, а просто подвернул, — убежденно сказал Есаулов. — Держись, я сейчас дерну. Не поможет, придется тащить тебя на себе.

Есаулов взялся обеими руками за ступню и с силой дернул. Мастерков вскрикнул и побелел еще сильнее. Пот катился по его лицу и он, тяжело дыша и постанывая, утирал его рукавом куртки. Есаулов достал папиросу, сунул ему в рот, поднес зажженную спичку.

— Покури, — сказал он. — Станет легче.

Мастерков лег на брусничник и, затаившись папиросой, уставился в небо. Есаулов только сейчас заметил, какие у него большие, серые глаза. «Почти как у девчонки», — подумал он. Большие и чистые, ясные глаза никак не вязались с осунувшимся, исчерченным глубокими морщинами лицом Мастеркова.

— Послушай, — почувствовав на себе пристальный взгляд и повернувшись к Есаулову, сказал Мастерков. — А боль вроде утихать стала. — И тут же, словно спохватившись, спросил: — А вдруг я не смогу идти? Что тогда?

Есаулов тяжело поднял голову и, помолчав несколько мгновений, произнес:

— Не беспокойся, не брошу. Я такой грех на душу взять не смогу. Потом покоя до смерти не найду, измучаюсь весь. — Он замолчал, пристально посмотрел на Мастеркова и спросил: — А ты бы как поступил?

— И я бы не бросил, — сказал Мастерков и отвел глаза в сторону.

И по тому, как он это сделал, Есаулов понял, что Мастерков не уверен в своих словах. Если ради спасения собственной шкуры пришлось бы пожертвовать товарищем, наверное, пожертвовал бы. Это раньше, когда жили по другим понятиям, товарищ отвечал за товарища. Сейчас никто ни за кого не отвечает. Каждый выкарабкивается, как может. Но Есаулова это не касается. Он живет по старым принципам. И товарища действительно не бросит, чего бы это ни стоило.

Внезапно тучи раздвинулись, открыв солнце. В тайге стало светлее и, как показалось Есаулову, даже теплее. Березы с тихим шелестом роняли последние желтые листья, открывая высокое чистое небо, зато темные кедры стояли молчаливо и торжественно. Есаулов засмотрелся на увешанную тяжелыми сизовато-коричневыми шишками вершину одного из них и подумал: «А ведь орехов набрать можно было и здесь». Только для этого надо было, ломая ноги, ходить от кедра к кедру с тяжелым колотом, сбивать шишки, которые тут же зарываются в зеленый, пружинистый мох, а потом собирать их в мешок и стаскивать в одну большую кучу. На таких заготовках за день умотаешься так, что к вечеру не можешь двинуть ни рукой, ни ногой. У лесников все проще. Те валят все кедры подряд, там только собирай шишки. Лесники это позволяют, когда рубят

сплошной кедрач. Если бы он знал, чем это кончится, разве бы поддался на уговоры?

Ему вспомнилась жена Люба, добрая, доверчивая, всегда теплая и ласковая, и у Есаулова заняло сердце. Сейчас бы лежал рядом с ней под одеялом, она бы положила голову ему на плечо, и он вдыхал аромат ее красивых, с золотистым отливом, волос. От этой картинки Есаулову стало не по себе. И он впервые подумал о том, что не умеем мы ценить своего счастья, не дорожим тем, что дарует нам Бог. У Есаулова вдруг шевельнулось предчувствие, что он уже никогда не увидит Любу. Он тряхнул головой, поднялся и сухо сказал Мастеркову:

— Ты тут оставайся, а я пойду, разведу дорожку. У меня такое ощущение, что где-то рядом должна быть река. Доберемся до нее — останемся живы. — Он задержался на мгновение и добавил: — Рюкзак оставляю тебе. Выпьешь хоть грамм, брошу в тайге. Даю тебе слово.

— Не беспокойся, не выпью, — глядя на приткнувшийся к валежине рюкзак, ответил Мастерков. — Я сам себе могилу рыть не собираюсь.

Он понимал, что теперь полностью зависит от товарища.

Есаулов поднял руку, словно прощаясь, и, не оглядываясь, шагнул в тайгу. Когда Мастерков приподнялся на локте и повернул голову, чтобы проводить его хотя бы взглядом, Есаулов уже скрылся за деревьями.

Вскоре он вышел к болоту и двинулся его краем по косоветру, все время уклоняясь вправо. Один раз остановился, увидев глухарей. Они сидели на кочках, склевывая клюкву. Есаулов пожалел, что ружье осталось у Мастеркова, но все равно замедлил шаг и пошел, прячась за деревьями, чтобы подольше понаблюдать за большими и красивыми птицами. Глухари увидели его и с шумом взлетели.

Вскоре болото сузилось, потом исчезло совсем и Есаулову пришлось подняться на гриву, поросшую высокоствольным кедром. Прошагав еще некоторое время, он увидел речку. Вернее, не саму речку, а блеснувшую за деревьями, словно солнечный зайчик, воду. У Есаулова зашло сердце. Он остановился, взявшись рукой за грудь, несколько раз глубоко вздохнул и со всех ног бросился за солнечным зайчиком.

Быстрая вода, расталкивая берега, торопливо бежала за далекий поворот, оставляя посередине русла песчаные отме-



ли. Есаулов перевел взгляд навстречу течению и вздрогнул. В двухстах метрах от него на глинистом берегу лежала перевернутая вверх дном долбленая лодка. Не останавливаясь, он побежал к ней, едва успевая отводить от лица попадавшие навстречу ветки. Около лодки на сыром берегу виднелись следы резиновых сапог. Люди приехали сюда не позже утра. По всей видимости, они или били шишки, или собирали клюкву на каком-нибудь из болот.

Есаулов опустил на лодку и почувствовал, что совершенно обессилел. Он не верил своему счастью. Лодка была небольшой, но он не сомневался, что люди, приплывшие на ней, заберут с собой Мастеркова, а потом вернутся за ним. В тайге нельзя поступить иначе. Здесь один всегда выручает другого. Он представил Мастеркова, худого, с провалившимися щеками, босого на одну ногу и пожалел, что тот не может сейчас порадоваться вместе с ним близкому концу своих мучений. Теперь надо было лишь подождать хозяев лодки.

Есаулов достал помятую пачку «Беломора», сунул в нее палец, чтобы выудить папиросу, но едва нашарил ее. Папироса была последней. Он вытащил ее, прикурил и без сожаления бросил пустую пачку около лодки. Курево уже не волновало его. День-два без папирос обойтись можно, главное, что теперь он доберется до дома. Душой Есаулов был уже там.

Люба, наверняка, заждалась его. Она уже натаскала воды в баню, потому что знает, каким грязным и измученным вернется из тайги муж. Баню она затопит, едва он покажется на пороге. Но сейчас Есаулову хотелось не только попариться, ему хотелось, чтобы Люба тоже пошла с ним. Жена создавала в бане особую, неповторимую атмосферу. Он любил, нагнав жару, неожиданно шлепнуть ее веником по спине, она взвизгивала, закрывая ладонями красивые, полные груди с торчащими розовыми сосками, он шлепал ее еще раз, теперь уже по поясице, и тогда она начинала смеяться звонким, девчоночьим смехом. И от этого веселого, заразительного и чистого смеха жены у него светлело на душе, и сердце наполнялось особой радостью. Только теперь он понял, что это было счастьем.

Он поднялся с лодки, вскарабкался на берег и, приставив ладони к губам, начал кричать. Если хозяева лодки недалеко, они отзовутся. Есаулов кричал до тех пор, пока не закружилась голова, от голода его слегка поташнивало. Но ему никто не ответил.

Он повернулся к реке, торопливо убегающей за поворот, скользнул взглядом по лодке и вдруг неожиданно для самого себя подумал: а что если столкнуть ее на воду, взять в руки весло и отправиться домой одному? Там и банька, и жена Люба. А в деревне сказать, что поехал за помощью, чтобы вызволить из тайги изнемогшего от увечья Мастеркова. В деревне поверят. Только вот доживет ли Мастерков до его возвращения? Если не доживет, как смотреть после этого в глаза людям? Мастерков хоть и никудашный, а односельчанин. Если он умрет, руки никто не подаст. Есаулов втянул голову в плечи и отвернулся от реки.

Из тайги потянуло холодом, над рекой нависли серые тучи. Вскоре пошел снег. Есаулов продрог настолько, что у него начали стучать зубы. Он натаскал сухих веток и разжег костер, протянув к огню озябшие руки. Согревшись, он начал кричать снова, но ему опять никто не ответил. И тут ему в голову пришла ошеломившая его мысль. Пока он ждет хозяев лодки, Мастерков может замерзнуть. С вывихнутой ногой он не в состоянии натаскать дров для костра. А без огня в такой холод долго не выдержать.

Есаулов проторчал на берегу до тех пор, пока не стемнело. Время от времени он кричал и эхо, отражаясь от реки и натыкаясь на деревья, уносило его голос далеко в тайгу. Но тайга оставалась безмолвной. Хозяева лодки, по всей видимости, были далеко.

Тучи, приподнявшись над верхушками деревьев, куда-то исчезли, открыв бездонное черное небо с переливающимися звездами. Они осветили холодную реку, темные силуэты молчаливых кедров и землю, покрытую тонкой белой пленкой свежесвыпавшего снега. Есаулов понял, что хозяев лодки уже не дождаться. Ночью они вряд ли поплывут по реке. Он взял большой сучок, спустился от костра к лодке и аршинными буквами написал около ее борта на чистом снегу: «Ждите нас!» Воткнув вместо восклицательного знака сучок в землю, он пошел за Мастерковым. Надо было вместе с ним вернуться сюда до рассвета.

Есаулов почти бежал, хотя у него не было уже никаких сил. В голове сидело только одно: застать бы Мастеркова в живых и еще ночью добраться с ним до лодки. Ему казалось, что стоит



остановиться, и он уже не сможет сдвинуться с места. Он не боялся заблудиться, доверяя своему внутреннему компасу, который на этот раз вел его точно к цели. Он боялся только того, что не сможет одолеть обратной дороги. Есаулов не представлял, как будет тащиться с Мастерковым по ночной тайге.

Он прошел гриву, обогнул болото и, ломая кусты, громко крикнул, надеясь услышать ответ Мастеркова. По всем расчетам он был уже совсем рядом. Но вместо ответа из глубины леса грохнул выстрел и Есаулов услышал, как над головой, срезая ветки, просвистела дробь. Он пригнулся и почувствовал за шиворотом куртки осыпавшуюся хвою. Есаулов громко выругался и в это время раздался второй выстрел. Только тут Есаулов понял, что стрелял Мастерков и стрелял не в кого-нибудь, а в него. Мастерков был в каких-то двадцати шагах, и Есаулов огромными прыжками бросился к нему, успев подумать, что тот не сумеет за это время перезарядить ружье. Он ударил его ногой в лицо, Мастерков упал на спину, на мгновение выпустив ружье, и Есаулов успел прижать его коленом к земле.

— Пусти, — закричал Мастерков, упираясь руками в грудь Есаулова, и тот сразу понял, в чем дело.

От Мастеркова исходил тяжелый, тошнотворный запах винного перегара. Он повернул к Есаулову лицо и выплюнул выбитый зуб. Верхняя губа его была рассечена, из нее сочилась кровь. Осоловелые, неподвижные, словно у вареной рыбы, глаза Мастеркова смотрели на Есаулова совершенно бессмысленно. Он не узнавал ударившего и согнувшегося над ним человека. Наконец, трясая головой и выплюнув изо рта кровь, он хрипло произнес:

— Ты пришел? Ты же просил стрелять.

Больше он ничего не мог сказать. Есаулов повесил ружье на дерево и тут его взгляд упал на раскрытый рюкзак, валявшийся около потухшего костра. Мастерков выпил всего бутылку, но отсутствие закуски и физическая слабость сделали его абсолютно невменяемым. Есаулов взял его за грудки, попытался поднять, но, почувствовав, что на это нет сил, опустил Мастеркова на землю и заплакал. Он плакал беззвучно, содрогаясь плечами, слезы катились по его щекам, попадали на усы, на побелевшие, обветренные губы. Он ощущал их соленый привкус, но даже не пытался утереть глаза. Есаулов понял, что этой ночью им ни за что не добраться до реки.

— Ты чего, а? Чего? — пытаюсь поднять непослушно тяжелую голову, спросил вдруг Мастерков.

— Я-то ничего. А вот что ты, пропойца, наделал? — с нескрываемой ненавистью ответил Есаулов.

Мастерков попытался подползти к нему, но уронил на землю голову и затих.

Есаулов стал замерзать. Он посмотрел вокруг и увидел, что недалеко от него из мха торчат голые ребра валежины. Он обломал их и разжег костер. Затем подтащил к костру Мастеркова, устроил его поближе к теплу, подложил под распухшую больную ногу сапог и портянку. Мастерков уже храпел. А Есаулов подумал, что совершил ошибку, возвратившись к нему. Надо было ждать у реки хозяев лодки. И потом уже вместе с ними идти за Мастерковым.

Ночь была тягостной и бесконечно длинной. Поддерживая огонь, Есаулов следил за тем, чтобы Мастерков не обморозил больную ногу. Он то закрывал ее портянкой, то открывал, когда Мастерков начинал стонать и пытался согнуть ногу в колене.

Утром Мастерков протер кулаком красные, воспаленные глаза и, затравленно оглядываясь, осторожно спросил:

— Послушай, я тут ничего не наделал?

— Наделал, — со злостью ответил Есаулов и поднялся от потухающего костра.

— Голова что-то болит, — сказал, сморщившись, Мастерков и покосился на рюкзак.

— Я тебе похмелюсь, — не ответил, а прорычал Есаулов. — Так похмелюсь, что в следующий раз не захочешь.

Мастерков испуганно отпрянул от него, провел рукой по лицу. Потрогал пальцем ставшую толстой и твердой верхнюю губу и с удивлением обнаружил, что у него нет зуба. Он затолкал в образовавшееся отверстие палец и посмотрел на Есаулова круглыми, полными ужаса глазами. Есаулов понял, что он ничего не помнит, и это его развеселило. Но рассказывать о вчерашней стычке не хотелось. К чему обострять отношения, когда и без того настолько тошно, что хуже некуда?

Он взял топор и пошел в молодой березовый подрост. Нашел тоненькую березку с раздвоенной вершиной, срубил, очистил от сучьев, принес ее к костру.

— Примерь-ка костыль, — он сунул в руки Мастеркову березку. — Да не так. Под мышкой упирайся в рогатину.

Мастерков сделал несколько шагов и улыбнулся щербатым ртом:

— С такой ногой я хоть до Одессы.

— Ну, тогда пошли, — сказал Есаулов и закинул за спину рюкзак с водкой. Теперь он ни за что не оставил бы ее Мастеркову.

До болота, где Есаулов видел вчера глухарей, они шли больше трех часов. Часто останавливались отдыхать. С Мастеркова градом лил пот, он тяжело дышал. Глядя на него, осунувшегося до такой степени, что из-под колючей щетины выпирали желтые, просвечивающие сквозь кожу скулы, Есаулов удивлялся, откуда у того еще находились силы двигаться по тайге. Он нагнулся, подобрал с земли большую кедровую шишку с сизоватыми подтеками смолы на кончиках чешуек, вышелушил ее и протянул горсть орехов Мастеркову. Злость прошла, и теперь он не мог без жалости смотреть на своего напарника. Мастерков расщелкнул несколько орешинков, задрал голову к вершине кедра, под которым они стояли, и сказал:

— Знал бы, что так все обернется, наплевал бы на эти орехи. Вся беда из-за денег.

— Беда не из-за денег, — сказал Есаулов, — а из-за того, что их нет. Ну и, конечно, из-за водки. Ради чего ты надрался, можешь мне ответить?

— А чего тут отвечать? — Мастерков опустил голову. — Когда напьешься, все проблемы исчезают сами собой.

— До тех пор, пока не проспишься, — сказал Есаулов.

— До тех пор, пока не проспишься, — повторил Мастерков.

К реке вышли часа в три дня. На том месте, где лежала лодка, еще дымился небольшой костер. Но ни самой лодки, ни людей не было. Есаулов бегом спустился по откосу, задыхаясь, подскочил к костру. Он хотел прочитать оставленную охотникам надпись, но снег, выпавший вечером, растаял, и края выведенных им на песке палкой букв оплыли. Однако надпись «Ждите нас» читалась еще хорошо. И потому, что она была подчеркнута толстой жирной линией, Есаулов понял, что охотники видели ее.

Он поднял голову. Мастерков стоял на краю речного откоса, смотрел на остатки костра и вытирал кулаком мокрые глаза. Он понял, почему они опоздали. Увидев жесткий, почти ненавидящий взгляд Есаулова, Мастерков сказал:

— Мы выберемся отсюда, Леха. Век мне не жить, выберемся.

— Пьянчуга ты, больше никто, — сказал Есаулов, задыхаясь от злости, сорвал с себя рюкзак и зашвырнул его далеко в воду.

Рюкзак сначала поплыл, затем, накренившись, крутанулся несколько раз на течении и ушел под воду. Есаулов ненавидел сейчас Мастеркова до такой степени, что готов был избить его. Но, скользнув взглядом по скрюченной фигуре напарника, его почерневшему лицу, вместо ненависти вдруг ощутил к нему только жалость. Поднимаясь на откос, Есаулов подумал, что охотники могут сюда еще и вернуться.

А Мастерков, не отрываясь, смотрел за поворот. Остывающая к зиме река равнодушно и неторопливо проносила мимо их ног темную таежную воду. И никто не мог угадать, что она скрывала за своими поворотами.

ВЕНЧАНИЕ

В церкви было сумрачно и прохладно. Держа девочку за руку, молодая, элегантная женщина прошла в нее бочком, стараясь не задеть людей, расстилавших на крыльце красную ковровую дорожку, и остановилась, чтобы оглядеться. Огромный зал был почти пуст, лишь у иконы Божией Матери, перед которой слабыми желтыми огоньками мерцали тонкие свечи, стояло несколько человек. Не отпуская руки девочки, она сделала несколько шагов по направлению к иконе. Мужчина, стоявший со свечой в руке позади остальных, обернулся на стук женских каблуков.

Женщина была красивой. На ней было черное, но короткое, открывавшее стройные ноги платье, в которых сюда не ходят постоянные прихожанки. На бледном напряженном лице с тонким, аккуратным очерченным носом выделялись большие темные глаза и чуть припухшие губы. Ее каштановые волосы, покрытые воздушным шарфиком, едва касались плеч. Девочка трех или четырех лет, жавшаяся к ее ноге, была одета в белую кофточку и черный сарафан. На голове девочки красовался широкий белый бант, и она время от времени дотрагивалась до него тонкими пальчиками, словно проверяла, не слетел ли он с ее волос.

Женщина обвела взглядом церковь. Сначала осмотрела цветные витражи в высоких и оттого казавшихся узкими окнах, потом перевела взгляд на огромные иконы на стенах. Они были новыми, их краски еще не успели потемнеть, и выглядели контрастом, по сравнению с тяжелыми, вековыми сводами храма. Зато иконостас сверкал золотом и женщина, повернувшись к нему, перекрестилась.

Ее удивило, что внутри церкви не было ни одного батюшки. Лишь какая-то старушка, шаркая по каменному полу, подошла к подсвечнику и вытащила из него огарки свечей. И так же шаркая, прошла назад через всю церковь к двери, ведущей в каморку. Женщина проводила ее взглядом и снова посмотрела на витражи. Здесь было так просторно, от икон и горящих свечей шло такое умиротворенное спокойствие, что она почувствовала, как это умиротворение передается ей. Она облегченно вздохнула и опустила руку девочки. Еще раз обвела

взглядом церковь и пошла к иконе, где стояли люди. Почти все они были с отрешенными лицами, со взглядами, устремленными куда-то вдаль, вслед за мыслями, которые могли доверить только Богу.

Сухонький старичок с серым, изрезанным глубокими морщинами лицом что-то неслышно шептал, едва шевеля лиловыми губами и, глядя на икону, клал поклоны. Рядом с ним стояли две девушки со свечками в руках. Женщину удивили их напряженные лица. Они смотрели на икону, словно старались перехватить взгляд Божией Матери, сделать так, чтобы она заметила их. Девушки, в отличие от старика, не крестились, и женщине показалось, что они не смогли бы сделать этого, даже если бы захотели. Их руки, державшие свечи, казались окаменевшими от напряжения. «Интересно, о чем они просят Божию Матерь? — подумала женщина. И тут же решила: — Конечно, о том, чтобы уберегла от всех несчастий». Одна из девушек повернулась и женщина, скользнув опытным взглядом по ее фигуре, заметила чуть выпирающий из-под платья живот.

Первая мысль, пришедшая ей в голову, была о ней самой. Она вдруг пожалела о том, что не пришла в церковь раньше, несколько лет назад, еще задолго до того, как сама стала беременной. Но, переведя взгляд на Божию Матерь, на лик ее младенца, ставшего Богом, опустила руку на голову дочери и прижала ее к себе.

В дверях церкви возникло движение. Люди, расстилавшие на крыльце красную дорожку, потянули ее от выхода к алтарю. Женщина, взяв девочку за руку, снова отошла к колонне. Стоя за ней, можно было наблюдать за приготовлениями, никому не мешая.

В открытую дверь с улицы доносился шум двигавшихся непрерывным потоком машин. Пожелтевшие листья тополя едва шевелились от слабого ветерка, но еще крепко держались за ветки. Грязная растрепанная ворона, не обращая внимания на стоявших около крыльца людей, села на ветку прямо над их головами, каркнула так, что ее услышали в церкви. Девочка ткнулась плечом в ногу матери и показала на ворону рукой.

А женщина вдруг вспомнила, как таким же солнечным, но уже немного прохладным осенним днем, она шла по узкой дорожке парка с парнем, который не сводил с нее горящих глаз, когда она поворачивалась к нему лицом. Он вспыхивал, слов-



но распустившийся георгин, и даже переставал дышать чуть приоткрытым ртом. Он был весь в ее власти, словно паж, стоящий у трона красавицы королевы. И она ощущала себя с ним именно королевой. Он с таким счастьем смотрел в ее глаза, так жадно следил за каждым ее жестом, что она знала: от одного движения ее ресниц он был готов умереть или вознестись на небо. Но она не хотела ни того, ни другого.

Он выглядел совсем мальчиком, хотя ему было двадцать два, и он летом защитил университетский диплом. В этом возрасте только начинают познавать счастье. Этот возраст не для смерти, думала тогда она. Но и возносить его на небо она не собиралась. Для этого надо, чтобы при одном взгляде на него у нее тоже вспыхивали глаза, и она переставала дышать. Но они не вспыхивали, и ее дыхание оставалось ровным. Она уже познала счастье и жуткую, непереносимую боль от сознания того, что ничего не можешь сделать, когда в один миг от счастливой жизни остаются только обломки. Упавшему однажды с неба боязно вновь поднимать на него глаза.

И все же ей было приятно от сознания того, что рядом находится человек, готовый ради нее на любой подвиг. Когда он впервые коснулся пальцами ее ладони, она почувствовала, как дрожит от напряжения его рука. Если бы она не отстранилась, а ласково улыгнувшись, посмотрела ему в глаза, он бы стиснул ее в объятьях, впился губами в ее губы, как вливается в край ковша умирающий от жажды человек, осыпал ее жадными поцелуями от макушки до пяток. Она ощущала это внутренним женским чутьем, ей не надо было произносить даже одного слова, чтобы его наполненная радостью душа начала подниматься в небо. Надо было лишь не препятствовать его горячим и торопливым рукам, его взбудораженному телу.

Ей было хорошо с ним. Было радостно видеть его трепетный взгляд, его неотрывное внимание и неловкие движения, когда он пытался сделать услугу. На работе все заметили это. Да и как не заметить, если он не мог скрыть своих чувств, а она не пыталась препятствовать его жестам внимания. Все происходящее казалось ей игрой, которой она не придавала значения.

— Хочешь мороженого? — спросил он однажды, когда они проходили мимо киоска, стоявшего на краю аллеи.

В его фразе был даже не вопрос, а скорее желание угодить ей, сделать приятное. Она посмотрела на него и опустила рес-

ницы. Он кинулся к киоску и тут же вернулся с двумя эскимо. Они прошли немного по аллее и сели на чистенькую голубую скамейку под высоким тополем. Желтый лист, сорвавшийся с высоты, покачиваясь словно лодочка в неподвижном воздухе, опустился ей на колени. Он тут же протянул руку, чтобы взять его. Ей показалось, что он задержит ладонь на ее бедре, но он взял лист кончиками пальцев с такой осторожностью, что даже не прикоснулся к ней. Она увидела, как была напряжена его рука и поняла, что у него нет никакого опыта в обращении с женщинами. Он поднес лист к лицу, вдохнул его грубоватый с легкой горчинкой запах и сказал:

— Положу дома на столе, чтобы он постоянно напоминал о тебе. Этот лист поцеловал твои колени.

Она улыбнулась краешком губ и впервые ласково посмотрела в его глаза. Ей давно никто не целовал колени. Но ей не хотелось счастья, от которого душа, замирая, поднимается на небо, потому что знала: упасть оттуда придется именно ей...

Красная ковровая дорожка была расстелена от дверей до самого алтаря. В церковь потянулись люди. Она же, наоборот, прошла к двери так, чтобы было видно крыльцо и часть улицы. С пожелтевшего тополя у тротуара, совсем как несколько лет назад в парке, покачиваясь, падал первый желтый лист. По улице, обгоняя друг друга, неслись машины. Но вот у самого тротуара завизжали тормоза, и прямо напротив крыльца остановился черный импортный лимузин. За ним, едва не врезавшись в бампер, затормозил длинный трехдверный автомобиль, в которых обычно ездят актеры американских фильмов, и целая кавалькада других машин. Захлопали дверцы. Девочка, стоявшая рядом с матерью, поднялась на носках, пытаясь понять, что происходит.

Из лимузина вышел священник в красивом светлом, расшитом серебром и золотом одеянии, с большим тяжелым крестом на груди, висевшим на золоченой цепочке. Священник был еще не старым, его чистое, гладко выбритое лицо улыбалось и казалось добрым. Он быстрым шагом поднялся по ступенькам и прошел в церковь, не обратив ни на женщину, ни на других никакого внимания. Священник на несколько мгновений отвлек ее от длинного лимузина, и она не видела, как из него вышли новобрачные. Но как только они оказались у ступенек церкви, взгляд женщины сразу устремился на невесту.



Она была в роскошном белоснежном платье и воздушной накидке, укрепленной заколками на высокой прическе. Невеста казалась почти девочкой и даже отсюда, с высокого крыльца церкви, было видно, как она трепетала, совершенно смущенная огромной толпой народа, невесть откуда собравшегося здесь. Жених взял ее за тонкие, дрожащие пальцы и повел к ступенькам сквозь расступающуюся толпу. Он не смотрел ни на невесту, ни на выстроившихся в две шеренги людей. Его взгляд был сосредоточен лишь на ковровой дорожке, по которой он осторожно ступал, боясь споткнуться о ступеньку. Когда молодые приблизились к дверям церкви, женщина, взяв девочку за руку, отступила на шаг за спины встречавших. Но она все же успела рассмотреть лицо невесты.

Священник остановил молодых перед алтарем. Женщина не заметила, как в их руках оказались горящие трепетным пламенем тонкие восковые свечи. Невеста замерла, глядя на священника. Жених переступил с ноги на ногу, отчего маленькое желтое пламя свечи испуганно трепыхнулось, но тут же замерло, вытянув вверх ровный язычок.

— Слава Тебе, Боже наш.., — начал священник, и вся церковь притихла, вслушиваясь в его громкий и чистый голос.

— Царю Небесный, Утешителю, Душе Истины.., — раздались слова молитвы, но женщина воспринимала их подсознанием. Прищуриив глаза, она с ревнивым пристрастием смотрела в лицо невесты, словно пыталась отыскать на нем клеймо бесчестия или, по крайней мере, изъян. Она где-то читала, что по церковным канонам горящую свечу во время венчания может держать в руках только непорочная девушка. Поэтому и совершается этот брак в храме, как перед Богом, а не в каком-то другом месте. И женщина сознавалась себе, что была бы рада, если бы в руках невесты погасла свеча или с головы вдруг слетела воздушная, как цветущая яблоня, накидка и на глазах у охнувшей толпы упала к ногам священника. Но сколько она ни вглядывалась в красивое, бледное от волнения лицо невесты, она не могла найти на нем малейшего изъяна. У девушки были выразительные темные глаза, обрамленные длинными, загнутыми кверху ресницами, тонкий, резной нос и сочные, пухлые губы без каких-либо следов помады. В восемнадцать лет все девушки красивы и без румян.

Она прижала девочку к себе и попыталась продвинуться вперед, поближе к новобрачным, но в это время священник

повел их к самому алтарю, а с клироса, из-под сводов церкви, зазвучали мелодичные голоса хора. Женщина прикрыла глаза и словно вновь услышала дуновение прохладного октябрьского ветра и шорох сухой тополевой листвы, шуршащей под ногами. Она уже не источала горьковатого запаха, а пахла прелью и сырой землей. На скамейках сидеть было холодно, и они бродили по парку между высокими тополями. Их голые ветки, похожие на обнаженные руки, тянулись к светлomu, с размытой синевою небу, но и там, наверху, было холодно. Женщина поежилась в своем тонком, негреющем плаще и, обхватив себя ладонями за плечи, смотрела в глубь парка, где, тонко тенькая, перелетали с дерева на дерево желтобрюхие синицы. Она словно впервые увидела их. Женщина была бледной, осунувшейся и время от времени украдкой проводила кончиком языка по сохнувшим губам.

Они не виделись две недели, половину из которых она пролежала с высокой температурой. За это время не выходила даже за хлебом, продукты ей приносила соседка. А когда поднялась на ноги и вышла на улицу, увидела, что листва уже облетела, последние цветы на клумбах почернели от ночных заморозков, город потускнел и стал серым. И она почувствовала, как душу заполняет тоска.

Он встретил ее около дома, когда она возвращалась из поликлиники. Замешкался на мгновение, потом кинулся к ней, обнял за плечи, притиснул к груди. Все это произошло так быстро, что она не успела осознать случившееся. Подняв глаза, увидела над головой гладковыбритый подбородок, ощутила резкий запах мужского одеколона. Но главное, впервые за последнее время почувствовала крепкую мужскую руку, которая властно и в то же время бережно прижимала ее. От этих объятий у нее нежно толкнулось сердце, разливая по всему телу умиротворяющее тепло.

— Я кое-как нашел твой адрес, — сказал он, задыхаясь от радости. — В конторе его никто не знает, даже у бухгалтера не записан.

В его словах звучал легкий упрек, но ей было приятно слышать его. Потому что в нем скрывалась искренняя забота о ней.

— Ты здесь живешь? — он кивнул на серый кирпичный дом с балконами, огороженными старыми, покрытыми бурой ржавчиной решетками.



— Да, — сказала она, все еще вдыхая идущий от него запах одеколona.

Он посмотрел на дверь подъезда, и она поняла, что он сейчас попросится зайти к ней. В квартире было давно не прибрано, навести порядок у нее пока не хватало сил.

— Не пригласишь на чай? — спросил он, подтверждая догадку и выпуская ее из объятий.

— Давай лучше прогуляемся, — мягко сказала она, подняв на него темные, немного отрешенные глаза. — Я давно не была на воздухе.

Они пошли в парк, где впервые гуляли месяц назад. Он был пуст. Киоски и аттракционы закрыты, на аллеях — только позванивание ветра, да шорох листьев под ногами. И редкое теньканье синиц, перелетающих с дерева на дерево. Создавалось впечатление, будто природа специально оставила их одних.

Он все время бросал взгляды на нее, и в его глазах был такой счастливый восторг, какого она не видела раньше. Да и весь он выглядел сегодня другим. С его лица исчезла юношеская застенчивость, он стал мужчиной. Ей было приятно и удивительно спокойно от его взглядов. Словно исстрадавшаяся за долгие годы душа наконец-то обрела тихую и надежную гавань.

Он взял в руку ее ладонь и потянул к себе. Она повернулась к нему лицом, их взгляды встретились, и она поняла, что он сейчас поцелует ее. Его теплая, мягкая и одновременно властная рука дрожала от напряжения. Она угадала. Он действительно наклонил голову и попытался поцеловать ее в губы, но она отвернулась, и поцелуй пришелся в щеку.

— Не надо, — сказала она, отстраняясь.

Но он нагнулся, неуловимым движением подхватил ее на руки и начал целовать горячими жадными губами в лицо, глаза, лоб. Слабой рукой она попыталась оттолкнуть его, но у нее это не получилось. Наконец, задохнувшись от поцелуев, он поставил ее на ноги, она одернула плащ и, подняв на него сердитые глаза, отступила на шаг.

Ей было приятно ухаживание высокого, красивого, хорошо одетого парня, который, к тому же, на пять лет моложе ее. Но именно эта разница в возрасте останавливала от дальнейшего сближения. Она знала, что женщина стареет раньше. Когда ему стукнет сорок, она будет выглядеть на пятьдесят. Но даже

если удастся сохранить молодость, природу не обманешь. Возраст устанавливает она, как бы мы этому ни противились.

Именно поэтому она сразу решила, что ничего серьезного в их отношениях быть не может, а заводить легкий флирт не хотелось. Он только отнимет время, а его уже и так не хватало, чтобы устроить нормальную семейную жизнь.

— Не делай больше этого, — сказала она, опустив глаза и пошевелив носком туфли оказавшийся под ногами высохший тополевы́й лист.

— Я не могу без тебя, — сказал он, глядя ей в глаза.

Она верила этому. И его взгляд, и голос были настолько искренними, что любое сомнение отлетало само собой. Но ведь дело было вовсе не в его чувствах.

— Чего ты хочешь? — спросила она с обреченной беззащитностью.

— Я хочу, чтобы мы были вместе.

— Сколько времени? — она подняла на него глаза, полные страдания.

— Всю жизнь. — Он шагнул к ней и взял ее под локоть. Его рука снова дрожала.

— Всю жизнь — это долго, — ответила она, не пошевелившись, не пытаясь освободиться от его руки.

— На меньшее я не согласен, — сказал он. — Я максималист. Она поежилась.

— Тебе холодно? — спросил он.

Она кивнула.

— Тогда пойдем. — Он обнял ее за плечо и повернул к выходу из парка.

На углу ее дома они остановились.

— Как долго ты еще будешь болеть? — спросил он, и по тону его голоса она поняла, что он готов заболеть сам, если это избавит ее от хвори.

— Не знаю, — сказала она, пожав плечами, — но меня до сих пор одолевает слабость.

Она закашлялась. Он достал из кармана чистый носовой платок, от которого пахло совсем другим, более мягким одеколоном, и протянул ей. Она с благодарностью посмотрела на него.

— Знаешь, — сказал он, и в его глазах мелькнули загадочные огоньки, — у меня есть хорошая идея. Давай махнем на



пару недель в горы. На берегу Катуня есть приличный отель с хорошей кухней. Тебе надо отдохнуть. В горах ты быстро поправишься.

Она не была в отпуске два года и давно мечтала о поездке в горы. Студенткой каждое лето ездила в Горный Алтай то в туристический поход, то в составе какой-нибудь ботанической или фольклорной экспедиции, которые постоянно организовывали в университете. Теперь на это не было времени. Она любила горы, любила встречать в них рассвет, когда вершины уже освещены солнцем, а в долинах еще лежит влажная мгла и от этого воздух кажется густым и особенно ароматным.

— Сейчас там уже, наверное, снег, — сказала она задумчиво.

— На высокогорье — да, — ответил он, кивнув головой. — А внизу — золотая пора бабьего лета.

— Не знаю, — нерешительно сказала она. — Да и денег надо найти.

— О деньгах не беспокойся, — торопливо произнес он дрогнувшим голосом. — У меня они есть. — Он понял, что она согласилась.

В горы они поехали на микроавтобусе туристической фирмы. Кроме них в нем оказалась еще одна пара — мужчина и женщина, которым было за тридцать. Они расположились на заднем сиденье и почти всю дорогу ехали молча, лишь изредка поглядывая в окно и обмениваясь короткими репликами. В одной из деревень, где автобус сделал остановку, они вышли. А когда вернулись, у женщины в руках был целый пакет подрумяненных пирожков.

— Угощайтесь, — сказала она, протягивая пирожки. — С грибами. Я их очень люблю.

Женщина вдруг разговорилась. Сказала, что ее зовут Зоей, а мужа Виктором. В горы они ездят отдыхать каждый год именно в это время.

— Там сейчас лучше всего, — сказала Зоя. — Туристический сезон закончился. Теперь там собираются только серьезные люди.

Отель оказался очень удобным. Он был срублен из толстого соснового бруса, в нем было тепло и сухо. В коридоре лежала широкая красная ковровая дорожка с толстым ворсом, который глушил шаги. Номера располагались на втором этаже. На

первом был огромный холл с камином и сиротливо стоявшим в углу белым роялем. На стене холла висели медвежья шкура и чучело головы марала с огромными рогами.

Комната, в которой их поселили, показалась ей тесной. В ней не было туалетного столика, зеркало висело на стене, кровати и шифоньер разделял такой узкий проход, что когда она открыла дверки, они его полностью перекрыли. Зато всю наружную стену занимало огромное окно, сквозь которое виднелись высокие прямоствольные сосны. Она подошла к нему. Окно выходило в сторону Катуня, но реки не было видно. Ее скрывали деревья и кусты акации.

— Какая кровать тебе больше нравится? — спросил он.

— Мне все равно, — ответила она, равнодушно скользнув взглядом по кроватям. — Я невероятно устала. Если не возражаешь, я сейчас умоюсь и немного прилягу.

В дверь постучали. В комнату вошла Зоя. Увидев стоящие на полу сумки, спросила, искренне удивившись:

— Вы еще не расположились? А внизу уже накрывают стол, чтобы отпраздновать приезд. Давайте быстрее, нас ведь во всем отеле всего восемь человек.

Несмотря на усталость и изнуряющую слабость, она достала из сумки аккуратное сложенное платье, развернула его и положила на кровать. Это платье, предназначенное для торжеств, она надевала всего два раза. Больше не выпадало подходящего случая. Сейчас такой случай пришел. Затем достала туфли и, повернувшись к нему, смущенно сказала:

— Выйди, я переоденусь.

Когда он вновь вошел в комнату, она увидела, как расширились его глаза и он замер от удивления. В длинном, тонком платье на бретельках, обнажавшем чуть угловатые по-девичьи, но красивые плечи и словно выточенные из белого мрамора руки, она показалась ему божественной феей. Ее лицо было немного бледным и оттого казавшимся строгим, собранные на затылке волосы открывали маленькие уши с розовыми мочками, украшенными похожими на крошечные корзиночки золотыми сережками.

— Что-то не так? — испуганно спросила она, поворачиваясь и оглядывая себя в зеркале.

— Наоборот, — ответил он, не отрывая от нее восторженного взгляда. — Я думаю, ты самая красивая женщина на свете.



Когда они спустились по лестнице в холл, сидевшие за столом мужчины и женщины, как по команде, повернулись к ним и не сводили с нее внимательных взглядов. Женщины придирчиво осматривали и одежду, и тонкие руки, и стройную гибкую фигуру, и даже то, как она ставит на ступеньку ногу в белой туфле. Ей казалось, что на нее навели фотоаппараты с телескопическими объективами. Но ей было приятно это внимание. Оно совсем не походило на то, которое проявляют к одинокой, пусть даже очень красивой женщине. Элегантный молодой человек, державший ее под локоть, придавал ей величие и достоинство.

Две недели, проведенные на берегу Катуня, показались ей сказкой. Они просыпались поздно, неторопливо шли завтракать, потом гуляли по молчаливому лесу, в котором изредка раздавался стук дятла или упавшей с высокой сосны шишки. Затем спустились на берег Катуня, смотрели на стремительно несущуюся зеленоватую воду и ярко-белые, манящие к себе таинственной далью, вершины гор. Они уже давно покрылись снегом и его свежий, озоновый запах проникал по ночам в долину, к самому отелю. Вечером, одевшись потеплее, она любила стоять на берегу, слушать, как поет река и глядеть на бриллиантовый блеск отражающихся на поверхности звезд. Она была бесконечно счастлива. Он так трепетно относился к ней, так нежно целовал ее пальцы, так ласково и осторожно прикасался к телу, что она даже усмехалась, вспоминая свою боязнь быть счастливой.

Это счастье продолжалось и после того, как они вернулись в город. Он так же трепетно относился к ней, покупал дорогие подарки, по выходным они иногда ужинали в хорошем ресторане. Она всегда удивлялась, откуда у него берутся деньги. Но спрашивать об этом считала неудобным. А когда однажды спросила, он, смеясь, ответил:

— Мне досталось хорошее наследство.

Но никакое счастье не бывает вечным. Осенью его неожиданно отправили на долгую стажировку в Германию. Когда она узнала об этом, думала, что сойдет с ума. Но он обнял ее за плечи, поцеловал в голову и сказал:

— Полгода не такой уж большой срок. У нас впереди целая жизнь.

И это «впереди» сразу успокоило ее. Даже тогда, когда поняла, что у нее будет ребенок. Он несколько раз так искренне говорил о желании заиметь ребенка, что она ни минуты не

сомневаясь, решила: буду рожать. Осчастливорю его, когда он вернется. Но он не вернулся. Через полгода она узнала, что он остается в Германии еще на шесть месяцев. Тогда же ей сказали и о наследстве. Никакого наследства у него не было. Был очень богатый отец. Он и определил сына в их фирму, чтобы набрался опыта перед поездкой за границу. Ей было все равно. Она ждала его с крошечной дочкой на руках. Однако, вернувшись из Германии, он не только не зашел к ней, но даже не позвонил. Подруги сказали, что он стал заправлять у отца крупным бизнесом...

В церкви набилось много народа, все стремились протиснуться поближе к священнику и новобрачным и ее вместе с девочкой постоянно пытались оттеснить в глубь зала. Но она стояла крепко, как скала, решив во что бы то ни стало выдержать до конца ритуала. Священник, стоя перед новобрачными, читал молитву, а с клироса все звучали и звучали ангельские голоса церковного хора. Позади новобрачных встали парень и девушка, им подали короны и они подняли их над головами жениха и невесты.

А она вспомнила отель на берегу Катуня и горящие взгляды, направленные на нее, когда она спускалась по лестнице в холл. Ей казалось, что на голове у нее тоже была корона. И даже красная ковровая дорожка, постеленная на лестнице, была точно такой же, как в церкви. Правда, там не было хора. Но зато каждый день устраивались великолепные музыкальные вечера. После ужина Зоя садилась за белый рояль и вдохновенно играла Шопена, Листа, Рахманинова. Как оказалось, она была прекрасной пианисткой. Но теперь все это осталось только в воспоминаниях и ей хотелось лишь одного: увидеть отца, который разлучил их. Она не сомневалась, что это сделал именно он. Деньги тянутся к деньгам, и отец должен был найти своему сыну богатую невесту.

Она стала пристально вглядываться в лица тех, кто стоял в шеренге около жениха, и остановилась взглядом на небольшом сухоньком, начинающем лысеть человеке в золоченых очках, дорогом черном костюме и модном галстуке. Рядом с ним стояла полная женщина, примерно таких же лет, в синем кисейном платье. Они не спускали внимательных взглядов с новобрачных, стараясь не пропустить ни одной детали в обряде венчания.



Священнику подали блюдо с двумя золотыми кольцами.

— Берешь ли ты в мужья раба Божьего.., — произнес священник, протягивая кольцо невесте.

— Да, — тихо и радостно сказала она, взяла кольцо и наде-ла его на палец жениху.

— Берешь ли ты в жены рабу Божью.., — снова произнес священник, подавая жениху второе кольцо.

Тот взял кольцо в руку и вдруг его взгляд упал на девочку, с искренним любопытством смотревшую ему в лицо. Он замер, встретившись с ней глазами, перевел взгляд на мать, и кольцо выпало у него из руки. Стукнувшись о туфлю невесты, оно отскочило в сторону и, подпрыгивая, покатилося по каменному полу церкви. Мужчина в золоченых очках кинулся ловить его. А женщина, взяв девочку за руку, отступила назад и быстрым шагом направилась к выходу. Когда они вышли на улицу, девочка спросила:

— Мама, а почему он на меня так смотрел?

— Кто? — машинально спросила она, торопливо спускаясь по ступенькам к тротуару.

— Тот, который венчался.

— Наверное, ты ему понравилась.

Они пошли по улице, а с тополей, кружась в прозрачном осеннем воздухе, срывались пожелтевшие листья и медленно опускались к их ногам.

ПОВТОРНЫЙ БРАК

Тая была немолодой, но все еще привлекательной женщиной. Бывают такие, которых не трогают ни годы, ни работа. Она не располнела, не дала иссушиться коже, сумела сохранить легкую походку и светлый, открытый взгляд. Первая редкая проседь появилась только сейчас, к сорока пяти годам. Но она не старила, наоборот, облагораживала, придавала серьезность.

Жила Тая одна в небольшом деревянном доме на краю поселка. Овдовела она рано, почти двадцать лет назад. Ее муж Родион, работавший шофером на грузовике, переезжал зимой речку, лед не выдержал груженой машины, и Родион вместе с ней ушел под воду. Достали его только через неделю. Тая все не верила, что муж погиб. А когда увидела мертвого, забилась в такой истерике, что ее не могли остановить ни приехавшая на похороны родня, ни соседи. Пришлось вызывать «скорую помощь». Тае сделали укол, она уснула, а проснувшись, снова начала рвать на себе волосы и одежду.

На похороны Родиона пришел весь поселок. Тая ходила, как полупомешанная, но надо было поднимать оставшегося без отца сына, зарабатывать на жизнь. Когда был жив Родион, она этих забот не знала. Теперь приходилось тянуть двойную лямку. Тая втянулась. Сын вырос, окончил военно-морское училище и уехал служить на Камчатку. Женился, получил квартиру, звал к себе мать. Но она не поехала. Решила, что слишком далеко, да и неуютно там будет. Жить она привыкла в других местах. А, самое главное, не могла оставить могилу Родиона. Без ее заботы она зарастет бурьяном. Ни у него, ни у нее родственников в поселке не осталось. Одна мысль о неухоженной могиле приводила ее в отчаяние. Написала сыну письмо, объяснила все, как умела, и он ее понял. Теперь звал только в гости. Но она и на эту поездку не решилась. Утомительно шибко, да и денег сыновних на дорогу жалко. Своих-то нет, а его разорять на такое путешествие было неудобно.

Мужики поглядывали на Таю кто с завистью, а кто с нескрываемым вожделением. Вроде живет одна, ни с кем шашней не водит, и прихорашиваться ей не перед кем. А ходит такая аккуратенькая, ухоженная, что иной раз облизнуть хочется. Иногда пройдет мимо, словно свежий ветерок прошелестит. Мужики

ки невольно поворачивают головы в ее сторону. Какая-нибудь оказавшаяся рядом баба, глядя на них, досадливо скажет:

— Башки-то поотворачиваете. — Пожмет плечами и добавит: — И чего вы в ней находите?

Тая чувствовала на себе мужские взгляды, но они ее не трогали. Родион так глубоко сидел в сердце, что ни вытолкнуть его оттуда, ни даже пошевелить кому-то было невозможно. Многие предлагали ей руку и сердце, она отказывала всем без сожаления. А уж о том, чтобы провести с кем-то блудную ночь, страшилась даже подумать.

Григорий Шеховцов жил на другом конце поселка. Был он одногодком Родиону и тоже шофером. И работать они начинали вместе, в одном автохозяйстве. В отличие от многих шоферов, Шеховцов если и выпивал, то только по праздникам. А потому имел добротный дом, полный скарба, и машину «Жигули» шестой модели. С женой Полиной он жил душа в душу, вырастили двоих детей — сына и дочь. Но дети женились и разъехались, а Полина умерла два года назад. Шеховцов после ее смерти почернел лицом, но постепенно стал отходить и на годовщину смерти жены не стал даже собирать стол. Позвал лишь соседа, старика Ивана Андреевича, с ним и распилитровку. Посидели часа два, повспоминали Полину, поговорили о прошедшей жизни. Иван Андреевич, посматривая шустрыми глазами то на Григория, то на обстановку в доме, заметил:

— Жениться тебе надо, Григорий. В таком доме жить одному — руки на себя наложить можно.

Григорий обвел взглядом кухню, видневшуюся в дверном проеме комнаты мебельную стенку. Без женской руки здесь все как-то потускнело. При Полине изба блестела, каждая вещь лежала на своем месте. А сейчас кружку и ту иногда найти не может. Вроде ставил туда, где всегда была, а как потребовалась, словно кто-то нарочно спрятал.

— Надо бы жениться, — неопределенно пожал плечами Григорий. — Но после Полины жену найти трудно.

Посидев еще немного и выкурив папиросу, Иван Андреевич ушел. А на следующий день Григорий встретил у магазина Таю. Посмотрел на нее и обомлел. Не виделась столько лет, а она ничуть не изменилась. Такая же стройная и легкая, на лице ни одной морщинки и глаза лучистые, как у девчонки. Поздоровались, поговорили о том о сем. Тая выразила соболезнова-

ние по поводу смерти Полины. Григорий, между тем, как бы мимоходом спросил:

— Ты-то все одна живешь?

— Одна, — кивнула Тая. — Свыклась уже, как будто так и надо.

— А замуж что не выходишь?

— Не тянет что-то, — ответила Тая и засмеялась. И до того этот смех был легким и чистым, что невольно тронул Григория за сердце.

— Может, за меня пойдешь? — спросил Григорий и тоже улыбнулся. И было непонятно — говорит он это всерьез или шутит.

— Теперь уж поздно, — ответила Тая серьезно. — Все женское во мне умерло.

— Ну, не говори, — Григорий опять посмотрел на ее фигуру.

Таю засмущал его взгляд, она отвернулась и торопливо зашагала к себе домой.

— Если что подвезти надо или в доме подремонтировать, зови, я мигом, — сказал Григорий, когда она отошла уже на несколько шагов.

Дома Григорий сел на табуретку, уперся локтем в стол и, подперев кулаком голову, задумался. Лучше Таи новой жены не найти. Женщина она самостоятельная, столько лет прошло после гибели мужа, а никто дурного слова о ней не скажет. Дождавшись воскресенья, Григорий навел стрелки на брюках, надел лучшую рубашку и пошел к Тае. Мог бы поехать и на «Жигулях», но по дороге решил взять бутылку вина. А выпивши, за руль он садиться не мог — выработал в себе за многие годы шоферского труда такую привычку.

Тая была дома, смотрела телевизор. Увидев в руках Григория бутылку, сразу поняла, зачем он пришел, но ничего не сказала. Григорий переступил порог, обвел взглядом ухоженную комнату. И сразу защемило сердце. Только сейчас ощутил себя по-настоящему одиноким. Прав был Иван Андреевич, говоря, что без женской руки и хороший дом на дом не похож. Григорий перевел взгляд на Таю и растерялся. Когда шел к ней, казалось, заготовил самые нужные слова, а теперь они вылетели из головы. Он кашлянул несколько раз в кулак и, протянув бутылку, неуверенно произнес:

— Вот, пришел поговорить.

— Как будто без бутылки и поговорить нельзя.

В глазах Таи мелькнули ироничные искорки, но Григорий этого не заметил.

— Ну, раз пришел в гости, садись за стол, — по-деловому сказала Тая и кивнула на стул. — Не выгонять же.

У Григория неприятно шевельнулось в груди, он сделал неуверенный шаг и сел. Тая быстро собрала закуску, поставила рядом с тарелкой граненый стакан.

— А себе? — удивился Григорий, поняв, что даже пить придется одному. Это уже было совсем нехорошим знаком.

— Ты же пришел поговорить. Так ведь? — спросила Тая.

— Так, — согласился Григорий.

— Вот и говори, а я буду слушать.

Григорий, считавший себя человеком смелым и не терявшийся в трудных ситуациях, смутился еще больше. Тая села к столу, подперла голову ладонью и приготовилась слушать. У Григория пересохло во рту. Он снова кашлянул в кулак, открыл бутылку, налил полный стакан вина, залпом выпил. Посмотрел на тарелку с едой, но закусывать не стал. Тая все так же с любопытством смотрела на него.

— А чего тут говорить? — вытерев ладонью губы, махнул ладонью Григорий. — Свататься я пришел к тебе, Таисья.

Он сделал паузу, ожидая ее реакции. Но Тая молчала. Только отодвинулась от него подальше и положила руки на стол. Григорий расценил это как ее заинтересованность в разговоре и продолжил:

— Женщина ты серьезная. Так ведь и я не какой-нибудь там трепач. У меня и дом, и хозяйство, и машина. — Он несколько раз провел ладонью по краешку стола. — Да сейчас это никому не нужно. Когда человек один, ни к чему душа не лежит. Так что давай объединимся. Вечером хоть поговорить будет с кем. Ты ведь тоже одна кукуешь.

Тая вздохнула, бросила взгляд на руки Григория, которым он никак не мог найти места, но опять ничего не сказала. Он растерянно посмотрел на нее, спросил:

— Чего молчишь?

— Слушаю. Ты же поговорить пришел.

— Я все сказал, — Григорий опустил плечи, ссутулился.

Ему показалось, что речь его была не слишком убедительна. Тая не отвечала, и затягивающаяся пауза становилась не-

удобной. Чтобы заполнить ее, Григорий хотел было снова налить себе вина. Но тут же подумал, что Тая может посчитать его пьющим, тогда уж от разговора не жди добра совсем. Он расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке, которая показалась ему тесной, и посмотрел на Таю, стараясь поймать ее взгляд. Она не опустила глаз.

— Мы бы составили хорошую пару, — сказал Григорий. — Мы ведь не старые еще. Нам еще жить да жить. Ну, скажи хоть что-нибудь.

Тая смотрела на Григория, крепкого, широкоплечего, с широкими грубоватыми ладонями, видела, что говорит он искренне, хотя и смущается ее молчанием. Григорий был таким же одиноким, как и она, а к одиночеству невозможно привыкнуть. Тая это знала лучше многих. Ей стало жаль его. Она подняла на него глаза, полные сочувствия, и сказала:

— Сходиться надо, чтобы чувства какие-то были. Это ведь не корову к быку привести. Мы же совсем чужие, Григорий.

— Родными после свадьбы становятся, — заметил он.

— Старая я уже для невесты, — с грустью сказала Тая. — Отневестилась.

— Да ладно тебе, — Григорий, усмехнувшись, махнул рукой. — Нашла старую.

— Дело не во внешности. Душа окаменела. — Она опустила плечи, положив руки на колени, свесила голову и вдруг стала такой беззащитной, что у Григория от жалости к ней шевельнулось сердце.

— Родиона забыть не можешь? — спросил он.

— Не могу, — сказала Тая, подняв на него глаза, и он увидел в них слезы.

— Нельзя жить только этим. Так ведь черт знает до чего дойти можно.

— Не могу, — снова сказала Тая и отвернулась.

Григорий понял, что продолжать дальше разговор о женьтибе нет никакого смысла. На женщину в таком состоянии никакие доводы не действуют.

— Может тебе по дому что сделать надо? — спросил он, стараясь отвлечь Таю от невеселых мыслей.

— Спасибо, — ответила она. — Все у меня сделано.

Больше говорить было не о чем. Григорий посмотрел на часы, словно торопился куда-то, и поднялся из-за стола.

— Вино-то забери, — сказала Тая, кивнув на недопитую бутылку.

— Пусть останется. Все будет лишний повод зайти.

Тая проводила его до двери, прибрала на столе и впервые за много лет пристально посмотрела на себя в зеркало. Ее не интересовало, насколько красивой она еще выглядит, ей хотелось посмотреть, нет ли в ней чего-либо греховного. Ведь не зря же мужик пришел свататься. Она смотрела в свои глаза и думала, что ничего осуждающего о себе сказать не может. Жизнь честно, как и всякая порядочная женщина, о грехе не мыслит, и упрекнуть ее не в чем.

Рядом с зеркалом стоял диван, над которым висел портрет, где они были сняты вместе с Родионом. Портрет она заказала уже после смерти мужа, его сделали с любительской фотокарточки. Но вышел он хорошим, и Тая, и Родион выглядели на нем молодыми и красивыми. Тая достала из шкафа чистую тряпочку, протерла стекло и рамку портрета и села на диван смотреть телевизор.

Григорий приехал к ней на своих «Жигулях» через два месяца. Стояла душливая июльская жара, и он решил пригласить Таю искупаться на озере. Он увидел ее еще издали, она поливала грядки. Тая была босой, в простенькой юбке и майке, изпод которой выглядывал белый лифчик. От этого домашнего ее вида у Григория снова заныло сердце. До того захотелось притиснуть ее к себе, уткнуться в жаркое тело, что он даже зажмурился и тряхнул головой.

— Здравствуй, Таисья, — выдохнул он, восхищенно оглядывая ее жадным взглядом.

Она растерялась от неожиданно возникшего перед ней Григория, неловко поставила ведро на землю, пролив из него воду.

— Ты чего пришел? — спросила Тая, торопливо натягивая лямку майки на лифчик.

— О тебе все думаю, — ответил Григорий, любуясь ее статью. — Искупаться поехал, думаю, дай заеду. Может, и ты поедешь со мной.

— Не до купанья мне, — сказала Тая, поднимая ведро.

Григорий взялся за дужку, потянул ведро на себя. Тая отпустила ведро. Григорий поднял его, подошел к грядке, плеснул воду в одну лунку, потом в другую. Сходил к железной бочке,

стоявшей на углу дома, полил остальные грядки. Тая стояла на краю тропинки, следила за его движениями. Он поставил пустое ведро у ее ног, сказал:

— Ну что, пошли?

— Не могу я, Григорий, — понуро опустив голову, выдавила из себя Тая. — Не созрела я еще ходить с чужими мужиками.

— Да сколько же тебе зреть-то? — уже сердясь, спросил он. — Двадцать лет живешь одна, и все не созрела.

— Уж такая я есть, наверно. — Она подняла на него глаза, в которых блеснули слезы. — Не сердись на меня.

Она взяла ведро, но, повернувшись к дому, остановилась. Григорий стоял на тропинке, закрывая дорогу. Он не знал, что делать. То ли повернуться и уйти, то ли обнять за плечо и прошептать на ухо слова, которые говорил только жене, еще ухаживая за ней. Он уже протянул было к ней руку, но тут же безвольно опустил ее. Сказал только, усмехнувшись своему неловкому ухажерству:

— Пойдем, провожу тебя до крыльца, если дальше не пускаешь.

Он посторонился, пропустив вперед Тая. У крыльца она повернулась к нему, спросила:

— Может, квасу выпьешь? У меня квас в холодильнике.

Но в нем уже кипела обида. Жениться во время вдовства он мог бы несколько раз, одиноких женщин в поселке много. Но теперь ему нужна была только Тая. А она упрячилась, и он не понимал ее упрямства. Видел, что относится она к нему неплохо, но как только разговор заходит о замужестве, замыкается, становится недоступной.

— Квас я приду пить в следующий раз. С шампанским, — сказал Григорий.

— Ну что ты меня изводишь? — взмолилась Тая. — Думаешь, мне легко? Но не могу я. Душа протестует. Что я с ней сделаю?

Григорий хлопнул дверкой машины и уехал. Тая села на крыльцо, обхватила лицо ладонями и, уставившись в одну точку, просидела так почти до вечера. Она видела, как терзается Григорий, за которого пошла бы любая вдова поселка, видела, какие взгляды бросает он на нее, но не могла представить себя в роли его жены. Особенно мучилась оттого, что ей придется раздеваться перед ним. Он будет стоять рядом и смотреть, как

она стягивает с себя колготки, затем платье, расстегивает лифчик. Остальное и представить не могла. Сердце заходилось от стыда, все тело начинала бить знобякая дрожь, она сжималась и застывала, покрываясь холодным потом. Раздетой ее мог видеть только Родион. Предстать нагой перед кем-то другим она не могла даже в мыслях. Ей казалось, что после этого она замучается совестью, не сможет смотреть в глаза ни одному человеку.

Подошла соседка Тамара, тоже одинокая женщина, села рядом. Тая подняла голову.

— Чего это он к тебе зачастил? — не скрывая ехидной, многозначительной улыбки, спросила Тамара.

— Всего-то два раза приходил, а ты уже знаешь, — удивилась Тая.

— В поселке ничего не скроешь, — сказала Тамара, обхватив колени руками и повернувшись к Тае. — Свататься приходил?

— Свататься, — ответила Тая просто, будто Григорий заходил к ней занять соли или попросить спички.

— Ну и что? — Тамара напряглась, ожидая ответа.

— Отказала, — сказала Тая спокойно.

— Да ты что? — удивилась Тамара. — Бабе одной жить, только маяться. По себе знаю. А тут такой мужик... Ты ведь столько лет одна.

— Свыклась уже, — ответила Тая и повторила то, что уже говорила Григорию: — Видать, все бабье во мне умерло.

— Это ты зря, — сказала Тамара. — Бабье оно бабье и остается. Прикоснись мужская рука, все сразу оживет.

— Может и так, только боюсь я этого, — ответила Тая.

Тамара неодобрительно посмотрела на нее, покачала головой. Тяжело вздохнула и, пожимая плечами, сказала:

— Жить-то нам с тобой сколько осталось? А как болезни одолевать начнут? Воды и то принести некому.

— Живут и одинокие, — заметила Тая. Ее глаза наполнились грустью, она опустила голову.

Тамара ушла. Тая посидела еще немного и тоже зашла в дом, но делать уже ничего не хотелось. Она достала письмо сына, в котором он звал в гости, перечитала его еще раз. Сын писал, что ожидает прибавления семейства. Тая написала, что обязательно приедет повидать внука или внучку, но ответа

пока не получила. Не исключено, что сын ушел в плавание. Они ведь как выйдут в море, домой не возвращаются по нескольку месяцев...

Зимой Тая заболела. Одолел тяжелый грипп, температура за тридцать восемь держалась почти неделю. Она ходила от кровати до кухни, шатаясь, дрожащей рукой черпала воду из бачка, чтобы напиться. Хорошо еще, что вовремя запаслась ей. В эти дни и пришел к ней снова Григорий. Увидев Таю, почернел лицом. Вместо того чтобы пожалеть, сказал сердито:

— До чего же ты себя довела? Вот так, не дай Бог, скопытнешься, до весны никто и не узнает. Хорошо хоть я зашел.

В доме было холодно. Тая поддерживала тепло лишь до такой степени, чтобы не замерзнуть. Топить печь у нее не было сил. Григорий жарко натопил избу, съездил за врачом, купил лекарства. Сварил наваристых щей, и она впервые за несколько дней похлебала горячего. Она была благодарна ему, но ей было неудобно за свою немощь, за то, что в комнате не прибрано и сама она предстает перед чужим мужчиной растрепанная, как росомеха. Григорий шестым чувством понимал это, поэтому сказал, чтобы смягчить ситуацию:

— Ты меня не стесняйся. Поправишься, все приведешь в порядок. Я ведь сам таким бываю, когда болею.

Тая поправилась только через две недели, и все это время он приходил к ней. Ей была приятна его забота, но она знала, что рано или поздно он заведет старый разговор, и мучилась оттого, что ей снова придется обидеть его. Тая видела, что Григорий искренне привязался к ней, и наносить ему еще одну рану было неудобно. Но видно женское и впрямь умерло в ней, потому что замужество казалось непосильным. Она ждала разговора и боялась его.

Но когда Григорий заговорил, все вышло как-то само собой и по-будничному просто. Они сидели за столом, пили чай с медом, и Григорий сказал, неторопливо отхлебывая из стакана:

— На следующей неделе я заберу тебя отсюда. Хватит жить одной, и мне без тебя уже немогуту.

Она почувствовала, как горячая кровь ударила в голову, обвела глазами комнату и беспомощно произнесла:

— А на кого же я все это оставляю? Ведь я с этим всю жизнь прожила. Приросла ко всему. И к печке, и к стенам.

— А что им сделается, стенам-то? — спросил Григорий. —



Продашь дом, деньги положишь на свою книжку или сыну отправишь. Мне они не нужны, у меня своих хватает.

Тая уже хотела было согласно кивнуть, но уткнулась глазами в портрет, на котором была рядом с Родионом, и сказала, словно преодолела нестерпимую муку:

— Подожди до весны. Тогда и убраться легче, и дом скорее возьмут.

Григорий проследил за ее взглядом, посмотрел на портрет и настаивать на своем не стал. Понимал, что так, по всей видимости, будет лучше.

Весна в этот год пришла шалая, тепло нахлынуло неожиданно, сугробы посерели и осели всего за несколько дней, и на улицы говорливыми ручьями хлынула вода. Старики говорили, что так бывает всегда на раннюю Пасху. Тая, как могла, откладывала переезд к Григорию. Когда он приезжал, она, делая скорбное лицо, говорила:

— Какая тебе женитьба в Великий пост. Вот наступит Пасха, тогда и сойдемся.

Сама Тая никогда не постилась и в церкви за всю жизнь была только дважды. Однажды, когда еще маленькой девчонкой ездила в гости к бабушке, а второй раз уже девушкой зашла в церковь из любопытства. Особо верующей она себя не считала, хотя в трудную минуту не раз обращалась к Богу за помощью. За Великий пост она ухватилась, как за спасительную соломинку. Тая до сих пор не могла представить себя чьей-то женой, кроме Родиона.

Снег сошел, она привела в порядок палисадник, выскребла граблями полянку перед домом, дочиста вымела двор. Григорий приехал за ней на Пасху перед самым обедом. У нее на столе стояла полная тарелка крашенных яиц и красивый кулич с блестящей сахарной корочкой. Услышав скрип тормозов автомобиля, Тая кинулась к окну, увидела Григория и в бессилии опустилась на диван. Сердце набрало такие обороты, что у нее затряслись руки, и затуманилось сознание. Вроде готовилась к этой минуте, набиралась мужества, а теперь и мужество и готовность улетучились вмиг.

Григорий зашел в дом без стука, долго вытирал ноги о половичок у порога, потом появился в дверях комнаты. Увидев сидящую на диване растерянную Тая, удивленно развел руки и сказал:

— Так ты что, и собираться не начала?

— А чего собираться? — ответила она, не делая попытки подняться. — Не за тридцать земель уезжаю.

— Яйца и кулич с собой тоже заберешь? — Григорий кивнул в сторону стола.

— Пасха ведь, как без этого? — Тая почувствовала, что ее начинает бить озноб. — Ты посиди в машине. Я переоденусь и выйду.

Она уже давно продумала, в чем пойдет к нему. Достала из шифоньера черное платье с белой полосой наискось от плеча до пояса и тонким белым шарфом, завязывающимся на груди. Ей не хотелось надевать ничего светлого и торжественного потому, что радости от нового замужества она не ощущала. Надев платье, Тая достала черные туфли и посмотрелась в зеркало. Одежда придавала строгость, но именно так и хотелось выглядеть ей. Губы красить она не стала. От этого ее отучил еще Родион. Осмотревшись, она положила в один пакет тонкую ночную рубашку, в другой — пасхальные яйца и кулич и, постояв несколько мгновений, словно пытаясь набраться решимости, направилась к Григорию. Никаких других вещей с собой брать не стала, посчитав, что за ними можно приехать в любой момент. Поселок небольшой, много времени на это не потребуется.

Григорий ждал ее у машины. Увидев Тая, распахнул переднюю дверку и усадил ее рядом с собой. Пока ехал домой, все время поглядывал на свою новую жену, казавшуюся ему в строгом платье еще более очаровательной. Никакой шумной свадьбы Григорий делать не собирался, гостей и родственников не звал, пригласил лишь соседа Ивана Андреевича с женой Феклой Ивановной. Старики были для него ближе родственников. Когда сказал об этом Тае, она с облегчением заметила:

— Вот и хорошо. А я так боялась, что соберешь шумную компанию. Не хватало еще целоваться под крики «горько».

Тая уже смирилась со своей участью. Страх отступил, и ей даже было приятно ехать рядом со статным мужчиной, относящимся к ней с нескрываемой симпатией. И чем ближе подъезжала Тая к дому Григория, тем дальше в прошлое отходили годы одиночества. Когда машина остановилась у ворот, Тая с интересом посмотрела на дом. Он был добротным, срубленным из отборной сосны, крытый оцинкованным железом. И во



дворе было чисто и аккуратно. От калитки к крыльцу вел деревянный тротуар, гулко отражавший стук каблуков. Григорий провел ее по нему, взял под локоть, поднимаясь на крыльцо. Они прошли через просторные сени, миновали кухню и остановились в горнице. Григорий обвел горницу рукой и сказал:

— Располагайся. Ты теперь здесь хозяйка.

Тая осмотрелась. Горница была просторной, со столом посередине и диваном у стены, над которым висел большой красивый ковер. В углу на тумбочке стоял японский телевизор. Из горницы был вход в спальню — в открытую наполовину дверь Тая увидела угол кровати. Она не стала заглядывать туда, достала из пакета кулич и тарелку с пасхальными яйцами, поставила их на стол. Еще раз обвела глазами комнату, пытаясь найти место, куда можно было положить другой пакет. Но тут вспомнила, что видела на кухне вешалку. Она вернулась туда и повесила пакет.

Григорий, между тем, выставлял на стол еду из холодильника. Чего у него только не было: и хорошая рыба, и дорогие колбасы, и мясо, и несколько видов домашних солений. Вскоре в дом пришли соседи. Иван Андреевич поздоровался с Тайей за руку, его жена по-старинному низко поклонилась, но от Таи не ускользнуло, что она рассмотрела ее с ног до головы.

— За что сначала выпьем? — спросил Григорий, когда все уселись за стол. На его лице играла счастливая улыбка. — За нас с Тайей или за Пасху?

Про Пасху он сказал просто так. Выпить ему хотелось только за Таю.

— За вас, — поддержал его Иван Андреевич.

— За вас, за вас, — поддакнула Фекла Ивановна.

Григорий налил в рюмки водку, чокнулся с Тайей, ласково посмотрев ей в глаза и улыбаясь краешком губ. Гости тоже чокнулись и тут же выпили. Тая в нерешительности задержала рюмку в руке. Григорий подбодрил ее:

— Ну, ты что? — и кивнул головой, призывая последовать примеру стариков.

Тая опрокинула водку в рот и, закрыв губы ладонью, закашлялась. Она не помнила, когда пила последний раз и водка показалась ей горькой и обжигающей. Григорий тут же налил снова, поднял рюмку и сказал:

— А теперь за мою жену.

Все снова выпили. Тая поднесла рюмку к губам и поставила ее на стол. Хмель и так ударил ей в голову, и она боялась показаться пьяной. Григорий заметил это, пододвинул к ней ее рюмку и сказал:

— Извини, Тая, но так нельзя. Надо и за нас выпить, и за Пасху еще. Иначе жизнь не будет счастливой.

— Разве в этом счастье? — ответила Тая и еще дальше отодвинула рюмку.

Фекла Ивановна переглянулась с мужем и, наклонившись над тарелкой, начала закусывать. Тая положила себе кусочек красной рыбы, очистила пасхальное яйцо. Остальные тоже потянулись за яйцами. Пауза затянулась настолько, что стало неудобным нарушать молчание. Первой на это решилась Фекла Ивановна. Положив вилку на стол, она сказала:

— Ну вот, Григорий, будет теперь у тебя кому следить за домом. Дом-то большой, его без женской руки не обходишь.

Таю резанули эти слова. Она шла сюда не затем, чтобы обихаживать дом. Ей важно было найти родственную душу, которая бы понимала ее с полуслова и с которой можно было бы делить горе и радость. Неловкость ситуации понял и Григорий. Чтобы замаять ее, он снова налил всем водки.

Через некоторое время разговор наладился. И хотя все изрядно захмелели, а Тая ко второй рюмке так и не притронулась, она не чувствовала себя здесь совсем чужой. Григорий постоянно посматривал не нее, ободряя то взглядом, то улыбкой. Иван Андреевич говорил о хозяйственных делах, о том, что скоро надо будет садить огород, за посадкой начнется полив, а у него до сих пор не отремонтирован насос.

— Да и баню надо подправить, весь пол давно сгнил, а лаг нету, — сказал Иван Андреевич. — Можно бы вместо них положить бревна, но не на чем привезти. — Он вопросительно посмотрел на Григория.

— Подброшу я тебе бревна, ты только напхни, — произнес Григорий и опять встретился глазами с Таяй.

У нее баня тоже была старенькая. Доски под ногами скрипели и прогибались, из-под них поднимался холод, особенно чувствительный зимой. Но не это вспомнила Тая, а то, как они парились с Родионом. Он нагонял такой жар, что сидеть с ним на полке не было сил. Она спускалась на нижнюю ступеньку, а Родион готовился париться. Поддавал ковшиком воду на ка-



менку, ждал, когда тугая волна обжигающего сухого пара, слепо натываясь на стены, возвратится назад, и начинал хлестать себя веником. Упругое, сильное тело Родиона краснело, к спине и бедрам прилипали мокрые березовые листья, он кричал, придыхая при каждом ударе. Тая смотрела на него и думала, что ей такого истязания не вынести. А Родион как бы невзначай шлепал ее горячим веником по плечам, она взвизгивала, пытаясь увернуться, но он вытягивал руку и осторожно шлепал еще и по спине. Потом говорил:

— Ложись, я тебя попарю.

Она, закрывая ладонями груди, ложилась на живот, а он не сильно, но с отяжкой шлепал ее по плечам, ягодицам, ногам.

Все это всплыло так зримо, что Тая закрыла глаза, чтобы никто не мог подсмотреть ее видение, а когда открыла, увидела вокруг себя чужих людей. Несколько мгновений не могла понять, как она оказалась здесь, но, подняв глаза на Григория, сразу осознала все, и сжалась, словно пыталась спрятаться от тех, кто сидел за столом. Григорий курил папиросу, пуская на нее синий, противный дым. Иван Андреевич чиркал зажигалкой, пытаясь вызвать из нее огонь. А Фекла Ивановна говорила, обращаясь к Григорию:

— Через воскресенье на вторник родительский день будет. Вот и сходите вместе на кладбище. Ты поклонись Полине, а она своему первому мужу.

У Таи все перевернулось внутри. «Второго-то у меня еще не стало», — подумала она, и ей захотелось выскользнуть из этого дома так, чтобы никто не заметил. Тая попыталась убрать руку со стола, но Григорий положил свою широкую, тяжелую ладонь на ее пальцы, пригвоздив их к столешнице. Тая растерялась, не зная, что делать. Остаться в этом доме она уже не могла.

Гости сидели долго, но Тая уже не слушала ни их, ни того, о чем с ними говорил Григорий. Они ушли домой, когда за окнами сгустились сумерки, и Григорий включил в комнате свет. Он проводил их до крыльца и быстро вернулся.

— Посуду надо бы прибрать, — сказал Григорий, кивнув на стол.

Он налил в кастрюлю чистой воды, поставил ее на газовую плиту. Тая составила недоеденные блюда в холодильник, сложила грязные тарелки и вилки в эмалированный таз, налила в него теплой воды. Вымыла посуду, сложила ее на чистое поло-

тенце на кухонном столе, чтобы высохла. Когда вытирала руки, Григорий подошел к ней сзади, обнял за плечи, попытался поцеловать в голову. Она передернулась, выворачиваясь из его объятий, и тихо сказала:

— Давай сегодня без этого.

Но Тая понимала, что самое главное ждет ее впереди. Она видела, что Григорий уже горит нетерпением. Походив взад-вперед по кухне, он сказал, не глядя на нее:

— Спать уже пора. Пойдем?

Она чувствовала, что от этого ей никуда не деться. Забрать пакет с ночной рубашкой и отправиться домой, означало опозорить мужика на весь поселок. Если бы она не пришла к нему, не просидела весь день за столом на правах его новой жены — другое дело. А то ведь сама согласилась, сама села в его машину. Теперь винить можно только себя. Григорий тут ни при чем, он вел себя и совестливо, и по-мужски достойно. На эту его совестливость, на долгое ожидание согласия она и поддавалась. И Тая подумала, что его совестливость может спасти ее и сегодня. Больше надеяться было не на что.

— Иди, ложись. Я сейчас приду, — сказала Тая.

Григорий прошел в спальню, зажег свет, разделся и лег. Она услышала, как заскрипела под ним кровать.

Тая достала из пакета ночную рубашку, переоделась в горнице, положив на диван платье и колготки, и, пересиливая себя, направилась в спальню. Она понимала, что Григорий специально оставил свет не выключенным, и намеревалась тут же погасить его. Тае казалось, что выключатель должен находиться сразу за дверным косяком. Но он был дальше, и ей пришлось пройти по спальне несколько шагов, прежде чем она добралась до него. И все это время Григорий разглядывал ее с нескрываемым любопытством. У нее было такое чувство, что она идет сквозь строй солдат с шомполами в руках, и каждый норовит огреть ее как можно сильнее.

Выключив свет, она сделала два шага по направлению к кровати и уперлась в нее коленом. Григорий лежал с краю, ей не хотелось перелазить через него и оказаться зажатой между ним и стеной, и она сказала:

— Подвинься.

Григорий послушно подвинулся. Тая приподняла одеяло, подлезла под него и, вытянув ноги, примостилась на самом

краешке кровати. Одна ее нога тут же свалилась вниз и коснулась пяткой пола. Тая подобрала ее и притаилась, боясь пошевелиться. Но Григорий тут же обнял ее за талию и прижал к себе. Тая неуверенно попыталась высвободиться. Григорий подвинул ее к себе и сказал:

— Полина со мной так спать не ложилась.

— Я тебе не Полина, — сказала Тая и попыталась встать.

Но Григорий стиснул ее, повернул на спину и она почувствовала на лице его горячее дыхание.

— Не надо, Гриша, — произнесла Тая, пытаясь оторвать от себя его тяжелую руку.

Только сейчас она поняла, какие разные они с ним люди. Родион всегда делал это с лаской, неторопливо и нежно, она не помнила, чтобы у нее хоть раз возникло желание противиться ему в чем-то. В его объятиях, в его поцелуях она забывала себя. А Григорий добивался всего силой.

Не сумев оторвать его руку, Тая заплакала. Григорий отвалился на бок, с удивлением спросил:

— Что с тобой? Ты чего разревелась?

— Зря мы затеяли это, — сказала Тая, садясь на постели. Григорий увидел в темноте ее белые ноги.

— Ты что, хотела с мужиком невинной прожить? — спросил Григорий, снова хватая ее рукой за живот. — Так ведь не бывает. — Он свалил ее на подушку, пытаясь подгрести под себя.

— Опоганишь ты меня, — захлебываясь слезами, сказала Тая. — Как же я такой в родительский день на кладбище пойду.

При слове кладбище Григорий замер. Тая выскользнула из-под него, кинулась в горницу и торопливо стала натягивать на себя колготки. Ей казалось, что только они и могут сейчас спасти. Сдернула с себя ночнушку, бросила ее на пол и одним движением надела платье. Тут же попыталась поймать пальцами ушко замка, чтобы застегнуть его на спине, но замок как на зло заело. Тая опустила руку, в два прыжка оказалась на кухне, схватила туфли и босиком выскочила на улицу. Обулась она только на дороге.

Когда Григорий с женской ночной рубашкой в руке вышел на крыльцо, Тая была уже далеко. Он постоял несколько минут, глядя в молчаливую темноту, и уже собрался уходить домой, но вдруг заметил огонек на крыльце соседа. Иван Андреевич сидел на скамейке и курил. Григорий направился к нему.

— Ушла? — спросил Иван Андреевич, подождав пока Григорий подойдет к самому крыльцу.

— Ушла, — мотнув тяжелой головой ответил Григорий.

— Я так и думал. — Иван Андреевич затаился, отчего кончик папиросы вспыхнул ярким светом.

— С чего ты взял, что она должна была уйти? — Григорий пытался разглядеть глаза соседа, но их не было видно в темноте.

— Верная она.

— Ну и пусть верная. Завтра все равно поеду к ней. — Григорий повернулся и пошел к своей калитке. Но вдруг остановился и добавил: — Баба и должна быть верная. Какой же ей еще быть?

Иван Андреевич не ответил. Он курил и смотрел на черное небо, которое изредка прочеркивали ровные светящиеся линии падающих звезд.

Я ВАС ЛЮБЛЮ

Наташа сидела в теплом уютном купе и смотрела в окно, за которым бежало заснеженное пространство с березовыми лесами и редкими небольшими станциями, мелькающими, как картинки в калейдоскопе. Проезжая мимо них, колеса поезда стучали особенно часто, и ей казалось, что из одной изломанной жизни она уезжает в другую, такую же беспросветную. На душе было пусто и угнетающе тяжело.

Вчера весь вечер в дверь квартиры ломился пьяный Виктор. Она сидела на диване в темной комнате, зажав пальцами уши. Не хотелось слышать его голос, тем более видеть обрюзгшую физиономию с белым засохшим налетом в уголках тонких губ. Виктор совсем опустился. Еще два года назад она верила, что все можно исправить. Он найдет другую работу, сменит образ жизни и снова станет тем Виктором, которого она любила когда-то.

А ведь все начиналось — лучше не надо. Сразу после института он устроился в фирму, занимавшуюся продажей и сервисным обслуживанием компьютерной техники. Дела шли неплохо, он прилично зарабатывал.

Наташа познакомилась с ним в ресторане, куда вместе со студентами-выпускниками зашла отметить защиту диплома. В ресторане все было дорого. Но поскольку диплом университета защищают один раз в жизни, взяли вина и закуску, что подешевле. За соседним столиком сидела компания парней. Наташа сразу обратила внимание на одного из них в сером твидовом пиджаке, безукоризненной рубашке и дорогом галстуке. Ей всегда нравились изящно одетые мужчины. Парень повернулся, и они посмотрели друг на друга. Он с таким откровением рассматривал ее, что Наташе стало неудобно. Она опустила глаза и занялась едой. У нее не было никакого желания заводить знакомство.

В свободном углу ресторана на небольшом подиуме заиграл квартет музыкантов. Кое-кто из посетителей пошел танцевать. Наташа краем глаза увидела, что парень поднялся и направляется к ней. Она схватила за руку сокурсника Веню и торопливо сказала:

— Пойдем, потанцуем.

Веня только что налил в фужер вина и собирался выпить, но нехотя встал и пошел с Наташей. Она видела, что парень в сером твидовом пиджаке сел на место, но не сводит с нее глаз. Танец закончился. Веня повел ее к столу. Когда она уже собиралась сесть, музыка заиграла снова. И тут же Наташа ощутила чье-то прикосновение к локтю и услышала у самого уха:

— Разрешите?

Она обернулась. За спиной стоял парень из-за соседнего столика. Чуть наклонив голову, он смотрел на нее такими просящими глазами, что она не смогла отказать ему в танце. Это был Виктор.

Через два месяца они поженились, вскоре купили двухкомнатную квартиру, и Наташа была абсолютно счастлива. Иногда ей казалось, что ее жизнь можно назвать райской. Она не могла дождаться конца рабочего дня, бежала домой, доставала из холодильника продукты и на скорую руку готовила ужин. Муж не был требователен к еде. Услышав звонок, летела к двери. Виктор подхватывал ее на руки, целовал и нес в комнату. Опускался на диван, усаживал Наташу на колени и снова начинал целовать. Она задыхалась от его объятий.

Они ужинали, без умолку говорили о чем-то, больше всего о пустяках, и даже когда ложились спать, тоже говорили. Если бы сейчас ее спросили — о чем, она бы не вспомнила. Главным была не тема разговора, а звук голоса. Когда, положив голову на плечо мужа, Наташа слушала его мягкий, завораживающий баритон, у нее замирала душа. Виктор перебирал пальцами ее рассыпавшиеся волосы, иногда подносил прядь к лицу, глубоко втягивал носом ее аромат и целовал. Наташа знала, что он сделает именно так, и ждала этого мгновения. Она специально подобрала шампунь, от которого волосы текли в ладони, словно шелк, и издавали тонкий, еле уловимый аромат.

Через год после женитьбы Виктор заикнулся о ребенке, но Наташа как раз должна была получить новую должность в химической лаборатории, и они отложили этот вопрос на год. За это время фирма, в которой работал Виктор, разорилась. Он долго искал работу, пытался устроиться к бывшим конкурентам, но везде получал отказ. Наташа видела, что с каждым днем он становится нервнее. Он уже не носил ее на руках, их разговоры стали сухими и касались только конкретных домашних дел. Наташа переживала вместе с ним, но не из-за рабо-

ты, она верила, что он ее найдет. Ей было больно смотреть на страдания мужа. Он стеснялся ходить в магазин за продуктами на ее деньги. И хотя они лежали на виду, на верхней полке шифоньера, Виктор не брал из них даже на сигареты. На курево и самые мелкие карманные расходы ему давал отец.

Вскоре отец умер, и мать отдала Виктору его машину, довольно новые «Жигули» девятой модели. Виктор решил зарабатывать на ней, занимаясь частным извозом. Месяца полтора дела шли более или менее нормально, он даже приносил домой кое-какие деньги. Но однажды появился под утро избитый, с огромными синяками под глазами и красным, распухшим до неправдоподобия носом. Наташа не узнала его. Он стоял, навалившись на дверной косяк, и держался рукой за бок.

— Что с тобой? — в испуге воскликнула она, хватая Виктора за руку.

Он не ответил. Молча прошел в квартиру, разделся и направился в ванную.

Оказалось, его ограбили три кавказца. Попросили отвезти в район городских новостроек и по дороге набросились на него. Те, что сидели сзади, держали за руки и подбородок, третий бил. Затем выбросили из машины и начали пинать. Когда он перестал сопротивляться, забрали деньги и уехали.

Машину нашли через два дня в лесополосе недалеко от города. Виктор продал ее и решил заняться челночным бизнесом. Несколько раз он слетал в Турцию и Эмираты довольно удачно. Они продержались на этом почти полгода. Но однажды Виктор купил товар, который не смог реализовать. Вложенные деньги пропали, других не было. После этого он устроился на базаре грузчиком.

К этому времени Виктор уже часто стал приходить домой пьяным. От него разило ужасными запахами стирального порошка, селедки, ацетона, чего-то кислого и противного. Наташа молча терпела, стирая ночью его одежду, стараясь, чтобы к утру она высохла, и ее можно было надеть.

Вскоре Виктор не стал ночевать дома. Когда он не пришел первый раз, она проплакала до утра. Утром предупредила на работе, что задержится, и поехала на базар. Она нашла его за палатками челноков в закутке склада. Виктор сидел на корточках в углу, перед ним стояла картонная коробка, на которой лежали хлеб и нарезанная на куски не очищенная от потрохов

селедка. К его плечу жалась какая-то бабенка с испитым лицом, закрашенным румянами. Наташа никогда не могла представить такую вульгарную женщину рядом со своим мужем. Разлив водку, Виктор обнял ее за плечо и неожиданно встретился взглядом с Наташей. Он торопливо убрал руку, но Наташа, не сказав ни слова, вышла из склада.

На улице она пыталась разрыдаться, но не смогла. Горло сжимали спазмы, по щекам текли слезы, но плача не было. Лишь судорожные всхлипы, похожие на приступы тошноты.

Вечером Виктор пришел домой, упал на колени и стал клясться, что между ним и той женщиной ничего не было. А ночевать он не пришел потому, что крепко выпил и не заметил, как уснул за столом у друга. Наташа молчала, ощущая в душе пустоту и гадкое, ноющее чувство беспомощности. Она не верила ни одному его слову.

Недели две Виктор вовремя приходил домой, был трезв и предупредителен. Каждый вечер она видела перед собой его просящие глаза и угодливые движения. Они не трогали ее. Любовь ушла, осталось лишь чувство жалости. Но Наташа все же сжалилась и, пересилив возникшую вначале брезгливость, пустила его к себе в постель. Она хотела не столько спасти семью, сколько Виктора. Ей казалось, что нормальные семейные отношения заставят его жить по-другому. Через день после этого он пришел домой пьяным.

Наташа мучилась с ним почти два года, потом сказала:

— Больше не приходи. Будешь ломиться, вызову милицию.

Виктор ушел. Закрыв за ним дверь, она посмотрела на себя в зеркало, висевшее в прихожей. Кожа лица показалась ей серой, растрескавшиеся губы землистыми. Но больше всего ее удивило несколько седых волос на виске. Она выдернула один волос, долго рассматривала его на свету, потом подошла к туалетному столику, открыла крем, подцепила его на палец. Снова посмотрела в зеркало и опустила руку. Несколько мгновений постояла с закрытыми глазами, села на диван и заплакала. Слезы покатались по лицу, попали на губы, она почувствовала на языке их соленый привкус. Наташа упала на подушку и дала волю рыданиям.

Виктор приходил несколько раз и все время пьяный. Она разговаривала с ним через дверь, не впуская в квартиру. Но однажды впустила. Он позвонил ей утром, в начале восьмого.



Она уже надела плащ и приплясывала в одной туфле, пытаясь попасть ногой в другую. Времени оставалось только на то, чтобы не опоздать на работу. Виктор стоял у порога, его опухшее лицо было помятым, замызганная куртка походила на старое тряпье.

— Я тебя слушаю, — сказала Наташа, с жалостью глядя на человека, которого еще совсем недавно любила. Она до сих пор не могла поверить, что он окончательно опустился туда, откуда выкарабкиваются лишь немногие. Ей казалось, что все еще можно исправить.

— Выручи, пожалуйста, — Виктор опустил голову и замолчал на несколько мгновений. — Вчера загребли в вытрезвитель, сейчас отпустили под залог. Надо заплатить, а нечем.

— Сколько? — спросила Наташа, чувствуя, что у нее уже нет сил смотреть на него.

— Сотню. — Виктор прикрыл губы ладонью и несколько раз глухо кашлянул.

У нее было ровно сто рублей. Если бы не проездной билет, ей было бы нечем рассчитаться за троллейбус. Она открыла сумочку, отдала деньги тrolлейбусу и, захлопнув дверь, застучала туфлями по бетонным ступенькам, ведущим на улицу. У двери подъезда увидела двух таких же небритых и неопрятных мужчин, как Виктор. В голове пронеслась нехорошая догадка. Задержавшись на углу дома, она подождала, пока из подъезда выйдет Виктор. Он показался с зажатыми в кулаке деньгами, мужики засмеялись, и они втроем двинулись к ближайшей пивной. С этого дня Наташа не разговаривала с Виктором даже через дверь.

Вскоре у нее заболело сердце, потом началось воспаление суставов. Врачи советовали ехать на курорт, но у нее не было денег. В лаборатории, где она обрабатывала на компьютере данные химических анализов, сократили половину персонала. Попала под сокращение и она, но ее перевели лаборанткой в цех. В нем было сыро, на полу постоянно стояла вода, тяжелый, влажный воздух, смешанный с кислотными испарениями, забивал легкие. Но она радовалась и этой работе, потому что перед глазами все время стояла судьба Виктора.

Месяц назад ее навестил брат, оказавшийся в городе проездом. Он был на шесть лет старше, жил в другой области и его судьба сложилась более удачно. Брат работал на хорошей

должности в фирме, торговавшей металлом. Обняв и поцеловав Наташу, он отодвинул ее на вытянутые руки и, посмотрев в глаза, спросил:

— Что с тобой? Захворала?

— Почему ты так решил? — сказала Наташа, опуская глаза.

— Я плохо выгляжу?

— У тебя взгляд нерадостный. Ты вся какая-то тусклая, — ответил брат, поворачивая ее за плечи к свету.

— Потому и тусклая. — Наташа отстранилась от него.

— А почему не лечишься?

— Сейчас это не просто, Володя. — Наташа попыталась уйти от этого разговора, ей было неудобно сказать, что у нее нет денег. Но брат все понял.

— Сколько? — спросил он.

Наташа назвала сумму. Брат достал из кармана пиджака бумажник, отсчитал нужную сумму пятисотенными купюрами, положил деньги на туалетный столик. Потом достал еще несколько купюр и сказал:

— Это на дорогу и карманные расходы.

— Да ты что, Володя, — попыталась возразить она. — Такие деньги...

— Ты знаешь, я открыл одну истину, — сказал Володя. — Давать всегда приятнее, чем брать. Чай-то у тебя хоть есть?

— Могу угостить даже кофе. — Наташа улыбнулась впервые за много месяцев.

...Колеса поезда равномерно постукивали, вагон раскачивался и чайная ложка в пустом стакане, стоявшем на столике у окна, слегка позванивала. Наташа уже давно выпила чай, но ей не хотелось вставать и нести проводнице стакан. Поджав под себя ноги, она уютно устроилась в углу и смотрела в окно. В соседнем купе громко смеялись. По всей видимости, там рассказывали анекдоты. Оттуда уже несколько раз выходил усатый черноволосый парень с отвисшим брюшком и такой же отвисшей толстой нижней губой. Он бросал блудливый взгляд на Наташу, и она была уверена, что давно зашел бы к ней и начал рассыпаться в комплиментах, но мешали ее соседи. Молодая пара с дочкой трех или четырех лет.

Сейчас Наташа осталась одна. Глава семьи ушел курить в тамбур, мама повела девочку в туалет. И тут же в дверях купе показался черноволосый. «Ну, вот и началось», — подумала



Наташа, неосознанно приготовившись к отпору. После разрыва с Виктором у нее появилась аллергия на любые приставания мужчин.

— Дэвушка, — произнес черноволосый, протискиваясь в купе, — вы почему сидите одна? Пойдемте к нам играть в карты. У нас шампанское и конфеты, которых вы никогда не пробовали.

Он протянул к ней жирную руку с двумя тяжелыми золотыми перстнями на волосатых пальцах.

— Пойдите вон, — шипящим шепотом прошелестела Наташа.

— Что? — не понял гость.

Наташа побледнела, схватилась рукой за краешек стола с такой силой, что у нее побелели косточки на пальцах.

— Пошел вон! — сказала она так громко, что ее услышали в коридоре.

Черноволосый сначала попятился, затем ошарашенно кинулся из купе, пытаясь закрыть за собой дверь.

— Оставьте ее, — строго, но уже спокойнее сказала Наташа.

Непрошенный гость исчез, а она, рассмеявшись негромким смешком, подумала: «Господи, какая же я стала злая».

В санатории ее посадили за стол с молодой особой, напавшей на себя совершенно нелепое трикотажное платье и сапоги с широкими голенищами, выглядевшими раструбами на ее худых лодыжках. Это была работница районной администрации какого-то района какой-то области. Наташа не запомнила. Ей было все равно с кем сидеть, она ехала сюда не для общения. Соседку звали Тоня. Она тут же стала рассказывать о культурных мероприятиях санатория, главным из которых были танцы. Рассказывая о них, Тоня не закрывала рта.

— Там собирается самая интересная публика, — тараторила она. — Через каждый танец дамы приглашают кавалеров. Можно пригласить кого угодно. Я уже перезнакомилась со всеми. — Она томно повела плечом и посмотрела на Наташу.

— Я не танцую, — сухо сказала Наташа, давая понять, что разговор соседки ей совершенно неинтересен.

Два дня они сидели за столом вдвоем. На третий — вечером к ним посадили новенького — пожилого мужчину в легкой спортивной куртке и клетчатой рубашке. Он пришел на ужин прямо с поезда. Наташа обратила внимание лишь на то, что у

него были седые виски. Мужчина поздоровался, сел и сказал:

— Меня зовут Константин Иванович.

— Тоня, — ответила Наташина соседка и снова кокетливо повела плечом.

Наташа назвала себя. Больше новый сосед по столу за весь ужин не проронил ни слова. В столовой был тусклый свет, и ужин проходил в полумраке. К тому же на соседа падала тень от одной из колонн, стоявших посреди зала. Бросив на него всего один короткий взгляд, Наташа подумала: «Не могли же посадить женщину». Более всего она боялась примитивных ухаживаний. Они оскорбляли ее до глубины души.

На следующее утро из-за ранних процедур Наташа опоздала в столовую и завтракала одна. Соседи уже ушли, оставив на столе тарелки с недоеденным гарниром. С Константином Ивановичем она встретилась за обедом. Он был в хорошем костюме, дорогой рубашке и модном галстуке. Сегодня она рассмотрела его. У него были белые, как нетронутый снег, виски и седая голова. Наташа определила, что на вид ему не меньше пятидесяти. Поздоровавшись, она села на свое место. За обедом щебетала одна Тоня. Ни Константин Иванович, ни Наташа не произнесли ни одного слова. Когда обед подходил к концу и Наташа, не торопясь, допивала компот, она почувствовала на себе цепкий взгляд соседа. Наташа отодвинула стакан и, наклонив голову, настороженно спросила:

— Что вы на меня так смотрите?

— Я всегда смотрю на красивых женщин, — сухо ответил сосед.

— Это комплимент? — она подняла на него сердитые глаза.

— Нет. Это констатация факта.

Он произнес это таким тоном, словно перед ним была не живая женщина, а картина. Наташу резанул этот тон.

— Всего доброго, — сказала она и встала из-за стола.

Константин Иванович, чуть привстав, молча опустил в полупоклоне серебристую голову. «Три дня живет, а на танцах еще ни разу не был», — услышала Наташа за спиной голос Тони. Она не оглянулась.

В палате она остановилась у зеркала и пристально посмотрела на себя. Перед ней стояла женщина, которой было не двадцать восемь, а, как минимум, тридцать пять. Бледное лицо с нездоровой кожей и лучики морщин у глаз, усталый взгляд,



бесцветные губы. На виске снова появилось несколько седых волос. Она открыла сумочку, чтобы достать губную помаду, но вспомнила, что у нее ее нет. Она уже давно не красила губы.

Еще раз взглянув в зеркало, Наташа провела ладонью по животу, потом, повернувшись и отставив ногу, по талии и бедру, достала из шкафа резиновую шапочку, купальник, большое махровое полотенце, уложила все это в пакет и пошла в бассейн. В нем было мало народу: четыре женщины и двое мужчин. Она потрогала ногой воду, которая показалась ей прохладной, держась за поручни, сошла на одну ступеньку, постояла немного, плюхнулась на живот и поплыла к другому концу бассейна.

Плавала Наташа не меньше часа. Когда поднималась по ступенькам, выходя из бассейна, у нее от усталости слегка подкашивались ноги. В душевой она встала под горячие струи, стараясь смыть пахнущую хлором бассейновую воду, потом досуха вытерлась полотенцем и, возвратившись в палату, легла на неразобранную кровать. Вскоре она задремала.

Перед тем, как идти на ужин, Наташа разложила на кровати три кофточки и долго выбирала лучшую. Остановилась на розовой, которая, как ей показалось, более всего подходит к ее каштановым волосам и черной юбке. Вдела в уши сережки — подарок Виктора сразу после свадьбы, надела на шею золотую цепочку, на безымянный палец правой руки — кольцо. Пусть все думают, что она замужем.

Наташе не хотелось никому понравиться, тем более Константину Ивановичу. Ей хотелось быть женщиной с чувством собственного достоинства, а для этого нужны соответствующая одежда и украшения.

Когда она подошла к раздевалке, высокий крепкий парень с короткой прической и застенчивым, никак не вяжущимся с его фигурой взглядом, уступил ей место и помог снять шубку. Она уже обратила на него внимание. В столовой он сидел через два стола и постоянно бросал на нее короткие взгляды. Наташа поблагодарила парня и прошла в обеденный зал.

— Сегодня же вместо танцев кино, — сказала Тоня, увидев преобразившуюся Наташу.

— А почему вы решили, что я собралась на танцы? — спросила Наташа.

— Ну, вы так оделись, — Тоня вывела ладонью в воздухе

неопределенную фигуру.

— Спасибо за комплимент, — сказала Наташа и повернулась, почувствовав на себе взгляд высокого парня.

— А Константин Иванович сегодня не ужинает, — произнесла Тоня. — У него завтра будут брать желчь на голодный желудок.

Наташу не интересовал Константин Иванович, она пропустила замечание соседки мимо ушей. В середине ужина Наташа спросила:

— Скажите, здесь есть приличный магазин?

— Смотря что вам надо, — ответила Тоня.

— Мне надо хороший шампунь.

— Ну, так это в «Жемчужину». — И Тоня подробно объяснила, как пройти к этому магазину.

На следующий день Наташа пошла в «Жемчужину». Не столько за шампунем, сколько за косметикой. Она выбрала крем, губную помаду, тени — все, чем пользуется женщина, прихорашивая себя. Выходя из магазина, столкнулась с парнем, который уступал ей место в раздевалке. Он словно ждал Наташу. Остановившись перед ней, парень спросил:

— Вы в санаторий?

Она кивнула.

— Вас не обременит, если я пойду рядом?

— Мне все равно, — ответила Наташа, пожав плечами.

Она сошла со ступенек и направилась в санаторий. Парень последовал за ней. Несколько минут они шли молча, потом он сказал:

— Меня зовут Сергей. А вас?

— Наташа. Но если вы хотите завязать со мной знакомство, должна вас огорчить. Я замужем. — Она вытянула ладонь, чтобы было видно обручальное кольцо, и повернулась к Сергею.

И ее снова поразил его детский взгляд. Ей показалось, что Сергей может расплакаться. «Не доставало еще стать сестрой милосердия», — подумала Наташа, но в это время Сергей сказал:

— Я ведь не прошу вашей руки. Я только напросился идти рядом.

— Пожалуйста, — ответила Наташа. — А давно вы здесь?

— Я приехал на два дня раньше вас.

— А откуда вы знаете, когда приехала я? — удивилась Наташа.



— Я обратил на вас внимание, как только вы вошли в столовую.

Вести разговор дальше пропало всякое желание. Она поняла, что перед ней самый типичный вздыхатель, которые не раз встречались ей в жизни. Ее всегда раздражала их беспомощность. Они не понимают, что женщины ценят в мужчине силу, а не слабость. Заламывать руки и вздыхать, как Арлекино, можно только на театральной сцене. Мужчина должен иметь достоинство. Теряя его, он теряет лицо. Наташа посмотрела на Сергея. У него были полные губы, чистое и гладкое, как у ребенка, лицо без каких-либо следов бритья. Это впечатление дополнял взгляд детских глаз.

— Сколько вам лет? — спросила Наташа.

— Двадцать, — не задумываясь, ответил Сергей.

— Я старше вас, — сказала Наташа.

— Это неправда, — горячо возразил он.

— Почему вы думаете, что я говорю неправду?

— Потому, что я вам не нравлюсь.

— Я привыкла быть в уединении. — Наташа остановилась и посмотрела вдаль. — Я люблю одиночество

— А говорите, что вы замужем.

Наташа поднесла к лицу ладонь с кольцом, пошевелила пальцами, но ничего не сказала. Что бы ни говорили, а приятно, когда кто-то вздыхает о тебе. Пусть даже мальчик. Для женщины самое страшное, когда она чувствует, что никому не нужна.

До санатория дошли молча. Несколько раз Наташа бросала взгляд на Сергея, и он сразу то бледнел, то заливался краской. Она понимала его чувства, но помочь ничем не могла. Заводить с кем-либо флирт, тем более с человеком, который годится тебе в младшие братья, у нее не было никакого желания.

За обедом она вновь встретилась с Константином Ивановичем. Как и в прошлый раз, он был безукоризненно одет, серебро висков оттенял темный костюм. Она задержала на нем взгляд и подумала: чем он отличается от остальных? Осторожно повернула голову, обвела глазами несколько столов и встретилась взглядом с Сергеем. На нем была темно-синяя кофта от спортивного костюма с тремя белыми полосками вдоль рукава. Многие за столами были одеты так же. Они считали, что на отдыхе никакой этикет соблюдать не надо. Константин

Иванович так не считал. Он не мог сидеть за обеденным столом в обществе дамы без галстука. Наташа опустила голову и занялась обедом.

— Вы знаете, — неожиданно обратился Константин Иванович сразу к обеим дамам, — говорят, что в местном музее есть картина Николая Рериха. Это правда?

Тоня звякнула вилкой о тарелку, подняла голову и сказала:

— Я не слышала.

Наташа пожала плечами и ответила, что в музее еще не была.

— Может быть, сходим и посмотрим? — предложил Константин Иванович, немного отстраняясь от стола и переводя взгляд с Наташи на Тоню.

— Если он открыт в воскресенье, — сказала Наташа. — В остальные дни некогда. До обеда процедуры, после обеда я плаваю в бассейне.

— Позавчера вы выглядели немного уставшей, — сказал Константин Иванович. — А сегодня смотрите просто прекрасно.

— Спасибо за комплимент. — Наташа бросила на соседа быстрый взгляд.

— Это не комплимент, — сказал Константин Иванович. — Это констатация факта.

Наташа постепенно стала возвращаться в нормальную жизнь. Она плавала, перед сном гуляла по морозному воздуху. Возвращаясь после прогулки, смотрела на себя в зеркало и трогала пальцами раскрасневшиеся щеки. Потом умывалась, наносила на лицо ночной крем и ложилась спать. В последнюю ночь ей приснился мужчина. Близости с ним не было, но он обнимал ее, дотрагивался до груди, целовал в голову. Она проснулась со странным ощущением в душе и слабостью в теле. Но быстро взяла себя в руки. Умылась, сделала прическу, нанесла макияж.

После завтрака они с Константином Ивановичем пошли в музей. Тоня отказалась, ей надо было сбегать в какой-то специальный магазин, выполнить заказы сослуживцев. На улице был легкий морозец, снег сверкал и слепил глаза, и Наташа постоянно жмурилась. Константин Иванович, между тем, говорил:

— Люблю тихие провинциальные городки. В них еще сохранился уклад русской жизни. В Москве ее уже давно нет. Она — конгломерат культур, народов, всего самого дурного в обществе. Все стекается туда. А в таких городках русская жизнь со-



хранилась. Вот здесь всего одна картина Рериха, и весь город гордится ей, как национальным достоянием. В Москве ее никто бы не заметил.

— Вы где работаете? — спросила Наташа.

— Я, наверное, кажусь вам нудным? — Константин Иванович повернул к ней лицо.

— Нисколько. Просто мне интересно. У вас своя философия.

— В жизни все надо осмысливать, — заметил Константин Иванович. — А вообще я работаю экспертом в одной фирме.

Наташе было легко с ним. Он понимал ее с полуслова, и она его понимала так же. Ей пришло в голову, что для людей одного круга разница в возрасте не имеет особого значения. С Сергеем она не знала о чем говорить, а с Константином Ивановичем беседа текла сама собой, без всякого напряжения и мучительного поиска общих тем. Сословия отменили, но они остались потому, что общество никогда не может быть однородным. Основы закладываются в семье, а семья является частью сословия.

Музей располагался в двухэтажном здании старинной постройки. Зал изобразительного искусства находился на втором этаже. Наташа сразу же увидела картину Рериха, небольшого формата, выполненную в традиционной для него манере. Синие горы и белые снега. И ничего больше. Ни лунной дорожки, как у Куинджи в его «Ночи на Днепре», ни звезд, ни восходящего солнца. Все до удивления просто, хотя за каждой линией видна кисть мастера. «В этом, наверное, и заключается тайна искусства», — подумала она.

— Рерих через живопись общался с Космосом, — произнес Константин Иванович.

Наташа не ответила. Кроме них в зале было еще два посетителя. Они стояли у противоположной стены и рассматривали картину. Наташа направилась к ним. На стене висело Нестеровское «Видение отроку Варфоломею». Это была довольно хорошая копия, сделанная местным художником. Бросив на нее быстрый взгляд, Наташа вздрогнула от неожиданности. Во всей фигуре мальчика, изображенного на картине, было такое благоговение, такое искреннее послушание, а в образе старца столько мудрости, что, казалось, именно в этом и заключается весь смысл человеческой жизни. Вечное добро и опыт жизни

должны передаваться от старших к младшим, из поколения в поколение.

— Рерих общался с Космосом, а Нестеров с Богом, — услышала Наташа за спиной голос Константина Ивановича.

Она повернулась к нему и сказала:

— Нестеров мне нравится больше.

— Они оба русские, — произнес Константин Иванович.

Когда они вышли на улицу, солнце светило еще сильнее, а снег сверкал ярче. Приставив к лицу ладонь козырьком, Наташа улыбнулась и сказала Константину Ивановичу:

— Спасибо, что вытащили меня в музей.

— Что бы вы делали одна в четырех стенах? — Константин Иванович загадочно посмотрел на нее.

— Размышляла о жизни, — сказала Наташа.

— Она и так в сплошных размышлениях, — заметил Константин Иванович. — Куда ни повернись, одни вопросы. Может, выпьем по чашечке кофе? — Он кивнул на вывеску ресторана.

— А почему бы и нет? — у Наташи вдруг появилось настроение, которого она не знала последние годы. Она словно вернулась в начало своей послеуниверситетской жизни, когда все казалось прекрасным, а люди счастливыми.

Ресторан был небольшим, всего на несколько столиков. Едва они уселись за один из них, как подскочил официант и, склонив голову, замер у стола.

— Принесите две чашки кофе, — сказал Константин Иванович.

— Вам какого? — спросил официант. — «Пеле», «Максвелл», «Нескафе»?

— Черного молотого. Лучше арабику.

— У нас нет арабики, — официант вытянулся в струнку.

— Ну, так скажите, какой у вас есть. — Константин Иванович говорил негромко, но сухо, словно отдавал распоряжение.

— Одну минуту. — Официант исчез из зала и вернулся с пакетиком в руках, в котором был колумбийский кофе в зернах.

— Две чашки, — сказал Константин Иванович.

Наташа смотрела на него и думала: мужчина должен быть именно таким. Властным, знающим себе цену и... умным. Когда он разговаривал с официантом, у него даже профиль лица делался орлиным, а губы более тонкими и жесткими.

Константин Иванович развернул меню, спросил, не заглядывая:

— Может быть, возьмем что-нибудь к кофе?

— Что? — спросила Наташа.

— По рюмке коньяка, например.

— Я не пью крепкие напитки, — ответила она.

— Тогда по фужеру сухого?

— Может быть. — Она неопределенно пожала плечами. Пить ей не хотелось, но и выглядеть кокеткой казалось неудобным.

Официант снова подошел к столику, достал блокнот и ручку, склонился в угодливой позе. Константин Иванович сказал:

— Бутылку белого «Шабре».

— И все? — удивился официант.

— Что возьмем на десерт? — обратился Константин Иванович к Наташе: — пирожное или мороженое? Звучит, как рифма.

— Я бы предпочла мороженое, — Наташа вдруг почувствовала себя расслабленной. Она удобнее уселась на стуле, повесила сумочку на его спинку.

Ей снова стало хорошо, как в первые послеуниверситетские годы. Весь ужас последних лет остался где-то далеко и если всплывал в подсознании, то ощущался как нечто нереальное. Она чувствовала себя женщиной, привлекающей внимание мужчины — умного, много видевшего, понимающего толк в красоте и, самое главное, умеющего ценить ее. Ей хотелось, чтобы это состояние длилось вечно, и тогда бы вся жизнь казалась праздником. Но она тут же осекла себя: счастье не может быть вечным, чаще всего оно коротко, как миг. Да и какое это счастье? Сходили в музей, сейчас выпьем хорошего вина. «Шабре» хорошее вино, Наташа его пробовала раньше. Потом встанем и пойдем в санаторий, где завтра начнутся процедуры, врачебные осмотры, стук в дверь медицинских сестер, разносящих талончики с вызовами в различные кабинеты.

Но Наташа все равно была счастлива. До сегодняшнего дня жизнь казалась ей настолько тягостной, что иногда не хотелось просыпаться. Но сегодня все показалось другим. Жизнь не закончилась, ее можно сделать лучше. Как только приедет домой, сразу же позвонит брату. Он должен помочь ей, должен устроить на хорошую работу с приличной зарплатой. Слава Богу, что Виктор оставил ей квартиру. Продав ее, она сможет купить себе другую. «А семья? — спрашивала она себя и тут же отвечала: — Какая семья в двадцать восемь лет?»

Из ресторана они вышли, когда до обеда в санатории оста-

валось четверть часа.

— Солнце-то какое, — сказала Наташа и, повернувшись на каблук, рассмеялась.

Легкое вино немного ударило в голову, и от этого настроение только улучшилось. Наташа взяла Константина Ивановича под руку, и они пошли в санаторий. Но чем ближе подходили к нему, тем больше ей казалось, что кто-то неотрывно следит за ней. Наташа обернулась. В двадцати шагах сзади шел Сергей. «Псих какой-то, — подумала она. — Не дай Бог еще помешается на мне, тогда жди беды». Прижимаясь к Константину Ивановичу, она ускорила шаг и больше не оглядывалась до самого санатория.

Оставшиеся до конца лечения дни пролетели быстро. Каждый день после обеда Наташа плавала, потом, надев черные очки, загорала в солярии под ультрафиолетовой лампой. За неделю она загорела настолько, что кожа под лифчиком и трусиками резко контрастировала своей белизной с остальной частью тела. После ужина они гуляли с Константином Ивановичем вокруг санатория. И все время она натыкалась на следящие глаза Сергея. Он попадался им то на аллее, то у выхода из спального корпуса. А однажды, возвратившись в свою палату, она увидела в стакане на тумбочке алую розу. Стакан стоял на бумажке, на которой крупными буквами было выведено одно слово: «Сергей». «Когда-нибудь он доконает меня, — подумала Наташа и нагнулась к розе, издававшей тонкий, пряный аромат. — Клин надо вышибать клином».

Константин Иванович тоже обратил внимание на Сергея. Но разговоров о нем не заводил, хотя мысль о клине, по всей видимости, возникла и у него. Однажды по пути в раздевалку он наклонился к Наташе и сказал:

— Сегодня вечером я зайду за тобой.

— Зачем? — спросила она, почувствовав, что начинает дрожать.

— Я хочу увести тебя к себе.

— А если я побоюсь?

— Чего бояться? — Константин Иванович протянул номерок гардеробщице, а когда та подала шубку, накинул ее на плечи Наташи.

Вечером он зашел к ней в комнату, закрыл за собой дверь. Наташа, сидевшая на кровати, встала. Он подошел к ней, прижал к себе, поцеловал в голову. Она стояла не шевелясь, с зату-



маненным сознанием. Ей казалось, что все это происходит во сне. Наяву так быть просто не может. Он взял ее за руку и потянул из комнаты. Она пошла, не сопротивляясь. Ей было стыдно и одновременно радостно оттого, что она еще нужна мужчине.

Больше они не гуляли по вечерам. Все время после ужина Наташа проводила в комнате Константина Ивановича. Она готова была подчиняться ему во всем, лишь бы ощущать рядом его плечо, видеть всегда спокойный и умный взгляд. Жалела лишь о том, что это случилось слишком поздно. Сергея видела только за обедом, он по-прежнему не сводил с нее глаз.

Через несколько дней Наташа вернулась домой. Сразу же позвонила брату, но он оказался в командировке. Пришлось выходить на работу в грязный и мокрый цех, снова дышать воздухом, который распирал легкие. Дома она не находила себе места. Она вдруг поняла, что жизнь женщины, рядом с которой нет мужчины, — не более, чем сиротство. «Одиночество так же убого, как нищета, — думала она. — Его не может заменить никакое богатство».

Однажды, возвращаясь с работы, она обнаружила в почтовом ящике письмо. Она взглянула на конверт, обратного адреса на нем не было. Наташа положила письмо на телевизор. Приготовила ужин, глядя в окно, неторопливо поела. Над городом сгущались сумерки. На потемневшем небе, качнувшись, показался узкий, бледный серпик луны.

Наташа прошла в комнату, зажгла свет, взяла письмо и села на диван. Разорвала конверт, достала сложенный вчетверо листок. Почерк был неровный, но хорошо читаемый. Наташа вздрогнула, пробежав первую фразу. «Я вас люблю. Я никогда не видел более красивой и интеллигентной девушки, чем вы. Я рад, что дышал одним воздухом с вами, ощущал аромат ваших волос, когда вы проходили мимо. Одно ваше слово и я у ваших ног. Я готов отдать вам не только сердце, но и всего себя. До гроба ваш Сергей». Под подписью стоял адрес.

Наташа положила письмо на колени и заплакала. В голове стучала одна мысль. «Неужели опять начинать все сначала? Боже, скажи, пожалуйста, где находится человеческое счастье?» Слезы текли по ее лицу, но она не утирала их. Наташа ждала ответа, но в четырех холодных стенах стояла гнетущая, ощущаемая почти физически тишина.

СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ

Степка Крючок сидел на березовом чурбаке в тени дома и лишь изредка поднимал глаза на пыльную деревенскую улицу. Голова раскальвалась, тело трясло, словно в ознобе. Вчера Марья послала его продавать новую картошку. Степка просидел на краю автострады полдня, прежде чем около него остановилась белая иномарка. Остриженный наголо толстый парень в майке и помятых, неопределенного цвета шортах, почесывая живот, подошел к нему и, кивнув на ведра, спросил:

— Сколько?

— Сто рублей, — сказал решивший поторговаться Степка.

Но толстяк торговаться не стал. Засунул в задний карман шорт ладонь, достал смятую пачку денег, вытянул из нее сотню и протянул Степке. Тот сунул деньги в нагрудный карман рубашки, почти бегом отнес картошку к машине, пересыпал ее в полиэтиленовый мешок, который толстяк достал из багажника. И прямо с трассы направился в магазин. Купил бутылку водки и два килограмма соли. Марья собралась солить огурцы, а соли в доме не было.

Водку Степка выпил, не доходя до дома. Когда протягивал Марье соль, она, в упор глядя на него, спросила:

— Остальное, поди, уже пропил?

Степка молча поморгал редкими белесыми ресницами и отвернулся. Марья снякла и направилась в избу. Она уже не раз жалела, что вышла за него замуж. Но выгнать его из дома не решалась, ей казалось, что тогда он пропадет совсем. С картошкой на трассе надо было стоять самой.

Солнце вылезло из-за крыши и направило раскаленные лучи прямо на Степку. И без того болевшая голова зазвенела на солнцепеке. Он перенес чурбак в тень поближе к стене и снова уставился на дорогу. Похмелиться надо было во что бы то ни стало, а где взять денег, не знал. Продать было нечего, украсть — тоже. Правда, на другом конце села у дома Виктора Шульгина еще с весны стоит заграничная сеялка с хорошими резиновыми колесиками. Шульгин, а с ним еще шесть мужиков вышли из колхоза и создали свое крестьянское хозяйство. За три года все купили по новым «Жигулям», а нынешней весной привезли из-за границы сеялку. «Ее бы колесики на ручную тележку, такой тележке цены бы не было», — сразу подумал Степка. Но разве покажешься с ней на деревенской улице? Колеса тут же



опознают, да еще морду набьют.

Кляня жизнь, Степка уже поднялся с чурбака, но вдруг увидел старика Захряпина. Тот возвращался домой с пустым рюкзаком. Часа два назад, когда он шел по этой же улице, рюкзак у него был набит, но, по всему виду, чем-то легким. Старик шагал прямо, лямки рюкзака в плечи не врезались. «Значит, ставил сети», — смекнул Степка, и в его голове сразу прояснилось.

Подождав, пока Захряпин скроется в переулке, Степка заскочил в сени, сунул в карман полиэтиленовый пакет, на котором красовалась девица в цветастом купальнике, и скорым шагом направился за околицу. Там он свернул на тропинку, ведущую к большому озеру, заросшему по берегам густым камышом. В километре от деревни в него впадал Щучий ручей — узенькая, но глубокая речушка с непролазным тальником по берегам. Старик был без лодки и поэтому мог ставить сети только в ее русле. Еще пацаном Степка ловил там чебаков. Однажды, пытаясь подальше забросить удочку, он неудачно размахнулся удилищем, и крючок зацепил его за губу. С тех пор деревенская пацанва и стала называть Степку Крючком. Кличка прижилась и осталась с ним на всю жизнь.

Добравшись до устья ручья, Степка увидел сеть. Сверкая на солнце белыми пластмассовыми поплавками, она протянулась вдоль берега озера, полностью перегораживая устье ручья. Чтобы достать ее, надо было раздеваться. Лезть в прохладную воду не хотелось, и Степка раздумывал, чем бы зацепить снасть, чтобы вытащить на берег. Но вдруг вода у противоположного конца сети забурлила, поплавки захлопали, то погружаясь в воду, то всплывая на поверхность. Степка затрясся от азарта, скинул с себя штаны и рубаху и бросился к сети. Схватил ее за тетиву и попытался потянуть на себя, но сеть не поддавалась. Тогда он выскочил на берег, достал пакет и, зажав его в кулаке, направился к попавшейся рыбе.

Это была щука. Степка сломал ей лен, чтобы не трепыхалась, и выпутал из сети. Положив щуку в пакет, он пошел назад, то и дело поднимая сеть из воды. Пока дошел до берега, где оставил одежду, вытащил двух приличных карасей и линя. Настроение сразу поднялось. Рыбы было не меньше, чем на три хороших сковородки. «Вот тебе и Захряпины, — с завистью подумал Степка. — Чего им не жить? Старик вон какую рыбу ловит, молодой пшеницу выращивает. В прошлом году столько вырастил, что на новые «Жигули» хватило».

Сделав крюк, чтобы никто не догадался, откуда он идет, Степка огородами пробрался домой. Марьи не было. На лавке у печи стояло ведро с водой. Степка прямо с крыльца выплеснул воду, вытряхнул в ведро рыбу. Щука была килограмма на полтора, примерно столько же весили оба карася, да и линь был граммов на семьсот не меньше. «Вишь, какую рыбу едят Захряпины», — теперь уже со злостью подумал Степка и снова вспомнил о колесиках на заграничной сеялке. На наших машинах он таких сроду не видал.

В ведре, звонко шлепнув хвостом, перевернулся карась. Степка, не мигая, посмотрел на него, снова взял пакет с нарисованной красоткой, сунул туда карасей и линя и направился на другой конец деревни к старухе Мельниковой, торговавшей самогоном. У нее постоянно опохмелялись деревенские мужики. Самогонка была вдвое дешевле казенной водки, да и по качеству ей не уступала.

Свернув в переулок, где жила самогонщица, Степка увидел идущую навстречу Клаву Колесникову. Грациозно покачивая бедрами, она несла на коромысле полные ведра воды. Тонкое ситцевое платье обтягивало ладную Клавину фигуру, загоревшие до золотистого цвета стройные ноги с красивыми круглыми коленками разжигали воображение. У Степки екнуло сердце, он облизал кончиком языка сухие, шершавые губы.

— Привет, красавица, — глухо сказал Степка, пряча за спиной пакет с рыбой.

Клава остановилась, посмотрела на него с рассеянной улыбкой. Когда-то Степка ухаживал за ней. Никто не знает, чем закончились бы их отношения, если бы Степка не сел в тюрьму за кражу колхозного зерна. Сейчас в тюрьме сидел Клавин муж и тоже за кражу. Договорившись с городскими, он напоил пастуха и пока тот спал, угнал корову из стада в лесополосу. Там ее забили, мясо погрузили в машину, проснувшийся пастух даже не обнаружил пропажу. Шум подняла доярка, не досчитавшаяся коровы на вечерней дойке. А тут еще, как на зло, ребяташки видели отъезжавшую из лесополосы чужую машину, которую провожал Клавин муж. Председатель тут же поехал на место, которое указали ребяташки, и нашел там коровью голову, шкуру и потроха. Клавиного мужа посадили на три года и вот уже два года она жила одна с двумя пацанами.

— Привет, красавица, — оглядывая Клаву, еще тише повторил Степка и снова облизнулся. — Женщина с полными ведра-

ми всегда к счастью.

— Да ты и без меня счастливый, — смеясь, ответила Клава.

— Какое там счастье, — пытаюсь изобразить скорбное лицо, сказал Степка. — Сама знаешь, когда было разбито вдребезги мое счастье. — Степка явно намекал на то, что Клава не дождалась его.

— Сам виноват, — сказала Клава все тем же шутливым тоном.

— Куда это ты воду таскаешь? — спросил Степка, словно уже не первый раз видел сегодня Клаву с коромыслом на плечах.

— Баню топлю. — Клава немного выставила вперед правую ногу, отчего подол платья приподнялся почти на вершок. Она словно дразнила его.

— А меня попариться не возьмешь? — закинул удочку Степка. Клава показала ему сегодня необыкновенно красивой.

— Приходи, если ты такой смелый, — громко рассмеялась Клава и, качнув бедрами, прошла мимо него.

Он проводил ее взглядом и, опустив глаза, направился к Мельниковой. Старушка как раз шла с огорода с полным ведром огурцов.

— Небось, солить собираешься? — спросил Степка, открывая калитку.

— Да уж пора, — ответила Мельникова, ощупывая его хитроватыми маленькими глазами. Она знала, что у Степки почти никогда не бывает денег, а давать самогонку в долг было не в ее правилах.

— Хочу заключить с тобой бартер, — сказал Степка, поднимая пакет с рыбой на вытянутой руке.

— Что еще за бартер? — недоверчиво спросила Мельникова, глядя на пакет с обнаженной красоткой.

— Свежей рыбки тебе принес, — ответил Степка и, подойдя вплотную к Мельниковой, раскрыл пакет. — Такой ты давно не пробовала.

Старуха заглянула в пакет, поставила на землю ведро. Степка, направлявшийся сюда с твердой уверенностью, что ему удастся обменять рыбу на самогон, нерешительно замер. Мельникова молчала, и от этого у него застучало в висках, зашумело в голове. Ему казалось, что он еще никогда не испытывал такой нужды в похмелье, как в эту минуту.

— Чего смотришь? — нервно спросил Степка. — Рыба от-

менная, только что из воды. Сам наловил.

— И чего ты за нее хочешь? — недоверчиво спросила старуха, уставившись на Степку маленькими глазами.

— А сколько бы ты дала? Тут ведь килограмма три, не меньше.

Степка знал, что в деревне рыбу продавали по пятнадцать рублей за килограмм, а бутылка самогонки стоила двадцать.

— Сколько, сколько, — нетерпеливо произнесла Мельникова. — За такую рыбу бутылки жалко. В ней кроме костей ничего нет. — Она подняла ведро с огурцами и направилась в дом.

— Да ты что, креста на тебе нет, — взмолился Степка, кинувшись вслед за Мельниковой. — Там же литье лежит. Какие в нем кости? — Он взял у нее из рук ведро и сам занес его в дом. — Налей стакан, сил нет. — Он уже готов был отдать рыбу и за стакан самогонки.

Мельникова достала из-под лавки таз, кивнула на него. Степка вытряхнул в таз рыбу. Старуха открыла кухонный стол, вытащила початую четушку, вылила самогонку в стакан.

— Пей, — сказала она. — Посуда у меня в дефиците. — И спрятала пустую четушку обратно в стол.

Степка трясущейся рукой поднял стакан, стуча о его край зубами, выпил. Вытер рукавом мокрые губы и, задержав руку у лица, понюхал обшлаг рубашки. По телу прокатилось тепло, ударив в голову, оно начало растворять боль.

— Ты вот что, — сказал Степка. — Дай мне еще бутылку, и будем в расчете. Литье-то, посмотри какой. На килограмм вытянет.

Старуха недоверчиво посмотрела на рыбу, потом скосила глаза на Степку и произнесла:

— Подожди на улице, сейчас достану.

Степка вышел на крыльцо. Мельникова закрыла дверь на крючок, открыла подполье, кряхтя, спустилась в него. Самогонку она прятала там не столько от участкового, который тоже ходил к ней похмеляться, сколько от таких, как Степка. Вынесла бутылку на крыльцо, протянула ему:

— Бери и уходи, пока никто не видел.

Степка сунул бутылку в карман и, не оглядываясь, зашагал к калитке. Выйдя на дорогу, остановился, не зная куда податься. Если по добру, то надо было идти к Марье. Внутренне он чувствовал перед ней вину за пропитые деньги. Но Марья сно-



ва начнет говорить о том, что надо бы устроиться на работу, потому что на воровстве не проживешь. Рано или поздно все равно посадят, а то и убьют. Огреют мужики раза два оглоблей поперек спины, отобьют почки и легкие и никто разбираться с ними не будет. Марья, конечно, права, но сейчас думать об этом не хотелось.

Степка свернул в переулок и ноги сами привели его к Клаве Колесниковой. Оглянувшись по сторонам, он открыл калитку и скорым шагом через двор направился прямо к бане. Ему показалось, что Клава не зря упоминала о ней.

Стакан самогона, выпитый у бабки, умиротворяюще подействовал на него. Он смело шагнул в открытую дверь предбанника, нисколько не сомневаясь, что Клава уже ждет его там. Но в бане никого не было.

Степка заглянул в мойку. На полу у стены стояла наполненная до краев оцинкованная ванна. На лавке — тоже полный до краев большой пластмассовый таз. Баню Клава еще не топила. Степка сел на лавку в предбаннике, вытянул ноги. Выходит, что Клава обманула его. У Степки впервые за сегодняшний день возникло чувство обиды. Ему хотелось распить самогонку с Клавой и рассказать ей о своей неудачной жизни. Степке казалось, что Клава обязательно посочувствует ему.

Он встал с лавки, намереваясь идти домой, но тут услышал шаги у бани. В дверях показалась Клава с беременем березовых поленьев в руках. Переступив порог, она увидела Степку. Сначала даже вздрогнула от неожиданности, потом, повернувшись, строго спросила:

— А ты что тут делаешь?

— Ты же сама сказала — если смелый, приходи, — попытался пошутить Степка.

— Мне такие смелые не нужны, — Клава положила дрова у печки.

— Да я только на минутку, — суетливо ответил Степка и спросил: — Ребятишки где?

— У матери. Неделю уже, — сказала Клава.

У Степки сразу отлегло от души. Он боялся, что в баню могут заскочить ее пацаны.

— Да понимаешь, — Степка открыто, по-доброму посмотрел на Клаву. — Живу среди людей, а поговорить не с кем. Взял вот бутылку, решил зайти к тебе.

— У Мельниковой, поди, был?

— У нее, — признался Степка.

Клава стояла посреди предбанника, Степка только сейчас разглядел, что она была босой. В его душе шевельнулось чувство, которого он уже давно не помнил. Он протянул руку, взял ее за пальцы и, глядя вдруг повлажневшими глазами, сказал:

— Садись. Ты сегодня уже и так находилась.

Клава жила одна, к ней давно уже никто не относился с сочувствием. Она села, удивленная взглядом Степки. Такими добрыми, ласковыми глазами он смотрел на нее в молодости. В те дни, когда она собиралась за него замуж. Они уже и свадьбу назначили, да бес толкнул Степку украсть зерно. Чтобы поскорее забыть его, Клава выскочила замуж за Кольку. Но и тот оказался не лучше.

Степка достал из кармана самогонку, взял стоявшую тут же на лавке кружку, налил Клаве. Она нерешительно подняла кружку и посмотрела на него. Он достал из другого кармана два огурца, которые стащил у бабки, пока та лазила в стол за чепухой, вытер их о рубаху.

— Я о тебе всю жизнь жалею, — сказал Степка, протягивая Клаве огурец. — Если бы тогда не попался с этой пшеницей, мы бы сейчас жили и горя не знали.

— Давай не будем об этом, — сказала Клава, опустив глаза. — Не попался бы с пшеницей, попался с чем-нибудь другим.

Она залпом выпила, мотнула головой и с хрустом откусила огурец. Степка налил себе и тоже выпил.

— Не стало сейчас мужиков, — сказала Клава, повернувшись к нему. — Шелупонь одна осталась. И Колька мой тоже шелупонь.

— Что же ты с ним живешь?

— А что делать, коли других нету? Все или спились, или в воровство, как вы с Колькой, ударились.

Степке стало неприятно. Разговор поворачивался в другую сторону, жаловаться Клаве на жизнь было бесполезно. Он снова плеснул в кружку самогона, протянул ей.

— А закурить у тебя не найдется? — спросила она.

— Ты что, тоже куришь? — удивился Степка. В последнее время многие деревенские бабы стали курить, но Клаву среди них он не замечал.

Она не ответила. Покрутила кружку в руке, подняла на Степку глаза и, глубоко вздохнув, выпила. Вслед за ней выпил Степка.

— И почему вы, мужики, такие непутевые, — сказала Клава, откинув ладонью прядь волос, свисавшую на лицо.

— Потому, что вы, бабы, нас не бережете.

— Да уж куда там, — засмеялась Клава. — Сейчас бабы и дрова колют, и воду таскают, и курить уже, как мужики, начали.

Клава смеялась легко и беззаботно, как в те времена, когда они еще дружили. И от этого легкого смеха у него вдруг застучало сердце. Глядя в ее глаза, Степка почувствовал, что она стосковалась по мужику и сейчас он может получить от нее то, чего не мог добиться в молодости. Клава уже не отворачивалась, встречая его вожденный взгляд, не отодвигалась, когда он клал на ее круглое, загорелое колено свою ладонь. А когда обнял ее сильной рукой и повернул к себе, сама потянулась к нему...

Домой Степка пришел в сумерках. Пьяным он себя не чувствовал, единственное, что его мучило, это голод. За весь день он съел всего один огурец. Марья сидела за столом, ела жареную щуку, запивая ее квасом. Степка сразу же сел к столу, протянул руку к сковородке.

— Где это ты весь день шатался? — глядя на него исподлобья, сухо спросила Марья.

— Рыбачил, не видишь, что ли? — он кивнул на сковородку.

— И что, всего только одну и поймал? — Марья попыталась заглянуть ему в лицо, но он опустил голову.

— А разве этого мало? — глухо ответил Степка, отщипывая пальцами от куска рыбы щепоть белого мяса.

Марья промолчала.

Наевшись, Степка лег спать. На душе было необыкновенно легко потому, что сегодня он прожил один из самых радостных дней в жизни. Опохмелился почти с утра, попал к Клаве в самый нужный для себя момент, до отвала наелся жареной рыбы. Таких счастливых дней в его жизни выпадало совсем немного. О завтрашнем дне он не размышлял, до него была еще целая ночь. И, уже проваливаясь в глубокий сон, подумал, что резиновые колесики с заграничной сеялки надо будет все же снять. Не снимет их он, Степка, снимет кто-нибудь другой. До следующей посевной они все равно не доживут.

ОЧНИСЬ И ПОЙ

Раиса Михайловна сгорала со стыда. Кровь прихлынула к лицу, кончики ушей раскалились до такой степени, что, казалось, вот-вот расплавятся. Ей не хотелось ни говорить, ни слушать, было одно желание — умереть. А Маргарита, самая верная подруга еще с университетской поры, безжалостно, словно раз за разом вонзая нож в тело, говорила:

— Не знаю, на что он позарился. Там и смотреть-то нечего — ни ног, ни, извини меня, сисек. Ведь вы с ним столько лет прожили. А на кого променял?..

У Раисы Михайловны возникло желание заткнуть рот Маргарите, но она словно окаменела, даже слово выговорить не было сил. А Маргарита все говорила и говорила, но теперь Раиса Михайловна не слушала ее. Подруга вещала как бы из потустороннего мира. Реальная жизнь опрокинулась и перестала существовать. Сердце сжалось до ломоты, до сквозной непроходящей боли, в голове, вытеснив все остальное, стучала одна мысль: «Неужели Боря действительно смог это? Неужели смог?..»

Маргарита, поднявшись, сказала что-то еще, потом ушла, щелкнув замком двери. А Раиса Михайловна обессиленно повалилась на кровать, несколько не беспокоясь о том, что платье, в котором она собралась на работу, сомнется и ей придется надевать другое. Ни работа, ни платье не имели теперь никакого значения. Главным было то, что муж, с которым они прожили двадцать лет, изменил ей. Раиса Михайловна чувствовала себя растоптанной и обобранной до последней нитки.

Сначала она плакала от обиды и жалости к самой себе. Потом, когда кончились слезы, долго всхлипывала, давясь, проглатывала застрявший в горле ком. Ее душили спазмы. Никогда в жизни она не была такой униженной и обездоленной.

Она догадывалась, что с мужем происходят какие-то непонятные вещи. Он часто задерживался на работе, иногда приходил в полночь, и от него пахло табаком и спиртным. Но с тех пор, как он ушел из своего института и начал заниматься бизнесом, это стало как бы стилем его жизни. Постоянные встречи с деловыми партнерами, причем в самое неподходящее время суток, такие же неожиданные командировки. Вот и сейчас он снова уехал...



Раиса Михайловна видела, что иногда он выматывался до изнеможения, приходя домой, валился в постель и засыпал тяжелым сном, постоянно вздрагивая и ворочаясь с боку на бок. С новой его работой личная жизнь ушла у них на второй план. Борис подолгу не видел собственных детей. Он уходил, когда они еще спали, и возвращался, когда уже снова были в постели. По неделям не притрагивался к Раисе Михайловне. Но она смирилась с этим, считая, что его работа в настоящее время важнее чувств. Семья жила по тем же стандартам, что и раньше, во многом благодаря его заработку.

До сегодняшнего дня Раиса Михайловна считала свою жизнь благополучной. Они поженились с Борисом на последнем курсе университета. После его окончания получили работу, которая нравилась. Он — в научно-исследовательском институте, она — учителем русского языка и литературы в хорошей школе. Вскоре у них родился сын, потом дочь. Детей Борис любил. И, как казалось Раисе Михайловне, его чувства к ней тоже не остыли. Дела по службе постоянно шли в гору. Борис защитил кандидатскую. Раиса Михайловна из школы перешла на кафедру филологии университета и вскоре из аспирантов тоже стала кандидатом наук.

Жизнь резко изменилась после того, как распалась великая держава, и к власти в России пришел ее первый президент. Институт, в котором работал Борис, перестали финансировать. В университете начались многомесячные задержки с выплатой зарплаты. В семье постоянно не хватало денег даже на хлеб. Борис долго мыкался в поисках новой работы, пока не устроился в фирму, торговавшую углем и лесом. В доме появились деньги, но жизнь стала совершенно другой.

Новые друзья Бориса, в отличие от прежних, разговаривали на особом, похожем на блатной, жаргоне. Могли безо всякого стеснения при женщине употребить самое матерное слово, рассказывали плоские анекдоты и сами же смеялись над ними. Поначалу Раиса Михайловна изредка посещала их вечеринки, куда ее затаскивали вместе с Борисом, но потом всякий раз стала находить повод для отказа. Она чувствовала себя в этой компании белой вороной. Молчала, когда все смеялись, не могла поддержать разговор, потому что все темы, на которые говорили, были ей или противными, или просто чужими. Новые русские оказались примитивными торгашами, не инте-

ресовавшимися ничем, кроме денег. Многие из них не читали даже тех книг, которые ее сверстники знали с детства, ни разу не были в театре. Все они словно всплыли с какого-то темного дна и сразу оказались на поверхности. Ей было жалко Бориса, оказавшегося в этой среде, но выбора у них не было. Жить приходилось по правилам, которые диктовали обстоятельства. Ей все казалось, что материальный достаток может компенсировать потерю прежней среды обитания, но вышло наоборот.

Проплавав полдня, Раиса Михайловна встала с постели с чувством полной опустошенности. Зашла в ванную умыться и долго смотрела в зеркало на свое опухшее, сразу состарившееся лицо. И чем дольше она вглядывалась в каждую морщинку, тем горше становилось ей. «Неужели жизнь уже прошла?» — подумала она. До прихода Маргариты ей казалось, что все еще впереди. И счастье, и радостная до головокружения любовь. Не та, юношеская, ненасытная и торопливая, а зрелая и основательная, когда каждый получает друг от друга то, чего хочет. Все это откладывалось на потом, когда вырастут дети, когда наступят более благополучные времена, а теперь вышло, что этого никогда не будет.

Раиса Михайловна всхлипнула и снова посмотрела на себя в зеркало. И тут впервые подумала о том, как выглядит та, на которую ее променял Борис? Она уже вычислила ее и не только из рассказа Маргариты. Месяца два назад они с Борисом были в дорогом магазине, где он пристально разглядывал красивое женское платье. Раиса Михайловна думала, что он собирается купить его ей. Но Борис сказал, что у одной их сотрудницы скоро день рождения и они решили сделать ей хороший подарок от фирмы.

— Как думаешь, такое платье можно подарить? — спросил он, отводя глаза в сторону.

Тогда она не придавала этому значения, а сейчас вспомнила и его взгляд, и дрожащий от нерешительности голос, когда он говорил о подарке, и поняла, что платье предназначалось любовнице. «До какой низости дойти! — с горечью подумала она. — Советоваться со мной, какое платье купить шлюхе...» Раиса Михайловна брезгливо передернула плечами. Но когда подумала о том, как, переспав со шлюхой, Борис со спокойной совестью ложился в постель к ней, ей стало еще горше. Она села на край ванны, бессмысленно уставилась на никелирован-



ный водопроводный кран и просидела в полном оцепенении несколько минут. Ей не хотелось даже всхлипывать. Потом она поднялась, умылась холодной водой, промокнула лицо мягким махровым полотенцем и пошла звонить на кафедру. Надо было отменить консультацию, иначе студенты напрасно будут ждать ее в аудитории.

Положив телефонную трубку, Раиса Михайловна обвела взглядом комнату. Много лет она создавала в ней уют своими руками. Борис не интересовался живописью, но она уговорила его купить несколько картин местных художников. Картины создавали настроение, успокаивали, когда было тяжело. Потеряв работу, Борис хотел продать их. Но Раиса Михайловна не пошла на это. «Не всегда же мы будем жить так», — говорила она. Сейчас не успокаивали и картины. Все вещи в комнате казались постылыми. Ведь каждая из них имела свою историю и так или иначе была связана с Борисом.

Раиса Михайловна подошла к зеркалу, припудрила лицо и вышла на улицу. В квартире, где все напоминало о Борисе, ей не хватало воздуха. День был тихим и солнечным. С тополей летел пух, собираясь у фасадов зданий в белые, шевелящиеся от каждого дуновения кучки. Рядом с домом тарыхтела газонокосилка. Похмельного вида мужик, опустив вниз одутловатое красное лицо с узенькими заплывшими глазами, выкашивал траву на центральной улице города. На тротуаре, словно у деревенской околицы, хорошо пахло сырой свежескошенной травой.

Раиса Михайловна засмотрелась на газон и вздрогнула от неожиданного прикосновения к локтю чьей-то ладони. Она резко обернулась. Рядом с ней стоял Слава Казимирчук, ее бывший однокурсник, балагур и заводила всего факультета. Когда-то он был равнодушен к ней, да и сейчас при редких встречах каждый раз ощупывал ее с ног до головы цепким взглядом. Раиса Михайловна и к сорока двум годам сохранила стройную фигурку, постоянно следила за кожей и знала, что выглядит хорошо. Она постоянно ловила на себе не только взгляды мужчин, но и некоторых студентов. Но Слава всегда смотрел на нее особенными, полными плотоядного огня глазами. Раиса Михайловна знала, что он легко сходил с женщинами и так же легко уходил от них. Он уже женился третий раз, и каждая его новая жена была моложе предыдущей. Сейчас

Слава смотрел на Раису Михайловну таким взглядом, словно собирался сделать очередное предложение. Раиса Михайловна остановилась.

— Здравствуй, Рая, — произнес Слава с легким придыханием и, обхватив цепкими пальцами ее руку за запястье, поднес к губам. — Ты все хорошеешь... — Он снова окинул ее взглядом.

Сегодня у него даже интонация голоса была особенной. Можно было подумать, что он выиграл миллион или получил наследство за границей. Раиса Михайловна всегда была готова разделить чужую радость, но своим горем не умела делиться ни с кем. Она промолчала.

— Нет, я правду говорю, что ты хорошеешь, — Слава снова поцеловал ее руку. — Если ты идешь до университета, я провожу.

— У меня сегодня нет занятий, — сказала Раиса Михайловна, высвобождая руку. — На улицу вышла просто подышать...

— Борис снова в командировке? — спросил Слава, и по тону его вопроса она поняла, что он что-то знает.

— Да, — ответила Раиса Михайловна. — Улетел вчера во Владивосток.

— Один? — спросил Слава.

— Насколько я знаю, секретаршу с собой он не берет. — В Раисе Михайловне начинало закипать раздражение.

Но Слава не заметил этого. Он пристально посмотрел на нее и сказал:

— Он у тебя, по-моему, больше в командировках, чем дома.

Раиса Михайловна впервые за встречу подняла глаза на бывшего сокурсника. Слава был высоким розовощеким брюнетом с круглым лицом и аккуратным пробором на голове. Когда он смотрел на Раису Михайловну, его глаза масляно блестели. Он походил на хищника, предвкушавшего роскошный обед.

— Хочешь пригласить меня на товарищеский ужин? — спросила Раиса Михайловна, глядя ему в глаза.

Слава даже облизнулся, почувствовав, что у него сразу пересохла губы.

— Ты серьезно? — Слава не верил тому, что она сказала.

— Скучно стало жить, Слава. Работа и дом... Муж чисто номинально, только по записи в паспорте.

— Да слышал я... — Слава сделал скорбное лицо.

«Все слышали, все знают, одна я до сих пор жила, как дурочка, в полном неведении, — подумала Раиса Михайловна. — Конечно, можно было бы сейчас флиртануть со Славой и, как говорят спортсмены, сделать счет равным. А что дальше? А дальше общей жизни придет конец. Это только у французов муж и жена имеют любовников и остаются счастливыми. У нас такого не бывает». Она посмотрела на Славу, представила, как будет ложиться с ним в постель, и сразу стала противной самой себе.

— Скажи, Слава, почему женатые мужики ходят к чужим бабам? — Раиса Михайловна попыталась сделать невинное лицо и рассеянно улыбнуться.

— Ты спрашиваешь это в общем плане или по поводу какого-то конкретного случая? — Слава насторожился, подумав, что она лезет в его личную жизнь.

— Исключительно для расширения кругозора, — сказала Раиса Михайловна и, наконец-то, вымучила из себя улыбку.

Слава наморщил красивый лоб, помолчал несколько мгновений, потом сказал:

— К чужой бабе идут тогда, когда не хватает дома.

— А если хватает? — Раиса Михайловна открыто посмотрела в глаза Казимирчуку, давая понять, что ее интересует не конкретная, а философская суть вопроса.

— А если хватает?.. — Слава снова наморщил лоб. — Человеку всегда хочется разнообразия. Ведь не зря говорят, что даже белый хлеб приедается.

— Например, хочется помоложе?

— Конечно, — с готовностью ответил Казимирчук.

— Ну, тогда до свидания, — Раиса Михайловна повернулась и пошла вдоль свежескошенного газона.

— А как же на счет ужина? — бросил ей вслед Слава.

— Старая я для тебя уже, — оглянувшись, задержалась на мгновение Раиса Михайловна. — Ты, Слава, опоздал с приглашением лет на двадцать.

Она уже приняла решение. Теперь ей хотелось не философских, а совершенно конкретных ответов на свои вопросы. Раиса Михайловна решила во что бы то ни стало узнать имя соперницы, увидеть ее, узнать, почему Борис променял на эту женщину родную жену. Ведь они столько лет прожили с ним, можно сказать, душа в душу.

Сначала Раиса Михайловна хотела пойти в контору Бориса, где у нее была одна знакомая — Леля. В том, что та скажет ей правду, она не сомневалась. В прошлом году Раиса Михайловна помогла поступить в университет ее сыну. В следующем у Лели оканчивала школу дочь. Но, поразмышляв, она пришла к выводу, что светиться среди Бориных сотрудников ей не стоит. Да и Лелю она поставит в неудобное положение: сразу поймут, кто выдал подругу мужа. Раиса Михайловна вернулась домой и набрала Лелин телефон.

Леля узнала ее по голосу и сразу насторожилась: до сих пор они ни разу не звонили друг другу. Чтобы не бродить вокруг да около, Раиса Михайловна сказала без всяких околичностей:

— Я все знаю о делах Бориса. Не знаю только ее имени. Назови мне его. Я тебя не выдам.

— Люся, — произнесла Леля и положила трубку. Очевидно, рядом с ней находились люди, при которых вести дальше разговор было неудобно.

Раиса Михайловна сразу вспомнила, что три месяца назад Борис ездил в десятидневную командировку и тоже на Дальний Восток с заведующей отделом товарно-материальных ценностей. Имя этой женщины она не знала, но подумала, что ей должна быть именно Люся. Посидев несколько минут у молчаливо стоящего на тумбочке телефона, она машинально выдвинула ее верхний ящик и уперлась взглядом в список всех сотрудников фирмы Бориса. Она знала о нем и раньше, но когда Маргарита сообщила ей об измене мужа, из памяти вылетело все. Борис хранил этот список для того, чтобы при необходимости можно было в любое время связаться с сослуживцами.

Перескакивая с одной фамилии на другую, Раиса Михайловна нашла заведующую отделом товарно-материальных ценностей. Ей была Людмила Анатольевна Кандалинцева. Раиса Михайловна попыталась представить, как она выглядит, и не могла. Судя по платью, на которое заглядывался Борис в магазине, они с ней были примерно одинакового роста. Но все остальное оставалось тайной. И ей нестерпимо захотелось увидеть свою соперницу. Она сняла телефонную трубку и набрала номер Кандалинцевой. И почувствовала, как занемела рука на трубке, как гулко ударило сердце. А когда раздалась гудки, а потом негромкий хриловатый голос произнес: «Да. Я вас слушаю», — у нее затряслись руки. Только сейчас Раиса Михай-

ловна поняла, что все, о чем она сегодня узнала, реально, и ее благополучная семейная жизнь разлетается вдребезги. Надо было немедленно что-то предпринять, но она не знала что. Раиса Михайловна положила трубку, опустила руки на колени и устала в пол.

В голове снова стал настойчиво стучать один и тот же вопрос: «Почему? Почему он это сделал? Чем я перестала устраивать его?» Раиса Михайловна поднялась со стула, прошла к зеркалу, внимательно посмотрела на себя. Сорок два года, конечно, возраст, но, когда следишь за собой, он не бросается в глаза. Во всяком случае, никто из знакомых не дает ей столько. Да и сама она понимала, что выглядит моложе.

Раиса Михайловна провела пальцами по щекам, словно старалась разгладить невидимые морщины. У нее была хорошая, ухоженная кожа. На всем лице обозначилось лишь несколько морщинок — лучиков, расходящихся от уголков глаз. Их мог заметить только самый внимательный взгляд. Она раскрыла пудреницу, припудрила лицо, накрашила губы и, осторожно проведя по ним кончиком языка, еще раз посмотрела в зеркало. Потом решительно сняла телефонную трубку и набрала номер Кандалинцевой. Когда на другом конце телефонного провода раздался уже знакомый чуть хрипловатый голос, спросила нарочито жестко:

— Люся?

— Да, — ответили в трубке, и Раиса Михайловна почувствовала, что голос у Люси дрогнул. Она, по всей видимости, ждала этого звонка и боялась его одновременно.

— Это Раиса Михайловна. Мне надо с тобой встретиться.

— Но я сейчас не могу, — сдержанно ответила Люся.

— Можешь, милочка, можешь, — произнесла Раиса Михайловна все тем же жестким тоном. — Через двадцать минут я жду тебя у газетного киоска рядом с универмагом. Не осложняй себе жизнь.

— Что значит, не осложняй? — спросила Люся, начавшая приходить в себя.

— Об этом я тебе расскажу при встрече. Осложнения всегда опасней болезней.

Раиса Михайловна положила трубку и тут же набрала номер телефона Лели.

— Ты мне скажи только одну вещь, — не представляясь,

по-деловому коротко попросила Раиса Михайловна. — Она замужем?

— Да, — ответила Леля и Раиса Михайловна торопливо, боясь, что та положит трубку, спросила: — А дети у нее есть?

— Двое, — сказала Леля и в трубке снова раздались короткие гудки.

Раиса Михайловна почувствовала, что впервые за весь сегодняшний день ее начинает отпускать нервное напряжение. Больше всего она боялась, что соперница окажется одинокой или, хуже того, разведенной. Такая ради мужчины может пойти на все. И это вполне объяснимо. Жизнь одна, а счастлива женщина может быть только тогда, когда у нее складывается нормальная жизнь с мужчиной. Ворованным счастьем не дышишься.

Еще раз посмотрев на себя в зеркало, Раиса Михайловна повесила сумочку на плечо и решительно направилась к универмагу. Но чем ближе подходила к нему, тем больше ее одолевали сомнения. «А что, если она не придет? — задавала вопрос Раиса Михайловна, стараясь поставить себя на ее место. И тут же отвечала на него: — Я бы не пришла. Сказала бы: разбирайся со своим мужем сама». Когда она подходила к газетному киоску, то была уже твердо убеждена, что Люся здесь не появится. Но, к удивлению, соперница ждала ее, нервно переступая с ноги на ногу. Раиса Михайловна узнала ее по взгляду, каким она окидывала каждую женщину, проходящую мимо. Люся была стройненькая шатенка с красивыми длинными ногами. И вовсе уж не такая плоскогрудая, как ее расписала Маргарита.

Раиса Михайловна замедлила шаг, невольно сравнивая себя с Люсей. Та была чуть выше ростом в короткой юбке и простенькой кофточке. Раиса Михайловна же специально для встречи надела элегантное заграничное платье. И ей невольно подумалось, что, встав рядом, они будут выглядеть как хозяйка и ее горничная. Правда, короткая юбка, открывавшая длинные ноги, немного смутила. «Каждый выставляет напоказ то, чем может гордиться», — подумала Раиса Михайловна, с горечью осознавая, что время носить короткие юбки для нее уже отошло. Подойдя к Люсе вплотную, она, прищурившись, посмотрела на нее сквозь узкую прорезь век и сухо сказала:

— Здравствуйте. Я — Раиса Михайловна.



Люся бесцеремонно окинула ее взглядом с ног до головы и, пожав плечиком, произнесла:

— Здравствуйте.

Раиса Михайловна вдруг почувствовала, что у нее отнимается язык, а в душе образуется леденящая пустота. И сама встреча, и заранее продуманный разговор показались ей не только ненужными, но и постыдными. Было такое чувство, что она пришла к воровке отнимать украденное. Только сейчас она ощутила себя по-настоящему униженной. И не этой молодой, здоровой и, в общем-то, симпатичной женщиной с живыми темно-кариыми глазами, а собственным мужем. Он взял от нее все, что мог, и теперь выбросил как ненужную вещь. А сам переключился на другую, заново переживая молодость и ее страсти. Очевидно, так устроена жизнь, и с этим ничего не поделаешь, пришла к печальному для себя выводу Раиса Михайловна. Ей расхотелось разговаривать с Люсей, и она стояла, молча бросая взгляды то на ее лицо, на котором наравне с глазами выделялись сочные губы, то на ноги. Пауза затянулась, и Люся, прервав ее, нетерпеливо спросила:

— Ну, так что вы хотели мне сказать?

— Многое, — Раиса Михайловна оттянула ладонью ремешок сумочки, словно солдат ремень карабина. Оглянувшись по сторонам, кивнула в сторону летнего кафе, где под зонтиками было несколько свободных столиков: — Может, пройдем туда?

Люся молча шагнула в сторону кафе. Едва они уселись за столик, к ним тут же подошла официантка. Раиса Михайловна заказала себе чашку кофе, Люся — пепси-колу.

— Ну, так что вы мне хотели сказать? — повторила Люся, подождав, когда от столика отойдет официантка.

— Во-первых, вам надо перевезти к себе вещи Бориса, — Раиса Михайловна откинулась на спинку стула, почувствовав облегчение от произнесенной фразы. — Во-вторых, встретить его из командировки и, рассказав о нашем разговоре, забрать к себе.

— Как забрать? — спросила Люся, в глазах которой промелькнула тревога.

— Самым обыкновенным образом. — Раиса Михайловна положила ладонь на стол и постучала по нему пальцами. — У вас с ним любовь, мне такой муж не нужен.

— Но ведь я замужем, — дрогнувшим голосом произнесла

Люся. — И потом, при чем тут любовь. О какой любви вы говорите?

— О вашей с Борисом, — развела руки Раиса Михайловна. — О какой же еще?

— Вы что, серьезно? — удивилась Люся. — Вы думаете, мне нужны его вещи?

— Я не о вас забочусь, о нем. Если вы не заберете, я сама привезу их вам на квартиру завтра утром.

Люся втянула голову в плечи и опустила глаза. Раиса Михайловна ждала ее ответа, но та молчала.

— Как же так, милочка, — вкладывая в слова как можно больше сарказма, произнесла Раиса Михайловна. — Спать с мужчиной вы можете, а забрать его к себе не хотите. Или боитесь, что он вам тоже изменит?

Люся подняла на нее глаза, несколько мгновений молча рассматривала лицо, словно выискивая на нем изъяны, потом спросила:

— Вы знаете мужика, который не изменял своей жене?

— Я знаю, что я ни разу не изменяла своему мужу.

— И вы считаете это достоинством? — спросила Люся.

— При чем тут достоинство? В отличие от животных, человек делает это по любви.

— Ну, вот видите, — тяжело вздохнула Люся, открыла сумочку и достала оттуда сигарету. — А у меня жизнь сложилась по-другому.

Она сунула сигарету в рот, чиркнула зажигалкой и, выпустив дым, замахала ладонью, разгоняя его. Раиса Михайловна сморщилась. Женщин, которые открыто курят в общественных местах, она считала вульгарными.

— У вас никогда не было желания досадить мужу? — спросила Люся, снова затягиваясь сигаретой.

— Нет, — качнула головой Раиса Михайловна.

— А если он изменяет на каждом шагу?

— Как, например, сейчас? — Раиса Михайловна подняла глаза на Люсю.

— Допустим... — Люся опять затянулась и пальцем стряхнула пепел с сигареты на пол.

— Если бы случилось, как вы говорите, досадить, я бы, наверное, содрала с себя кожу, — сказала Раиса Михайловна. — Ведь просто так после этого не отмыться.



— А я вот решила платить мужу его же монетой, — нервно рассмеялась Люся.

Этот смешок показался Раисе Михайловне натянутым и вульгарным. Она рассчитывала увидеть перед собой серьезную женщину, у которой завязалась с Борисом большая любовь. Ведь у нее муж и двое детей. В этих условиях решиться на связь с другим мужчиной не так-то просто. Здесь нужна очень серьезная причина. А на поверку все вышло до элементарного примитивно. Перед ней сидела обыкновенная шлюха, путешествия которой из одной постели в другую рано или поздно закончатся венерической болезнью и распадом семьи. «Почему же тогда эта циничная женщина согласилась на встречу со мной? — подумала Раиса Михайловна. — Ведь в ее голосе, когда мы разговаривали по телефону, звучал даже испуг». Раиса Михайловна окинула ее внимательным взглядом. Люся сидела спокойно, чуть вальяжно откинувшись на спинку стула, но в ее глазах застыло немое напряженное ожидание. Она готовилась к выпадку соперницы и, по всей видимости, тщательно продумала защиту.

— Скажите, вы когда-нибудь любили своего мужа? — спросила Раиса Михайловна.

— Почему вас это интересует? — Люся подняла на нее глаза и загасила сигарету.

— Хочу знать, почему изменяют человеку, которого любят.

— Это очень некрасиво — копаться в чужой жизни, — сказала Люся, выпрямившись и забарабанив пальцами по столу.

— Но вы же влезли в жизнь чужой семьи и, как я понимаю, никакая совесть вас не мучает.

— Вы пришли только за тем, чтобы сказать мне это? — спросила Люся, в голосе которой послышалась решительность.

— Нет, — твердо ответила Раиса Михайловна. — Я делаю вашего мужа. Очень симпатичный человек. Мне он понравился.

Раиса Михайловна лгала, но считала эту ложь святой. Она была убеждена, что границы поведения между мужчиной и женщиной всегда определяет женщина. Мужчина делает лишь то, что она ему позволяет. Так случилось, когда Люсин муж впервые изменил ей. Так происходит, когда сама Люся встречается с другими мужчинами.

— Ваш муж знает, что вы изменяете ему? — спросила Раиса

Михайловна и сразу почувствовала, что попала в самую болевую точку. Люся вздрогнула и начала нервно шарить в сумочке, доставая новую сигарету. — Разговаривать со мной о своих похождениях вы считаете нормальным, — продолжала наносить удары Раиса Михайловна. — А вот посвятить в них мужа не желаете. Отношения в семье должны основываться на взаимной откровенности.

— Вы не сделаете этого, — резко произнесла Люся. — Не скажете моему мужу.

— Почему же? — удивилась Раиса Михайловна. — Если я знаю все о похождениях Бориса, почему же ваш муж не должен знать о ваших амурных делах?

— Но ведь у нас двое детей, — губы Люси скривились, она была готова вот-вот заплакать.

— Вы узнали об этом только сейчас? — желчно спросила Раиса Михайловна.

— Умоляю вас, не говорите мужу, — взмолилась Люся. — Я сделаю все, что вы хотите.

— Я уже ничего не хочу, — сказала Раиса Михайловна, поднялась из-за столика и, не оглянувшись, направилась домой.

Люся кинулась за ней, но ее остановила официантка.

— А кто будет платить за кофе и пепси-колу? — спросила она, грудью перегораживая дорогу.

Люся достала из сумочки деньги, бросила их на стол и побежала за Раисой Михайловной.

— Ведь вы не скажете ничего Володе? — сказала она, догнав ее и схватив за руку.

— Уберите руку, — жестко произнесла Раиса Михайловна. — Вы мне противны. — Она остановилась и добавила: — Когда принимали подарки от Бориса, о муже не думали.

Люся опустила руку и Раиса Михайловна, одернув рукав платья, торопливым шагом направилась домой. В эту ночь она почти не уснула. Сначала думала о том, какую месть устроить Люсе. Раньше можно было пожаловаться в партийную или профсоюзную организацию, написать заявление в товарищеский суд. Сейчас ни партии, ни профсоюзов, ни товарищеских судов не осталось. Да если бы они и были, жаловаться на мужа она считала унижительным для самой себя. Семья — это союз двух людей и все проблемы должны решать они сами. В беде, пришедшей в их дом, она винила не только Бориса, но и себя.



Если он начал ходить к другой, значит что-то не стало устраивать в жене. Раиса Михайловна лежала с открытыми глазами, смотрела на белеющий в темноте потолок и анализировала свое поведение в последние месяцы, стараясь найти ту роковую ошибку, которая взорвала их спокойную и, казалось бы, вполне благополучную семейную жизнь. Никакой явной ошибки она не находила. Ни ссор, ни даже недомолвок с Борисом не было, он вел себя, как всегда, предупредительно, хотя некоторые его жесты внимания сегодня казались ей казенными.

Во всем виновата Люся. Теперь Раиса Михайловна была твердо убеждена в том, что она легла в постель с Борисом во время их совместной командировки. Десять дней прожить без жены для мужика, находящегося в полной силе, нетрудно, если он один. А если перед ним постоянно крутится молодая смазливая бабенка, которая к тому же все время демонстративно оголяет свои колени, он может и не выдержать.

Сделав такой вывод, Раиса Михайловна загорелась еще большей местью к Люсе. «Хорошо бы подговорить кого-нибудь, чтобы он пристукнул ее, когда она придет на свидание к Борису», — злорадно подумала Раиса Михайловна. Но ей тут же стало жалко Люсиных детей. И она решила, что было бы вполне достаточно просто поколотить соперницу.

Сон пришел к Раисе Михайловне лишь под утро. Да и сном это назвать было нельзя, скорее всего, мучительное забытие. Она встала с тяжелой головой, не надевая халата, в ночной сорочке, пошла в ванную, перед тем как умыться, долго и внимательно рассматривала себя в зеркале. Собственное лицо показалось ей постаревшим, взгляд тусклым и безразличным, под глазами появились круги. Никакой мести Люсе она не придумала. Единственное, на что решилась: рассказать все ее мужу. Если он выгонит Люсю из дома, так ей и надо — пусть не разбивает чужие семьи.

Выпив вместо завтрака чашку кофе без сахара, Раиса Михайловна села к телефонному столику и стала размышлять, как легче всего выйти на Люсиного мужа. Надо было выяснить, где он работает, позвонить ему и назначить встречу. А потом спросить, сколько он берет с Бориса за аренду жены. Сейчас ведь бесплатно ничего не делается. И чьих детей воспитывает? Раисе Михайловне хотелось досадить не только Люсе, но и ее мужу. Она уже протянула руку, чтобы набрать номер Лели, ко-

торая наверняка знает, где работает Люсин муж, но в это время телефон зазвонил сам. Раиса Михайловна сняла трубку и сразу услышала уже знакомый, чуть хрипловатый голос Люси.

— Мне надо немедленно встретиться с вами, — сказала она.

— По-моему, мы уже все выяснили, — чуть помедлив, ответила Раиса Михайловна.

— Скажите мне адрес, я сейчас приду.

Раиса Михайловна не поняла сама, почему назвала адрес. Никакого желания встречаться с Люсей у нее не было. Мало того, ей было противно ее видеть, прикасаться после ее ухода к тем вещам, которых касалась она. Словно Люся могла принести с собой в квартиру кусочек Содома и Гоморры.

Раиса Михайловна поднялась с кресла, прошла в спальню и переделалась. Как бы плохо она ни относилась к Люсе, ей не хотелось выглядеть перед соперницей неприбранной. Это бы показывало ее слабость. Она надела черную юбку и элегантную белую кофточку, поправила перед зеркалом прическу. Затем достала из коробки итальянские босоножки, которые купила несколько дней назад. Деньги на них ей дал Борис. Она была настолько спокойной, что не задавалась даже вопросом, зачем напросилась на встречу Люся.

Та позвонила осторожно, негромким коротким звонком, но когда переступила порог, Раиса Михайловна сразу заметила, что Люся нервничает. Она постоянно переключивала из одной руки в другую полиэтиленовый пакет, словно старалась прикрыть им выглядывавшие из-под короткой юбки голые колени. Раиса Михайловна не хотела приглашать ее дальше коридора, но, увидев перед собой разнервничавшуюся соперницу, сказала, преодолевая себя:

— Пройдемте в комнату. Чего уж тут стоять.

Они сели за журнальный столик друг против друга. Люся положила на него пакет и, окинув комнату быстрым взглядом, сунула руку в сумочку, доставая сигареты.

— У нас не курят, — холодно сказала Раиса Михайловна, положив руки на подлокотники кресла.

Люся вытащила пачку, покрутила ее в ладони и снова положила в сумочку.

— Я, собственно, пришла к вам, чтобы договориться, — она пододвинула пакет на край столика. — Вот платье, которое по-



дарил мне Борис. Там еще кое-что из его подарков.

Раиса Михайловна машинально отпрянула назад, боясь, что пакет заденет ее руку. Люся смотрела на нее с молчаливым напряжением.

— Зачем вы принесли это? — спросила Раиса Михайловна, никак не ожидавшая такого поворота событий.

— Я хочу, чтобы мы разошлись безо всякого скандала, — произнесла Люся. — Я вам возвращаю Бориса и все, что он мне подарил, вы ничего не говорите моему мужу. Зачем делать несчастной еще одну семью?

— А разве она сейчас счастлива? — спросила Раиса Михайловна.

— Не я первой начала такую жизнь, — Люся щелкнула замком, открыв и снова закрыв сумочку. — Когда я первый раз узнала об измене мужа, хотела залезть в петлю. А потом сказала сама себе: «Очнись и пой! Если он наставляет тебе рога, почему не наставишь ему ты. Око за око, зуб за зуб».

— Ну и много зубов вы уже обломали? — не скрывая ехидства, усмехнулась Раиса Михайловна.

— Если бы счастье было только в этом... — понурила голову Люся.

— Вот именно, — Раисе Михайловне впервые стало жаль соперницу. Изменит и трясется, как бы не узнал об этом муж. Настоящая жизнь невозможна без настоящей любви.

— Это все, что вы хотели мне сказать? — спросила Люся, бросая на Раису Михайловну быстрый взгляд.

— Возьмите с собой свое барахло, — Раиса Михайловна кивнула на пакет. — Я ничего не скажу вашему мужу только при одном условии: если вы еще до приезда Бориса уволитесь с работы. И, разумеется, никогда больше не будете встречаться с ним.

Люся помедлила, что-то прикидывая в уме, и тихо произнесла:

— Я согласна...

Потом резко встала и направилась к двери. Раиса Михайловна не пошла ее провожать, она услышала, как хлопнула в коридоре дверь. Пакет с вещами остался на столике. Раиса Михайловна посмотрела на него, но не почувствовала облегчения. Через два дня из командировки приезжает Борис, надо решать, что делать с ним.

Она взяла с комода свою сумочку и отправилась на улицу. В квартире ее душила вся обстановка, особенно пакет, к которому она так и не решилась притронуться. По тротуару только что прошла поливальная машина, он мокро блестел, горячий воздух отдавал вымученной прохладой. Тополиный пух кружился над головами и, оседая на асфальт, превращался в белую кашицу. Недалеко звонили колокола церкви, и это отвлекало Раису Михайловну от главной мысли. Она не знала, как поступить с Борисом. Если молча проглотить измену, значит перестать уважать саму себя, свое женское достоинство. Если дать волю чувствам и устроить настоящий скандал, это может привести к разводу. Она была не готова к нему. Ситуация почти тупиковая... Она задумчиво шла по тротуару с опущенной головой и вдруг увидела выросшую перед собой фигуру и тут же услышала радостный возглас:

— Рая!

Она подняла глаза, перед ней стоял улыбающийся Слава Казимирчук. Он взял в руку ее ладонь, поднес к губам и поцеловал. Раиса Михайловна ощутила на руке колючую щетину усов и мокрые губы. Глаза Казимирчука сияли, как у кота при виде сидящей пред ним мыши.

— Сама судьба сводит нас раз за разом, — сказал Слава и потянул Раису Михайловну на себя, пытаясь прижать ее к груди. Она не отстранилась, прижавшись грудью к его рубашке. Он обнял ее за плечо и, наклонившись к уху, вполголоса произнес: — Пойдем, выпьем чего-нибудь холодненького? — Через дорогу от церкви, около которой они стояли, виднелись синие зонтики летнего кафе.

— Я уже выпила, — ответила Раиса Михайловна.

— Ты не хочешь фужер хорошего вина? Мы же не сидели с тобой в кафешке тысячу лет.

Он смотрел на нее такими преданными глазами, с такой лаской, какую Раиса Михайловна уже давно не чувствовала по отношению к себе со стороны мужчин. Ей вдруг стало приятно быть прижатой к большому и сильному телу Казимирчука, ощущать на плече его крепкую руку. «Очнись и пей!» — почему-то вспомнились ей слова Люси. А колокола, между тем, звонили и звонили, не давая мыслям собраться воедино.

— Ну что, пойдем? — спросил Казимирчук, снова прижимая ее к себе. Он уже почувствовал будоражащий запах близкой добычи.



Но Раиса Михайловна вдруг неожиданно выскользнула из его объятий и, не поднимая головы, сказала:

— Извини, Слава. Но я ведь собралась в церковь. Как-нибудь в следующий раз.

Она торопливо шагнула на ступеньки храма и юркнула в открытую дверь. В храме шла служба, но народу было немного. Священник читал молитву, из-под самого свода раздавались чистые и звонкие голоса церковного хора. Перед алтарем у икон горели свечи, пахло воском и ладаном. Раиса Михайловна не вслушивалась в слова молитвы, в церкви она оказалась первый раз в жизни. Если бы не возникла необходимость избавиться от Казимирчука, она бы никогда не зашла сюда. Но сейчас с любопытством смотрела и на священника в длинной черной рясе с тяжелым крестом на груди, и на спокойное ровное пламя тонких свечей, роняющих желтоватый отблеск на божественный лик иконы. Она почувствовала, что начинает успокаиваться. Она заметила, что и у людей, стоящих около священника и время от времени осеняющих себя крестом, лица были сосредоточенными и спокойными. Словно все страсти жизни остались за стенами храма, а здесь можно было думать только о вечном. Но мысли ее все равно вернулись к Борису. «Отдам ему пакет, — подумала она и скажу, что тот, кто его передал, просил больше не беспокоить. А там посмотрим».

Она снова взгляделась в ровное, немигающее пламя свечей и, заканчивая мысль, произнесла про себя: «А в спальню его не пущу до тех пор, пока не поклянется Богом, что этого не повторится».

СЫНОВНИЙ ПОКЛОН

Поезд стоял на станции всего две минуты. Павел едва успел спрыгнуть с подножки вагона и снять на землю сына, как заскрипели тормоза, и состав тронулся. Павел улыбнулся и помахал рукой проводнице, которая так любезно угощала их всю дорогу отменным чаем. Она тоже улыбнулась и помахала им рукой.

Стоя на перроне, Павел несколько секунд смотрел на то, как удаляется поезд, потом закинул на плечо дорожную сумку, взял за руку сына и пошел с ним на привокзальную площадь. Был одиннадцатый час утра. Августовское солнце уже согрело землю и в пыли около водокачки купались воробьи. Павел остановился, глядя на них. Сколько же лет он не был на этой площади? Пожалуй, пятнадцать. Не пожалуй, а точно. Пятнадцать лет назад он был в своей деревне Руднево последний раз. Приезжал сюда после института с Таней. Матери очень не понравилось, что они еще не расписались, а уже приехали как муж и жена и поселились в одной комнате. Вслух она ничего не сказала, но Таня шестым чувством поняла, что мать Павла не одобряет их поведения.

С тех пор ни Павел, ни Таня в Руднево не были. По приезде в Москву они расписались, а вскоре Павла послали на работу за границу. Сначала они несколько лет жили в Польше, потом на короткое время вернулись в Москву, и тогда к ним приехала мать Павла. Было это семь лет назад. Она сильно постарела и осунулась, даже голос изменился. Стал глухим и натужным, будто каждое слово давалось ей с трудом.

Таня привезла свекрови много подарков, начиная от белья и кончая скатертями и красивым чайным сервизом. Но и они не обрадовали мать.

— С кем мне чай-то теперь пить, сынок? Одна ведь, — тихо сказала мать и, опустив голову, начала тереть полу шерстяной кофточки, в которой приехала. Эту кофточку Павел помнил столько же, сколько себя. Мать надевала ее только по праздникам. — Валя Ефимова забежит иногда на минутку. А так и не заходит никто. Да и она сейчас тоже не заходит. Она ведь второй раз замуж вышла, за учителя. Колька-то ее пил страшно. Да еще по пьяному делу бить принимался. Она теперь второго ждет, от учителя. Мальчонке-то ейному от Кольки уж шесть.

Мать посмотрела на округлившийся Танин живот и добави-



ла, виновато улыбнувшись:

— Бог даст, и я доживу до внучат. У моих подружек давно внуки, а мне и поводиться не с кем.

Тане вдруг стало жаль свекровь, она подошла к ней, обняла за плечо и ласково сказала:

— И у вас все будет хорошо. Мы к вам обязательно приедем.

А Павлу вспомнилась тоненькая, угловатая, большеглазая Валя Ефимова, его одноклассница, жившая на соседней улице. Павел знал, что она не равнодушна к нему. Однажды на школьном вечере, посвященном творчеству Есенина, Валя должна была вручать цветы победителям литературного конкурса. Павел любил поэзию и хорошо декламировал. Цветы он заслужил по праву. Но когда Валя отдавала букет, она попыталась поцеловать Павла в щеку прямо на сцене. Ученики многозначительно захихикали, а учительница литературы Тамара Федоровна сначала потеряла дар речи, потом, заикаясь, сказала директору:

— Мы этого не репетировали. Это самая настоящая самодеятельность!

Валя же вручила цветы и, гордо подняв голову, величественно прошла на свое место и села, как будто ничего не случилось. А на следующий день, увидев, что мать Павла сажает картошку одна, перелезла через плетень огорода и стала помогать ей.

Таня принесла чай, достала из холодильника клубничное варенье, привезенное из деревни свекровью, и пригласила к столу. Мать налила чай в блюдце, отхлебнула и, поставив блюдце на стол, спросила:

— Отвыкли, поди, от нашенского-то? Там ведь и ягода, наверно, другая.

Павел посмотрел на мать, похудевшую, с узенькими, почти девчоночьими плечами, с тонкими, сухими руками, постоянно не находящими себе места, и вдруг ощутил к ней острое чувство жалости. Ей выпала трудная жизнь. Через два месяца после того, как вышла замуж, началась война. Когда родился Павел, отца уже не было, его убили в августе сорок первого. С тех пор они жили с матерью вдвоем. Но Павел ни разу не почувствовал себя сиротой. Мать всегда была рядом. И когда он сказал ей, что решил поступать не в сельскохозяйственный,

как хотела она, а в институт международных отношений, мать лишь на мгновение опустила голову, а потом, легко вздохнув, произнесла:

— Главное, выучишься, сынок. Мне-то учиться не довелось. — Но, все-таки, не выдержала и добавила: — А Валя Ефимова в сельскохозяйственный решила поехать.

Павел до сих пор не мог понять, откуда у матери, всю жизнь проработавшей в колхозе, было столько такта и самой тонкой дипломатии. Она сразу поняла, что если сыну удастся поступить в институт международных отношений, он уже никогда не вернется к ней. И вместо того, чтобы нянчить внуков, как это должно быть у каждой нормальной женщины, ей придется доживать свои последние годы в одиночестве. Она, очевидно, мечтала о том, чтобы Павел женился на Вале, которая ей очень нравилась, чтобы они вместе закончили сельхозинститут и вернулись в родную деревню. Поэтому и сказала ему про Валю. Но, поняв, что Павел решил сделать по-своему, больше уже не возвращалась к этому.

В тот приезд Павел видел мать последний раз. На следующий год его снова направили в командировку, на этот раз по другую сторону океана, и в отпуск он приехал только через два года. Матери уже не было. Почта для совслужащих, работающих за рубежом, ходит по особому расписанию, и о смерти матери он узнал через два месяца после похорон. Написала Валя Ефимова. В письме, направленном на посольство, было всего несколько строчек о том, что мать умерла от рака и что похоронили ее на деревенском кладбище.

Но и в отпуске, когда Павел с Таней и двухлетним сыном на короткое время оказались в Москве, ему не удалось съездить в деревню. Неожиданно тяжело заболел сын. Ему требовались и лекарства, и постоянный уход врачей. Оставлять его в таком состоянии вдвоем с Таней он не решился. До Алтая, где находилась родная деревня, было слишком далеко. А когда выздоровел сын, нужно было возвращаться к месту работы.

На могилу матери он собрался только теперь, после окончания заграничной командировки. Хотел поехать всей семьей, но жена неожиданно заупрямилась.

— Ну, подумай, — сказала она, — у нас же там никого нет, даже остановиться негде. И потом, у нас ведь путевки в Крым. Да и в Москве столько дел. Не обижайся, я очень уважала твою



маму. Но чем мы можем помочь ей сейчас?

Павел с удивлением посмотрел на жену. Перед ним словно была не Таня, с которой он прожил пятнадцать лет, а совершенно чужой человек. Он уже несколько лет почти каждый день видел свою деревню во сне. Он видел себя маленьким мальчиком, все время почему-то бегущим на взгорок и замирающим на его вершине от непонятного чувства. Со взгорка открывался вид на синие сопки, покрытые темной пихтовой тайгой, над которыми, блестя в лучах солнца голой каменной вершиной, словно исполин, возвышалась гора Синюха. Она манила к себе своей недоступностью и суровой, сдержанной красотой. Сколько помнит себя Павел, столько помнит он и Синюху. В ясный день она казалась совсем рядом, хотя, как говорили, до нее было не меньше тридцати километров. Он так и не побывал на ней ни разу. Все не хватало времени. Зимой учился, летом работал в колхозе.

В последнее время ему все чаще стала сниться мать. Чем больше он думал о ней, тем больше ощущал к ней жалость, сдавливавшую грудь. Иногда он начинал чувствовать ее молистые, иссеченные работой руки, словно она прикасалась ими к его щекам, видел ее огрубевшее, продубленное солнцем и ветром лицо. Но глаза матери, сколько он их помнит, всегда были добрыми и веселыми. А вечером, когда они садились ужинать, у нее всегда было особое настроение. Ужинали они, не торопясь, и мать рассказывала Павлу о том, что произошло у них днем на работе. У кого из доярок вчера напился муж, кто купил себе обновку, кому бригадир не записал трудовень, и какой скандал из этого вышел. Павел всегда был в курсе всех ее дел. Вспоминая мать, он начинал ловить себя на мысли, что это были особые мгновения его жизни, пережить которые после этого ему уже не удавалось. У них в доме была своя неповторимая душевная атмосфера. Она воцарялась там, как только мать переступала порог. Он лишь сейчас понял, что означала она для него. Всякий раз, когда Павел просыпался с думой о ней, у него до боли сжималось сердце. Почему же мы начинаем жалеть людей после того, как их уже нет, думал он? Что же это за жизнь, и кто ее так устроил? И Павел дал себе слово сразу же, как только приедет в Москву, отправится на Алтай, на могилу матери.

Каприз жены его не расстроил. Пусть поступает, как хочет,

решил Павел, а мы летаем к матери вместе с сыном. Он во что бы то ни стало решил взять сына с собой, показать ему деревню, где родился и вырос, могилу бабушки. Таня категорически запротестовала.

— Что хочешь делай, — сказала она, — а Вовку я с тобой не пущу.

Она думала, что Павел будет сердиться, обвинять ее в черствости, неуважении к памяти близких, но вместо этого он мягко сказал:

— У меня есть разумное предложение. У нас в Москве много дел. Заканчивай их и лети в Крым. А мы с Вовкой прилетим туда из Барнаула. За нас не беспокойся, в родной стране не потеряемся.

— Я понимаю, что тебе надо слетать туда. Это, в конце концов, твой долг, — не сдавалась она. — Но зачем брать с собой сына, ведь ему всего шесть лет.

— Не знаю, поймешь ты меня или нет, — сказал Павел. — Последний год я жил только мечтой о встрече с родной деревней. Я хочу, чтобы сын тоже знал ее. Когда-нибудь он поймет, зачем я возил его туда.

— Я всегда говорила, что ты ненормальный, — сказала Таня, и Павел понял, что она сдалась.

Держа сына за руку, он вышел с ним на привокзальную площадь. Воробьи поднялись с земли и уселись на заборе. Павел хотел узнать, ходят ли от станции до Руднево автобусы, но здесь не было даже знака автобусной остановки. Мимо шел пожилой мужчина в железнодорожной форме, и Павел спросил у него, как лучше добраться до деревни Руднево.

— А вы идите к элеватору, — посоветовал он. — Там можете встретить рудневскую машину. Автобусы ходят от нас только до Куры.

Павел поблагодарил и, не отпуская руку сына, пошел в ту сторону, куда указал железнодорожник. Им повезло. Первая же машина, которую они остановили, оказалась рудневской. Шофер, молодой парень, даже обрадовался, что у него будут попутчики.

— К кому едете-то? — спросил он, когда Павел с сыном уселись в просторной кабине «ЗИЛа».

— Родился я там, — сказал Павел. — Курашов моя фамилия, может, слышал?

— Так вы сын тетки Катерины? — Спросил шофер. — Вы



что, из-за границы приехали?

— Приехал, — ответил Павел и погладил сына по голове. Его обрадовало, что там до сих пор не забыли Курашовых.

Шофер замолчал. Машина миновала последнюю улицу станции и выехала на дорогу, ведущую в Курью, — небольшой районный центр, от которого до Руднево еще километров соток. По обе стороны дороги стояли поля поспевающей пшеницы. В некоторых местах ее уже начали косить. И тогда в кабину врывался особый запах скошенного хлеба, от которого у Павла начинало учащенно стучать сердце, и слегка кружилась голова.

Он видел, как выращивают хлеб во многих странах. Ему вспомнились узенькие, словно лоскуты, полоски пшеницы и ржи крестьян-единоличников в Польше, холмистые поля вперемежку с оливковыми рощами, принадлежащие помещикам Испании, и почти такие же, как возле здешней дороги, поля фермеров Канады. Но никогда еще от их вида не подкатывал ком к горлу и не приходилось так сдерживаться, чтобы на глазах не выступили слезы. Сын неосознанно уловил, что с отцом что-то происходит. Он привык видеть его решительным, даже твердым, всегда уверенным в себе, а сегодня отец был совершенно другим. Он словно растерялся. Мальчик тронул отца за рукав и, когда тот повернул голову, посмотрел ему в глаза.

— По этой дороге я уезжал в Москву, сынок, — сказал Павел дрогнувшим голосом. — И поля здесь были такими же. Смотри, сынок, и запоминай.

Мальчик кривил головой и не понимал, что интересного здесь можно увидеть. А Павел в который раз задавал себе вопрос: так что же такое родина, и почему человека неотвратимо тянет к ней? Чем объяснить эту невыразимую тоску по деревне, где вырос, по маленькой речушке, в которой купался посреди летнего дня? Ведь, если говорить объективно, в мире есть много мест, куда более прекрасных и памятных. Ему вдруг вспомнился ночной Мадрид, вереница маленьких ресторанчиков, расположенных в средневековых подвалах в центре города, где человека не покидает ощущение праздника. У него была хорошая поездка в Испанию. И Мадрид, и Толедо с маленьким, но прекрасным музеем Эль Греко и старинной крепостью на холме на окраине города очаровали его. Разве можно сравнить их с его деревней? Об этом даже смешно говорить. «Так что же такое родина», — снова задал он себе вопрос, но ответить не

него не успел, его опередил шофер.

— А мать вашу мы хоронили всей деревней, — сказал он. — Знали, что вы не приедете, не успеете. Только вот не знаю, почему она попросила, чтобы ей на могиле поставили крест. Была, вроде, неверующая, а лежать захотела под крестом. Да вы увидите, мы мимо проезжать будем.

У Павла опустилось сердце. «Что же мне сделать, чтобы ты простила меня, — обратился он к матери. — Ведь не виноват я, что не был с тобой в твои самые горькие минуты, и тебе всю страшную тяжесть последнего прощания пришлось переносить одной в холодной постели. Прости меня, мать», — взмолился он и в изнеможении откинулся на спинку сиденья.

— Вам плохо? — испуганно спросил шофер и притормозил машину.

— Нет, езжай, все в порядке, — ответил Павел, натянуто улыбнувшись.

И только тут он понял, зачем взял с собой сына. Мать очень хотела внука, но увидеть ей его не удалось. Пусть посмотрит на него оттуда, если это возможно, подумал Павел. Внук тоже едет поклониться ей.

Как проехали Курью и еще какое-то село, Павел не заметил. Он очнулся от возгласа сына, когда тот, толкая его в колено и протягивая вперед руку, почти закричал:

— Папа, посмотри, какая красивая гора!

И тут Павел увидел Синюху, возвышавшуюся над сопками своей каменной вершиной, и не осознал, а скорее ощутил, что сейчас за взгорком откроется Руднево. Он хотел ответить сыну, рассказать ему о Синюхе, но шофер притормозил машину и произнес:

— Вот наше кладбище. А вон и могила. У нас с той поры только двое умерли.

— Остановись! — требовательно попросил Павел.

— Может, сначала в деревню заедем? Пообедали бы. У нас в доме много места, можете остановиться, потом бы я вас сюда привез.

— Остановись! — попросил Павел, прижимая руку к сердцу, и шофер затормозил машину.

Павел открыл дверцу, вылез из машины и помог сыну спуститься на землю.

— Вон ее могила с красным крестом, — показал шофер ру-



кой на край кладбища и, подождав пока они сойдут на обочину, тронулся с места.

Кладбище было на склоне пригорка, недалеко от дороги. На вершине пригорка, обдуваемого со всех сторон ветром, росли низкорослые ромашки, торчали пучки белого, развевающегося на ветру ковыля, у большого, вылезшего из земли камня были разбросаны зеленые розетки заячьей капусты. Внизу, под пригорком, метрах в семистах от кладбища, начиналась деревня, вытянувшаяся двумя улицами вдоль небольшой речки. Сразу за деревней желтели поля, расположенные на склонах холмов, а дальше, за полями, синели сопки, покрытые лесом.

Медленно, неуверенными шагами подошел Павел к могиле. Под перекрестьем креста блестела металлическая табличка, на которой было написано: «Курашова Екатерина Андреевна» и стояли две даты — рождения и смерти.

— Вот и приехали мы с тобой, сынок, на могилу бабушки, — произнес Павел и почувствовал, что у него запершило в горле.

Он вдруг окончательно понял, что ниточка жизни, тянувшаяся к нему от матери, оборвалась навсегда. Теперь ему уже не услышать ее голоса, не ощутить прикосновения ее ладоней. Он так ждал встречи с ней! Не раз представлял, как придет в родную деревню, подсядет к матери на лавку в низенькой кухоньке своего дома, обнимет ее за плечи и, наклонившись, тихо попросит:

— Расскажи, как ты здесь жила.

Он знал, что мать мечтала пожить вместе с внуком. Увидев Таню беременной, она сказала:

— Оставьте мне внука, когда поедете за границу. — И, словно убоившись своей просьбы, добавила: — хотя бы на год.

И Павел понял, что ее страшно тяготит одиночество.

С холма к деревне, поднимая за собой шлейф пыли, спустилась легковая машина. Павел не обратил внимания ни на нее, ни на то, что она затормозила у кладбища и из нее вышла стройная женщина в джинсах и серой матерчатой курточке. Он был так занят своими мыслями, что заметил ее лишь тогда, когда она вплотную подошла к ним. На какое-то мгновение Павел замер, глядя на женщину, потом спросил, словно, не веря себе:

— Валя?

— Приехал все-таки, — выдохнула она и, поймав его взгляд, добавила: — Я знала, что ты сюда обязательно приедешь.

Валя сильно изменилась с тех пор, когда Павел видел ее последний раз. Это была не та угловатая девочка, которую он помнил, а уверенная в себе, элегантная современная женщина. От прежней юношеской порывистости в ней не осталось и следа. У этой, по сути, незнакомой ему женщины, был мягкий, немного ироничный взгляд и подчеркнутое чувство собственного достоинства. И все же Павел уловил в ней некоторые черты прежней Вали. Те же слегка припухлые, чуть-чуть приоткрытые губы, тот же небольшой поворот головы вправо, когда она внимательно смотрела на кого-нибудь. Он удивился и обрадовался этому открытию.

— Я знала, что приедешь, — повторила Валя и повернулась к Вовке.

— Это мой сын, — произнес Павел.

— Я поняла, — сказала она.

Несколько мгновений они стояли молча, не зная, о чем говорить дальше, затем Валя предложила:

— Поедем к нам. Все равно тебе негде остановиться. Дом ваш сломали, на его месте поставили новый. Там сейчас живут Каманины. Может, помнишь?

— Забыл уже, — сознавая свою неловкость, признался Павел.

Они постояли еще немного у могилы, потом медленно пошли к машине. Зеленый, потрепанный «москвич», как верный конь, стоял у обочины. Валя села за руль и, открыв дверку, предложила:

— Садись рядом.

Усадив сына сзади, Павел сел рядом с ней.

— Я из Курьи еду, — сказала она. — Вижу, на кладбище у могилы тети Катерины стоит какой-то мужчина с ребенком. Меня словно обожгло. Сразу подумала, что ты. — Валя замолкла на мгновение и добавила: — Я на ее могиле часто бываю.

Павел опустил голову. Что он мог ответить ей? Да и есть ли слова, которые бы могли выразить боль по ушедшей матери?

Он снова скосил глаза на Валу. Ее руки непринужденно, даже элегантно лежали на руле управления. Павел профессионально отметил это про себя и еще он отметил, что у нее красивое лицо. Валя повернулась к нему, спросила:

— Ты, наверно, подумал, что эта машина моя? — И, не дожидаясь ответа, сказала: — Я ведь теперь главный агроном. Наши поля на лошади не объедешь. Кругом колхозы поуми-



рали, а у нас остался. А машину эту я добиваю. Выбрасывать жалко.

Они въехали на улицу, которую Павел не узнал. Так много на ней было новых домов. Валя остановила машину у дома с палисадником, в котором росли георгины. Красные, желтые, оранжевые и даже черные их головки тянулись к августовскому, уже начинающему остывать солнцу. Глядя на них, он вспомнил, что на могиле матери тоже лежали два черных георгина. Он как-то не обратил на них внимания там, на кладбище. Вернее, обратил, но это прошло мимо его сознания.

— Здесь я живу, — сказала Валя. — А цветы — моя слабость.

На крыльцо дома вышел высокий стройный мужчина с русыми усами. Павел догадался, что это был муж Вали. Он почему-то улыбался, и эта улыбка была такой простой и обескураживающей, что у Павла сразу отлегло от души. Откровенно говоря, его очень смущала эта встреча.

Подождав, пока Павел помог вылезти из машины сыну, Валя произнесла:

— Знакомся, Павел. Это мой муж Петр. Петя, это Павел Курашов, сын тети Катерины. Я встретила их на кладбище. Приехали сюда из Москвы.

Павел пожал руку новому знакомому, и тот, все так же улыбаясь, пригласил их в дом. Пока Валя накрывала на стол, Павел узнал, что Петр работает учителем в рудневской школе, преподает математику и физику.

— Как доехали-то? — спросил он и, не дожидаясь ответа, сказал: — Мы сохранили фотографии вашей матери. Валя принесла их домой после ее смерти. Та почему-то очень любила наших детей. И Катю, хотя ей было всего несколько месяцев, и Николая — сына Вали от первого брака.

И потому, как Петр произнес «наших детей», Павел понял, что он бесконечно дорожит Валею и что семья в его жизни означает многое. Петр хотел сказать что-то еще, но в это время распахнулись двери, и на пороге появилась девочка лет семи. Увидев незнакомых людей, она на мгновение остановилась, потом шагнула вперед.

— Папа, — воскликнула она, обращаясь к Петру, — Ванька Семенов поймал сейчас на речке вот такого харюза, — и она развела руками, как настоящий рыбак. — После обеда он снова

пойдет на речку. Я тоже пойду с ним.

Павел почувствовал, как у него по всему телу прокатился жар. Он только сейчас осознал, что приехал в деревню своего детства, где прямо за огородами течет речка, в которой ребята испокон веков ловили рыбу. Он сам таскал там харьюзов вместе с соседскими мальчишками. Здесь все осталось, как раньше. И заботы у людей те же, что были при нем. Дети так же бегают на речку, а взрослые заботятся о хлебе и молоке. И все это так понятно и просто и так резко отличается от той жизни, в которой Павлу пришлось жить последние годы.

Ему вдруг вспомнился случай с сыном, произошедший несколько дней назад в «Детском мире», сразу после их возвращения в Москву. Таня поехала туда с Вовкой купить ему летнюю рубашку. Потом они ходили по магазину. Вовка сосредоточенно молчал. Но, выйдя на улицу, удивленно заметил:

— Мама, а здесь все продавщицы говорят по-русски.

Таня остолбенела. Лишь через несколько мгновений ей пришло в голову, что за шесть лет своей жизни ее сын не был ни в одном нашем магазине. Он хорошо усвоил правила жизни чужой страны и совершенно не знает своей собственной.

— Господи, что же будет означать для него Россия? — воскликнула Таня, рассказав эту историю Павлу. — Пустой звук?

— Это зависит от нас с тобой, — ответил Павел.

Но случай этот заставил его задуматься. Он как-то не размышлял об этом раньше.

— Папа, а можно я тоже пойду на рыбалку? — спросил Вовка.

— Если тебя возьмет Катя, — ответил Павел.

— Конечно, возьму, — радостно сказала Катя. — Пообедаем и пойдем. — Было видно, что ей польстила возможность оказаться старшей в компании.

— А кто нам даст разрешение? — спросил Вовка.

Петр удивленно посмотрел на мальчика.

— Он еще до сих пор путает свой дом с границей, — произнес Павел. — Здесь не надо никаких разрешений, Вова. Рыбачь, сколько хочешь. Эта речка — твоя. Ведь я здесь родился. Здесь стоял наш дом.

Валя позвала всех к столу. На чистой скатерти рядом с большой чашкой салата стояла бутылка водки. Павел пошел к своей сумке и достал бутылку виски.

— Отпробуйте заморского напитка, — предложил он.

— Не обижайся, — ответил Петр, — но наш мне кажется лучше.

— Тогда угостите соседей, — сказал Павел и поставил виски на шкаф.

Ели молча. В середине обеда Валя спросила:

— Скажи, Павел, только откровенно, тебе нравится за границей?

Ему сразу вспомнился случай, произошедший с ним в Неаполе. Их было трое — он, его товарищ и шофер. Павел попросил остановить машину, чтобы купить газету. Ему нужна была «Нью-Йорк таймс». Перейдя улицу, он купил в киоске газету и повернулся, чтобы идти назад. В это время прямо перед ним остановился темно-зеленый «БМВ», из которого вышли двое коренастых парней. От Павла не ускользнуло, что они оставили открытыми обе дверки. Парни направились к нему. Если бы не женщина, подошедшая в это время к лотку с газетами, Павлу, по всей вероятности, не удалось бы выскользнуть. Впрочем, у каждого человека, работающего за границей, до предела обострено чувство самосохранения. Когда первый из нападавших протянул руки, чтобы схватить Павла, он, словно невзначай, толкнул на него женщину. А сам, сделав прыжок, на который способен разве что гигантский австралийский кенгуру, перелетел через капот «БМВ» и в два мгновения оказался около своей машины. Товарищ Павла все видел и заранее открыл дверку. Они до сих пор не знают, что это было — провокация или Павла просто спугали с кем-то. В любом случае ему повезло. Если бы его захватили, никто не знает, чем бы все это кончилось. В Италии может случиться всякое.

И еще ему вспомнилась история, произошедшая в посольском клубе. Было это во время торжественного собрания, посвященного Дню независимости России. Как всегда, в таких случаях, доклад делал посол. Советники посольства и других загранучреждений сидели в президиуме. После доклада должно было состояться выступление художественной самодеятельности, и для членов президиума в зале клуба оставили незанятым один ряд. Чтобы туда никто не садился, рядом с первым сиденьем заведующая клубом поставила дежурную. Павел хорошо знал эту женщину, она была женой одного из шоферов посольства.

За границей для жен советских служащих работы нет. В

иностранных учреждениях трудиться они не могут, посольство предоставить работу не имеет возможности. Когда уезжает на родину какая-нибудь из официанток, на ее место сразу объявляется двадцать желающих. Вот почему, устроившись в клубе, жена шофера была безмерно счастлива. Не из-за тех мизерных денег, которые она стала получать. Изменилось ее общественное положение. Она почувствовала себя нужной людям, жизнь приобрела для нее другой смысл. За свою работу она держалась обеими руками. И когда какая-то толстая, но одетая в дорогое платье женщина попыталась отстранить ее и сесть в кресло на свободном ряду, дежурная грудью преградила ей дорогу.

— Извините, но это кресло только для членов президиума, — вежливо, но твердо произнесла она.

Женщина изменилась в лице. Щеки ее сначала побледнели, потом залились густой краской. Она задохнулась от гнева.

— Ты должна знать жен советников в лицо, — прошипела толстая и, оттолкнув дежурную, прошла в середину свободного ряда и села в кресло.

На следующий день жену шофера убрали из клуба. А через месяц она вместе с мужем возвратилась домой. Так печально закончилась их заграничная командировка.

Павел подумал тогда: а что, если бы дежурить у этого несчастного ряда поставили его, молодого дипломата? Конечно, если бы он знал жену советника в лицо, он бы любезно пропустил ее в кресло. А если бы не знал, как это случилось с женой шофера? Тогда, по всей вероятности, его постигла бы та же участь. За границей между служащими особые отношения. Многое из того, без чего люди не представляют себе жизни, там просто отсутствует. И, прежде всего, наша особая атмосфера человеческих отношений, без которой колхоз, например, не мог бы существовать. Жена посла или, как ее называют между собой дипломаты, послица, имеет там такую же власть, какую в старые времена имела жена императора. А жены советников — ее придворные дамы. За границей свои правила взаимоотношений. И хорошо, что ни Валя, ни Петр не знают об этом.

— Если я скажу, что дома лучше, ты не поверишь, — произнес Павел.

— Почему же, очень даже поверю, — сказала Валя. — Я бы, например, за границей жить не смогла ни за что. Не создана



для этого. В отпуск уеду и то по своей деревне скучаю. Так это дома. А что говорить о загранице?

Давно Павел не сидел за столом так непринужденно, как здесь, давно так откровенно и бесхитростно не говорил с людьми. Ведь там, где он жил последние годы, каждый шаг, прежде чем его сделать, должен быть рассчитан, а каждое слово продумано и выверено.

Сейчас же он чувствовал себя, словно студент, сдавший последний экзамен. Его переполняла свобода, которую не знал куда деть, и которой он уже давно не помнил. И Павел вдруг впервые почувствовал, что ему не хочется возвращаться за границу.

Вовка с Катей уже давно убежали на речку, а он сидел и слушал рассказ Вали об односельчанах, о своих соклассниках, о том, кто из них кем стал и чего добился. Перед ним открывалась жизнь, от которой он уже отвык, но которая была ему близка и понятна.

Потом к ним зашел председатель колхоза Кулагин. Он хотел что-то сказать Вале, но, увидев Павла и узнав его, присел к столу. Кулагин был всего на три года старше Павла и вырос здесь, в Руднево.

И снова пошли воспоминания и расспросы о загранице, о том, как там живут люди и что они о нас думают.

— Когда назад собираешься-то? — спросил Кулагин.

— Да надо бы завтра, — ответил Павел. — Я ведь сюда приехал только на могилу матери.

— Куда спешить-то? Оставайся на недельку. Я тебя по нашим угожьям повожу. Ты ведь здесь каждый ключ, каждое поле знаешь.

— Повозить его и я могу, — сказала Валя, бросив на Павла быстрый взгляд.

Петр не обратил на это внимания. Но Павел уловил в ее голосе особую интонацию, а во взгляде узнал ту прежнюю Валю, которая отважилась поцеловать его прямо на сцене. Странно, но у него возникло чувство, будто он никогда не уезжал отсюда.

Кулагин ушел. Неожиданно стал собираться и Петр.

— Я ведь завтра с ребятами из своего класса на Синюху еду, — сказал он. — Хотим подняться на самую вершину. Там крест стоит, недавно казаки его туда подняли. Пойду в школу проверить, все ли готово к отъезду. Может, прогуляешься со мной?

— обратился он к Павлу.

— Устал я что-то. С дороги все-таки, — ответил Павел.

— Тогда ложись на диван и отдыхай. Я скоро приду.

Петр закрыл за собой дверь, а Павел так и остался сидеть за столом. Валя быстро прибрала посуду, но перед тем, как уйти, остановилась посреди комнаты. Какая-то мысль мучила ее.

— Скажи, Павел, — решила, наконец, она. — Ты счастлив со своей женой?

В ее голосе был не просто вопрос, в нем прозвучала давняя невысказанная боль. В серых, красивых глазах Вали появилась не то грусть, не то надежда, но губы ее скривились в нервной, неестественной улыбке.

— А ты? — вместо ответа спросил Павел.

— Петр очень хороший человек. А первое мое замужество было случайным. За Кольку я вышла со зла.

— Моя жена тоже неплохой человек, — уклонился от прямого ответа Павел.

— Вот так и живем с хорошими людьми, — вздохнув, произнесла Валя и вышла.

Павел услышал, как снаружи загудел мотор машины. Валя уехала, и в доме наступила тишина. Павел вышел на крыльцо. Улица была пуста, в это время в деревне все на работе. Под окнами соседнего дома, свернувшись калачиком на траве, спала собака. Около нее лениво прохаживались куры.

Павел спустился с крыльца и пошел вдоль улицы. Он ни о чем не думал, просто смотрел на дома, на поросшие муравой лужайки, вдыхал воздух детства. Ноги сами привели его к бывшей своей усадьбе. Здесь все было другим. На месте их старого ветхого домишка стоял добротный дом с большими дворовыми постройками и палисадником, в котором цвели цветы. Только огород остался прежним. По его краям и вдоль дорожки, ведущей от речки, свешивались большие желтые шляпы подсолнухов. Огуречные плети густо облепили грядки.

И все же различие было. Под четырьмя тополями, росшими на обочине огорода, стояло несколько ульев. Раньше их не было. Мать не держала пчел, для нее это было непосильно.

Представив, как мать ходила по этому огороду, Павел почувствовал, что у него подкатывает комок к горлу. Все годы пребывания за границей он вспоминал это место, как самый святой для себя уголок. С этого огорода, с этой улицы он начал



познавать окружающий мир. Здесь провела последние дни так и не дождавшаяся своего единственного сына его мать. У Павла снова до боли сжалось сердце, глаза затянуло влагой. Кто бы ни жил в этом доме, Павел не войдет туда. Эти люди невольно осквернили память о матери, снеся домик, в котором она жила. Нет, они ни в чем не виноваты. Их дом, безусловно, лучше. Его нельзя сравнивать с тем, что стоял здесь раньше. Но это уже их дом, их жизнь, их память. С тяжелым вздохом Павел прошел мимо дома и свернул к речке.

На ее берегу мальчишка лет девяти ловил удочкой рыбу. Рядом с ним стояли Катя и Вовка. Наверно, это и был тот самый Ванька Семенов, о котором говорила Катя. Павел подошел к ним.

— Папа, посмотри, сколько рыбы он наловил, — воскликнул Вовка и показал на старый, помятый с одного бока чайник, стоящий у ног рыбака. В нем плавало несколько пескарей.

— Пойдешь домой? — спросил Павел сына.

— Нет, — наотрез отказался Вовка. — Я еще побуду здесь.

— Мы придем вместе, — вставила свой голос Катя. — По-рыбачим и придем.

Павел оставил детей и снова вышел на деревенскую улицу. Пройдя ее, он поднялся на пригорок за деревней, где открывался неоглядный простор, а за ним Синюха, возвышающаяся над мохнатыми сопками. Гора его детства была совсем близко, она манила своей вершиной, и Павлу вдруг подумалось, а почему бы не подняться на нее и не посмотреть оттуда на окрестности и на Руднево. Ведь он так и не был на этой горе. И Павел решил завтра же вместе с Петром вскарабкаться на ее каменистый пик.

Утром на грузовике они отправились туда. На лавках вдоль бортов вместе с Петром, Павлом и Вовкой, увязавшимся за отцом, сидели еще пятнадцать рудневских мальчишек и девочек, которыми владела страсть к путешествиям.

Подъем на гору оказался несложным, но к каменистым осыпям они вышли только к обеду. Петр дал команду устроить привал и перекусить.

С места стоянки открывался красивый вид на окрестности. Внизу непрерывными волнами шли сопки, поросшие лесом, и Руднево с его полями можно было только угадать за ними. Вовка, силе и выносливости которого не переставал удивляться

Павел, притихший, остановился около отца. Выросший за границей, он открыл для себя совершенно другой мир и другую жизнь, где все дети были такими же, как он, и говорили на родном русском языке. Здесь не было условностей. Он мог ходить по деревне один, мог ловить в речке рыбу без разрешения, мог вот так свободно вместе с другими детьми подниматься на гору.

— Папа, — обратился к Павлу Вовка, — давай останемся здесь.

— Где, на Синюхе? — спросил Павел и с удивлением посмотрел на сына.

— Нет, в Руднево.

— А как же мама?

— А мы ее позовем.

— Ему что-нибудь надо? — спросил Петр, не расслышавший Вовкины слова.

— Нет, ничего, — ответил Павел. — Он уже все имеет.

И, прижав сына к себе, погладил его по голове.

МИЛКА

Тамара еще издали увидела корову, сразу привлечшую ее внимание. Крупную, с черной головой и белой звездочкой во лбу. Корова смотрела на нее такими добрыми задумчивыми глазами, что у Тамары дрогнуло сердце.

— Милка! — ласково произнесла она и корова, перестав жевать, просунула морду через прясло, отделяющее ее от кормушки.

Тамара подошла и почесала у нее за ухом. Корова вытянула шею, пытаясь не то лизнуть, не то обнюхать незнакомого человека. Вадим понял, что выбор сделан. Понял это и заведующий фермой Вася Кузьмин. Протянув Вадиму веревку, он сказал:

— Забирай и веди на весы.

А Тамара, повернувшись к мужу, радостно произнесла:

— Ну вот, Вадим, наконец-то и мы обзавелись настоящим хозяйством.

Вадим работал егерем в охотугодьях, богатых дичью. Основу угодий составлял заказник, где гнездились гуси. Гнездовые озера, раскиданные по лесостепи, были окружены березняками и заросшими высоким кустарником сограми. Березняки облюбовали барсуки, а по краю согр постоянно держались козули. Вадим никогда не браконьерничал. Но вокруг заказника он создал кордонную зону, куда приезжало пострелять начальство, а, когда надо, и друзья. В этой зоне охотился и он сам.

Но Тамара не любила дичь. Из всей добычи, которую он приносил, она признавала только гусей. Ни барсуков, ни коз, ни уток она не ела. Не переносила их специфический запах. Но корову решила завести не для того, чтобы иметь в доме молоко и мясо.

Егерская служба не оставляла Вадиму времени на семейную жизнь. И зимой, и летом он постоянно находился в своих угодьях. То гонял браконьеров, то встречал и провожал городских друзей или начальство. Иногда приедет домой глубокой ночью, большей частью крепко выпивши, а утром, едва начнет светать, уезжает обратно. За эти короткие часы прижаться к нему и то не успеет. Из-за этой охоты вся семейная жизнь прошла где-то рядом. Трех детей вырастили — двух дочерей и сына, а настоящего бабьего счастья она так и не познала.

Мысль о том, чтобы завести корову, пришла ей давно, но

она все боялась высказать ее вслух. Ждала подходящего случая. Вадим ведь сразу поймет, что из-за рогатой скотины во дворе разгульную охотничью жизнь придется ограничить. Корова требует ухода, одной Тамаре с ней не справиться. Но бросать зерно новой идеи на неподготовленную почву она не собиралась. Знала: если мужик упрется, никакая логика на него не подействует.

Случай подвернулся нынешним летом. У Тамары еще с весны побаливало в правом боку, но выбраться в больницу не было времени. К врачу пошла, когда боль стала донимать, как засевшая в теле заноза. Тот быстро установил диагноз: воспаление желчных протоков. Прописал лекарство, а на прощание сказал:

— Вам бы месяц посидеть на творожке, и печень сама придет в норму.

Тамара даже обрадовалась, что у нее обнаружили такую болезнь. Теперь Вадиму не открутиться. Хочешь не хочешь, придется заводить корову. Из соседского молока творогу не наготовишь.

— Ну и что? — спросил Вадим, когда жена вернулась из больницы. Он переживал за нее, хорошо понимая, что весь дом держится только на Тамаре.

— Печень, — Тамара сделала скорбное лицо и приложила обе ладони к правому боку.

Никогда не болевший и потому не знавший, в каком боку находится печень Вадим, исподлобья посмотрел на жену, требуя пояснений.

— Лекарство только одно, — сохраняя скорбное лицо, сказала Тамара, — диета. Надо будет сидеть на твороге.

— Это у тебя от баранины, — произнес Вадим. Не так давно он покупал в соседнем колхозе барана. — От нее иногда такое случается.

— У меня ведь всю весну болит. Ты разве не замечал? — спросила Тамара.

— Ну и сколько же тебе надо сидеть на твороге? — Вадим снова исподлобья уставился на жену.

— Всю оставшуюся жизнь, — сказала Тамара.

— Это что, выходит, надо заводить корову? — настороженно спросил Вадим.



— Выходит так, — Тамара, не отнимая ладоней от бока, прошла к столу, села на стул.

Вадим почесал в затылке, пошел к двери. Но у порога остановился и произнес:

— Если надо, будем заводить. Не умирать же тебе из-за этого.

Корову Тамара решила купить в соседнем колхозе, или, как теперь его стали называть, товариществе с ограниченной ответственностью. Несмотря на ограниченную ответственность, коровы там были хорошие, молока давали много. К тому же она хорошо знала председателя. Тот был заядлым охотником и не раз заезжал к Вадиму домой. Он и привозил им недавно баранину. Когда Тамара позвонила ему и спросила, нельзя ли купить в их хозяйстве корову, тот, не задумываясь, ответил:

— Приезжай и выбирай, какая понравится, та и твоя. Мы все равно сокращаем стадо...

Теперь оставалось только отвести корову на весы, взвесить (в колхозе всю скотину продают по живому весу), заплатить, сколько положено, и отвезти домой. Председатель дал для этого специальный грузовик.

Вадим набросил на рога корове веревку, затянул потуже петлю и начал выводить ее из стойла. Но корова вдруг уперлась, отказываясь сдвинуться с места. То ли не понимала, чего от нее хотят, то ли не желала идти с новыми хозяевами. Тамара подошла к ней, протянула ладонь к морде и ласково произнесла:

— Ну что ты, Милка? Пошли!

И корова пошла. Тамара открыла ворота скотного двора, а Вадим, намотав на руку веревку, вывел Милку через прясло в проход и, пропустив вперед себя, легонько хлопнул ладошкой по крупу. Милка вздрогнула, нагнула голову и, по-жеребьячьи взбрыкнув, бросилась в ворота. Вадим, растягивая ноги в шпегате, кинулся за ней. Милка перешла на галоп. Чтобы не упасть, Вадим попытался освободить руку от веревки. Но та врезалась в запястье, а ослабить натяжение ему никак не удавалось. Перед самыми воротами корова, снова взбрыкнув, рванула веревку и выскочила наружу. Вадим со всего маху ударился о косяк, упал, одуревшая от приобретенной свободы Милка протащила его несколько метров по земле. Веревка, наконец, разматалась с его руки, он остался лежать, а корова, развернувшись, кинулась к ограде. Тамара растерянно крутила головой,

не зная, куда бросаться: к мужу или за коровой, потом махнула рукой и бросилась ловить корову. Заведующий фермой Кузьмин кинулся за ней.

Когда они ухватили Милку за веревку, Вадим, не в силах подняться, встал на четвереньки и, мотая вдруг неожиданно отяжелевшей головой, глухо произнес:

— Так я еще никогда не охотился.

Корова посмотрела на него темными, словно сливы, глазами и, как ему показалось, даже подмигнула. Тамара с Кузьминым повели ее на весы, а Вадим, с трудом поднявшись на ноги, привалился спиной к воротам скотного двора. В голове шумело, плечо нестерпимо ныло. Он надавил на него пальцами, проверяя, не сломана ли ключица, и, ойкнув, тяжело опустил руку. Все произошло так неожиданно, что он не успел ни увернуться, ни сгруппироваться. «Бешеная какая-то», — подумал Вадим и поплелся к весовой, где Кузьмин уже пытался завести корову в кузов грузовика.

Вечером Тамара с новеньким, купленным только вчера подойником и гордо поднятой головой пошла в стайку. Вадим лежал на диване, не в силах поднять правую руку. Плечо болело нестерпимой болью. Он думал о том, во что ему теперь обойдется творог для жены. Денег на корову не хватило, пришлось занять у соседа. Через несколько дней открывается охота, а у него до плеча невозможно дотронуться. О том, чтобы приложить к нему ружье, не могло быть и речи. Так что охота пропала. Вадим, морщась, поднялся с дивана, чтобы посмотреть, не осталось ли в холодильнике бутылки водки. Надо было сделать компресс на ушибленное место, может, перестанет саднить. В это время в избу влетела Тамара. В руках у нее был пустой подойник.

— Что? — спросил Вадим, чувствуя, что с коровой опять произошла какая-то история.

— Она на меня так смотрит, — растерянно сказала Тамара.

— Как? — не понял Вадим и осторожно дотронулся ладонью до плеча.

— Как будто задумала что-то, — ответила Тамара.

— Что она может еще задумать? — Вадим посмотрел на пустой подойник.

— Поймай ее, — попросила Тамара. — Одна я боюсь заходить в стайку.



— Пошли! — Вадим решительно пнул ногой дверь и вышел во двор.

Корова стояла в стойле и задумчиво жевала жвачку. Вадим подошел к яслям, в которых лежало свежее сено, оперся о них спиной. Корова морда почти касалась его, он чувствовал на руке ее теплое дыхание. Она никак не прореагировала на появление нового хозяина.

Тамара вытерла чистой влажной тряпкой Милкино вымя, поставила под него подойник. Тугие струи молока звонко ударили о его стенки.

— Ну вот. А ты говорила, что она задумала что-то, — впервые сквозь боль попытался улыбнуться Вадим.

Он сдвинулся чуть влево, чтобы посмотреть, как доится корова, и тут же оказался прижатым к яслям. Милка уперлась в его грудь тяжелым, широким лбом, рейки ясель затрещали под напором ее рогов. Вадим ощутил под ложечкой ледящий холодок. Корова фыркнула, лягнув ногой подойник, и он, звеня и разбрызгивая молоко, взлетел к потолку. Вадим машинально ухватился рукой за пояс, где у него висел пистолет, с которым он выезжал осматривать охотугодя. Пистолет устрашающе действовал на браконьеров. Но сейчас его на поясе не оказалось. Он лежал в шкафу вместе с ружьем.

Тамара опрокинулась на спину, задрав ноги и заголив подол. Все молоко из подойника вылилось на нее. Крикнув: «Ой», — она вскочила и с расширенными от страха глазами кинулась из стайки. Вадим попытался броситься за ней, но, зажатый между рогов коровы, не смог даже пошевелиться. Побывавший во многих охотничьих переделках и никогда не знавший страха, он впервые почувствовал, как сжимается от предчувствия неотвратимой беды сердце. Его опущенные вниз руки тоже оказались прижатыми. Вадим понял, что если он сейчас же не предпримет каких-то неординарных мер, Милка его раздавит. Он нащупал ладонью мокрую, покрытую редкими и жесткими, словно щетина, волосами верхнюю губу коровы, засунул ей в ноздри пальцы так, чтобы она не могла дышать, и толкнул корову от ясель. Она мотнула головой и отступила на шаг. Он прыгнул в сторону и только после этого свободно вздохнул.

Тамара стояла снаружи у дверей стайки и, вздрагивая плечами, плакала. Он подошел к ней, но, вместо того, чтобы утешить, сказал сквозь стиснутые зубы:

— Ну и творожок у нас с тобой будет, — и впервые за всю супружескую жизнь произнес несколько крепких слов. — Это не корова, а самый настоящий дьявол.

От пережитого потрясения боль в плече сразу утихла. Вадим оглянулся на открытые двери стойки и произнес:

— Возьму ружье и застрелю ее к чертовой матери.

— Да ты что! — испуганно сказала Тамара и сразу перестала плакать. — Она же еще невыдоенная.

— Ну и что? — Вадим почувствовал, как снова заныло плечо, и сурово уставился на жену.

— А то, что если корову не выдоить, у нее заболит вымя, молоко пропадет.

— Не будешь же ты ее сейчас доить?

— Как это не будешь? — Тамара оглянулась, ища подойник.

— Пойдем, попробуем еще раз.

— Ты хоть бы платье сменила, — уже примирительнее сказал Вадим. — Мокрая вся. Как курица из бочки.

Тамара шагнула в стойку, он услышал, как она звякнула подойником, подняв его с пола. Прижав ладонь к ноющему плечу, он шагнул вслед за ней.

— Она ведь в подойник ногу засунула, — сказала Тамара. — А потом пустила его как из катапульты.

— Теперь не пустит, — произнес Вадим, протянув руку к висевшей на стене веревке.

Он спутал корове задние ноги, сам поставил под нее подойник и, нагнувшись к жене, сказал:

— Давай!

В подойник снова звонко ударили тугие струи молока. «Сколько же его у нее?» — подумал Вадим, глядя на корову. Он вспомнил, как мать, когда он был еще мальчишкой, возвращаясь с дойки, цедила через марлю молоко в кринку, а потом наливала в кружку и протягивала ему. Он пил его теплое, сладковатое, с особым ароматом и не понимал, почему такое молоко называют парным. Ни из подойника, ни из кринки, ни из его кружки пар не шел. Сейчас ему вдруг захотелось взять ту самую кружку, зачерпнуть теплое пенистого молока прямо из подойника и пить, оставляя на верхней губе белую, похожую на нарисованные усы полоску. В детстве после каждого возвращения матери с дойки они соревновались с братом, у кого такая полоска будет шире. Но, увидев связанные ноги коровы, и

мокрую, вздрагивающую то ли от холода, то ли от страха жену, ему расхотелось пить молоко. Тамара закончила дойку и побыстрее убралась из стайки. Он распутал корову, повесил веревку на стену и, вернувшись домой, сразу лег на диван. Плечо нестерпимо болело.

Утром жена толкнула Вадима в бок и, сев на постели, сказала:

— Надо доить корову.

— Никуда я не пойду, — ответил Вадим и отвернулся на другой бок.

— А я никуда не пойду без тебя, — заявила Тамара.

Вадим откинул одеяло и повернулся к жене.

— Интересная ты женщина, — сказал он, качнув головой.

— Упросила купить корову, а теперь хочешь, чтобы я ее еще и доил. Может мне из-за этого с работы уволиться?

— Боюсь я ее, — сказала жена так искренне, что он понял: без него она в стайку не войдет.

Вадим нехотя поднялся, с трудом натянул брюки. Плечо посинело и опухло.

— Мне в больницу надо идти, — сказал он. — Инвалидом стану. А ты — корову доить.

— Ну, раз купили, что делать? — развела руки жена. Она была готова заплакать.

Вадим, как и накануне вечером, снова спутал ноги корове. Тамара подставила под нее подойник, села на маленький стульчик, который предусмотрительно захватила с собой. Вадим прислонился спиной к стене, ожидая, когда она подоит корову. Та повернула голову к двери, словно рассматривая, чем занимаются хозяева. Вадим видел ее большой, лиловый, немигающий глаз. Он светился в полумраке, словно подсвеченный. Вадиму стало нехорошо от этого взгляда. Он подумал, что корова опять что-то затевает.

Тамара уже заканчивала дойку, подойник был наполнен пенистым молоком почти до краев. «Обошлось», — подумал Вадим. И в это время корова, подобрав под себя спутанные ноги, подцепила ими подойник и швырнула на него. Тамара перевернулась на стульчике и отлетела в сторону. А Вадим, с которого молоко потекло, словно вода с крыши, вжался в стенку, боясь, что корова притиснет его своим телом и размажет по бревнам стайки. Жена с криком вылетела в дверь. Вадим,

отплевываясь и не сводя глаз с коровы, осторожно заскользил вдоль стены к выходу. Очутившись на улице, он сказал жене:

— Веди эту бешеную назад в колхоз.

— Да кто же ее возьмет? — удивилась жена, хорошо знавшая бухгалтерскую работу. — Деньги оприходовали и давно истратили. Теперь жди нового поступления минимум месяц.

— Как хочешь, — махнул рукой Вадим и пошел в дом переодеваться. Плечо саднило не на шутку, и он решил показаться врачу.

Тамара со страхом глянула на раскрытую дверь стайки, не решаясь войти, чтобы забрать подойник. Постояв немного посреди двора, она направилась к соседке Вале. Та давно держала корову, и никаких проблем с ней не было. Валя как раз выходила из своей стайки с полным подойником молока.

— Может, я что-то не так делаю, — поведав о своей беде и вопросительно глядя на Валю, сказала Тамара. — Ведь и хлеб ей даю, и поило хорошее. Все принимает. А как начинаю доить, становится бешеной. Помогите. — Тамара умоляюще посмотрела на Валю.

Та занесла молоко в сени, поставила его на стол и, не снимая передника, направилась к соседке. Смело шагнула в стайку, погладила корову по крупу и ласково сказала:

— Ну, чего ты дуришь? Ведь останешься невыдоенной, бо- леть будешь.

Корова повернула голову, скосила на Валю лиловый глаз. Тамара, пригнувшись, прошла за спину соседки, подняла опрокинутый подойник.

— Ты ее выдоила? — спросила Валя.

— Да где там, — ответила Тамара, осторожно пятаясь к двери. — У нее молока в вымени, как в цистерне.

— Давай я попробую, — Валя протянула руку к подойнику.

Услышав, как звякнула дужка подойника, корова попыталась переступить с ноги на ногу, но ей помешали путы. Валя ловко подставила подойник под вымя, уселась на стульчик, взялась за тугие соски. Привязанная к яслям корова замерла, лишь изредка поводя ушами.

— Ну вот, а ты говоришь, что она непослушная, — сказала Валя.

— Может, она только меня не признает, — пожалала плечами Тамара, на всякий случай делая шаг назад. Корова хоть и стоя-



ла спокойно, но подвоха от нее можно было ожидать каждую минуту.

Дойка и на этот раз не получилась. Когда в подойнике набралось литра два молока, корова по-лошадиному лягнула его копытами. Валя свалилась со стульчика и в страхе на четвереньках выползла из стайки. Тамара помогла ей подняться, начала ладонью отряхивать мокрое платье.

— И правда бешеная, — сказала Валя, с испугом глядя в темный проем двери, в глубине которого виднелись очертания коровы.

— Ну почему она такая! — в отчаянии воскликнула Тамара.

— Почему, почему? — оглядывая себя, произнесла Валя. — Привыкла к машинной дойке, вот и не дает дотронуться рукой до сиськи. Надо было не корову покупать, а нетель. Та бы привыкла.

— И что же теперь делать? — Тамара растерянно посмотрела на подругу.

— Приучать, — деловито ответила Валя. — Вечером еще раз попробуем.

К вечеру Вадим едва поднимал правую руку. В больнице сказали, что это от сильного ушиба. Врач прописал мазь и компрессы. Вадим лежал на диване и не знал, кого больше жалеть: себя или жену, которой потребовался творог. Через три дня открывалась охота на куликов с охотничьими собаками, его кобель, предчувствуя ее, весь изнервничался, и теперь надо было жалеть еще и кобеля. Ни о какой охоте с таким больным плечом не могло быть и речи.

Лежать на диване надоело, и Вадим вышел во двор. Тамара с Валею доили корову. Он заглянул в стайку. Валя стояла около ясель и поглаживала корову по шее и за ушами, а Тамара в одной руке держала эмалированную кружку, которую Вадим всегда брал с собой на охоту, другой сдаивала в нее молоко.

— Ну и сколько вы так будете доить? — спросил он, остановившись у дверей.

— Сколько надо, столько и будем, — ответила Тамара и вылила молоко из кружки в подойник.

— Приспособилась, — сказал Вадим и пошел к кобелю.

Тот запрыгал из стороны в сторону, виляя хвостом. Собака рвалась на охоту и всем своим видом показывала это. Вадим погладил ее по голове, потрепал за шею. И еще раз пожалел

о том, что из-за непутевой коровы не придется поохотиться на куликов. Такого с ним за последние лет десять не случилось ни разу.

Охота открывалась с утренней зари в субботу. В ночь перед ней Вадим долго не мог заснуть. Лежал в постели с открытыми глазами, смотрел в потолок и представлял луга, затянутые белесой дымкой тумана, мокрую от росы траву и замеревшего на месте Дика с вытянутой вперед мордой и настороженно поднятой передней лапой. Если собака принимает такую позу, значит, перед самым ее носом в траве затаился кулик. Стоит только осторожно сказать Дику: «Фас!» — он бросится на птицу, и та с испуганным фырканием вылетит из-под его ног. Тут уж не зевай, бери ее на мушку. Вадим закрыл глаза и тяжело вздохнул. Жена тоже вздохнула.

— Чего тебе не спится? — спросил Вадим, повернувшись к ней.

— Боюсь я ее, — сказала Тамара, и он почувствовал в ее голосе слезы. Вадим понял, что жена говорит о корове.

— Доить в кружку, конечно, не дело, — заметил он.

— Я не о кружке, — Тамара всхлипнула. — Я в стайку боюсь заходить.

— Что же теперь, сдавать ее назад, что ли? — спросил Вадим.

— Я уже узнавала, — Тамара снова всхлипнула. — Там ее не берут.

— А куда же еще?

— Может, к Кухаренко? — Тамара замерла, ожидая ответа.

Кухаренко был местным предпринимателем. У него была небольшая бойня и колбасный цех. Скот ему сдавали неохотно, потому что платил он за него низкую цену. И если уж жена решилась отвести корову к нему, значит, та ее действительно допекла.

— Мы же у него не возьмем даже тех денег, которые за нее отдали, — сказал Вадим.

— Что же мне умирать, что ли? — ответила жена.

— А как же творог? Тебе ведь без него нельзя, — спросил Вадим.

— Печень у меня уже не болит. — Тамара повернулась к Вадиму. — Давай отведем ее завтра, а?

Вадим прикинул: если сдать корову с самого утра, к обеду

можно уехать на охоту. С разбитым плечом стрелок он, конечно, никудашный, да и утренняя зорька так или иначе пропадет. Но пару «своих» бекасов он возьмет все равно. Да и Дик разомнется. На охоте он выматывается настолько, что когда возвращается домой, спит беспробудно почти целые сутки.

— Если ты настаиваешь, с утра буду договариваться с Кухаренко, — сказал Вадим.

— Настаиваю. — Тамара вытерла концом пододеяльника глаза и спросила: — Плечо сильно болит?

— Болит, — ответил Вадим, думая о том, что надо бы предупредить своего товарища Женю Зудина не уезжать на охоту без него. Иначе на бекасов к обеду не успеть ни при каких обстоятельствах.

Едва рассвело, Вадим встал, положил в рюкзак, с которым обычно ездил на охоту, кружку, чай, булку хлеба. Подождав, когда Тамара выйдет в сени, достал из холодильника бутылку водки и тоже сунул ее туда. Поставил рюкзак к стене, положил на него патронташ и сложенное в чехол ружье. Тамара накормила Вадима завтраком, когда он направился к двери, поправила ему воротник рубашки и сказала:

— Ты с Кухаренко не торгуйся. Какую цену предложит, за ту и отдавай.

Вадим строго посмотрел на нее, давая понять, что заработанными собственным трудом деньгами разбрасываться не собирается. Тамара молча пожала плечами и развела руки.

Кухаренко обрадовался, узнав, что Вадим решил сдать свою корову. Вечером ему звонил из города торговец мясом, просил привезти говядины. Правда, без всякого умысла, скорее из вежливости, спросил:

— А чего ты ее сдаешь? Ведь вроде только недавно завел.

— Не по мне такое хозяйство, — слегка насупившись, ответил Вадим. — Я лучше лося осенью добуду. — Он окинул взглядом коренастую, мускулистую фигуру Кухаренко и спросил: — Не мог бы ты сам забрать ее от меня? У меня плечо болит, руку поднять не могу.

— Какие дела? — не задумываясь, ответил Кухаренко. — До тебя идти-то, за угол завернуть.

Тамара ждала их во дворе дома. Вадим видел, что от нервного напряжения ее бьет мелкая дрожь. Она так и осталась стоять посреди двора, когда Вадим вместе с Кухаренко подошли к

стайке. Вадим снял со стены веревку, протянул ее Кухаренко:

— Привязывай пока. А я пойду, открою ворота.

Кухаренко намотал веревку Милке на рога, затянул узел. Другой конец веревки обмотал вокруг запястья и ладони и потянул корову из стайки. Она послушно пошла за ним. Но как только увидела открытые ворота, взбрыкнула, словно необъезженный жеребец, и, пригнув рогастую голову к земле, рванулась в их проем. Кухаренко отлетел в сторону. Корова пронеслась мимо Вадима, Кухаренко ударился всем телом о ворота, упал, веревка слетела с коровьих рогов. Вадим выглянул наружу. Задрав хвост и высоко выбрасывая задние ноги, корова неслась по улице в сторону колхоза. До него было километра три.

— Чего стоишь? Убежит ведь? — закричала пришедшая в себя Тамара. На лежавшего около ворот Кухаренко она не обратила никакого внимания.

— Пусть бежит, — спокойно ответил Вадим. — Я сегодня председателя на охоте увижу. Возьмем у него вместо этой дурной коровы другую.

На глазах Тамары появились слезы. Она всхлипнула, вытерла их ладонью и тихо сказала:

— Не надо другую.

— А как же твоя печень? — спросил Вадим. — Тебе же твою рога надо.

— Я же тебе уже говорила, что печень у меня давно в порядке, — сказала Тамара и пошла в дом.

Около ворот заворочался Кухаренко. Сел на землю, мотнул головой и тупо уставился на стайку, из которой только что вывел корову. Куцехвостый Вадимов кобель подошел к нему, понюхал и, отвернувшись, направился к хозяину. Вадим знал, что он сейчас ткнется мордой в его ногу, сядет и уставится в глаза преданным немигающим взглядом. Так было всегда, когда Дик торопил хозяина на охоту.

НЕЛЕТНАЯ ПОГОДА

Сто двадцать на восемьдесят, — сказал Гречкин, закатав левый рукав рубашки и усаживаясь на стул. — Можете не проверять. Мое сердце работает как часы.

Но врач авиаотряда Надежда Ивановна уже обмотала его руку черной повязкой и начала нажимать на красную резиновую грушу, накачивая воздух.

— А может, вы вчера пили, — неуверенно произнесла она и посмотрела Гречкину в глаза. — Сейчас и узнаем.

Надежда Ивановна не верила ни одному летчику. Каждое утро она тщательно проверяла у них давление, спрашивала, не жалуются ли на что-нибудь. Но летчики ни на что не жаловались и, испытывая чувство легкой досады, Надежда Ивановна после проверки поднималась вверх, где размещалась первая вертолетная эскадрилья. Там она раскрывала чемоданчик, доставала брошюру о вреде пьянства или курения, которых у нее всегда было много, и начинала читать вслух. Летчики приходили и уходили, разговаривали о своих делах, но она, не обращая на это внимания, продолжала читать, наивно веря, что в чью-то душу западет хотя бы одно слово.

— Вы правы, Гречкин, у вас сто двадцать на девяносто, — произнесла Надежда Ивановна таким тоном, словно обвиняла его в чем-то нехорошем.

Валерий Гречкин, самый молодой в эскадрилье командир Ми-4, проходил сегодня медицинское обследование последним. Уже два дня он сидел со своим экипажем на аэродроме из-за нелетной погоды. Обиднее всего было то, что другие в это время летали. Но он был пилотом последнего класса, как иногда беззлобно шутили над ним более опытные командиры вертолетов. Гречкин лишь два месяца назад возглавил экипаж и имел самый низкий летный допуск. Его выпускали в небо только тогда, когда не было никаких ограничений по метеоусловиям. Станет пилотом первого класса, будет летать в любую погоду.

Сегодня Гречкин никуда не торопился. Увидев облака, ползущие над самыми крышами поселка, понял: их экипаж все равно не выпустят. Но правильно замечено, что надежда покидает человека последней. Поднимаясь с Надеждой Ивановной к командиру эскадрильи, он столкнулся на лестнице с командиром Ми-8 Кондаковым.

— Полетели? — наигранно-весело спросил Гречкин, ожидая, что Кондаков скажет: «Ты тоже летишь». Но тот недовольно пробурчал:

— Опять на Р-15 везти какие-то железяки.

Р-15 была самой отдаленной буровой здешней нефтеразведочной экспедиции. Вертолетчики не любили летать туда. И, главным образом, из-за груза. Геологи всегда загружали вертолет под самую завязку, причем возили буровые долота, тросы, а иногда мешки с цементом или бочки с соляной. Короче говоря, самый неподходящий груз для авиаперевозок. После таких полетов всегда приходилось чистить салон.

Самым хорошим рейсом считалось выполнить задание для ОРСа. До областного центра, где находилась продовольственная база геологов, было семьсот километров. На такое расстояние обернуться в два конца за один день не мог даже Ми-8. Летчики всегда останавливались на ночь в одной и той же гостинице в центре города. Те из них, кто был постарше, имели возможность сделать покупки для семьи. Молодые же старались провести вечер с городскими девушками. Иногда им это удавалось.

Гречкин готов был лететь куда угодно, в том числе и на Р-15. Но диспетчер аэропорта, увидев его, сказал, словно произнес приговор:

— Видимость тысяча. Облачность сто пятьдесят. С Севера идет оледенение.

Здесь же, в пилотской, сидел экипаж Гречкина — второй пилот Сапрыкин и бортмеханик Клыков. Сапрыкин налетал еще меньше своего командира, поэтому томительные ожидания погоды переносил спокойно, как нечто само собой разумеющееся. Клыков же, наоборот, нервничал. Он летал уже десять лет, работал в горах и на берегу Ледовитого океана и считал, что ему крупно не повезло с последним командиром. Клыков собирался купить машину, а хорошо заработать можно лишь тогда, когда летаешь.

Бросив взгляд на Клыкова, Гречкин понял, что творилось у того на душе. Ему расхотелось идти к командиру эскадрильи. Он еще раз посмотрел через окошечко на диспетчера, словно полеты зависели только от него, повернулся и пошел на улицу. Ему показалось, что облака за это время опустились еще ниже. Они теперь ползли над самым аэродромом. К тому же дул про-



низывающий ледяной ветер. Весной на Севере погода всегда неустойчива.

Поеживаясь от холода, Гречкин сел на лавочку под навесом, на котором красовалась вывеска с надписью: «Выход на летное поле без сопровождающего воспреещен». Но сопровождающие уже вторую неделю томились без дела. Аэродром развезло и все самолеты Ан-2, на которых отсюда только и могли улететь пассажиры, стояли на приколе. Гречкину вспомнился последний месяц зимы, когда стояла удивительная погода, и он со своим экипажем летал по семь часов в сутки. А теперь на летном поле непролазная грязь, и по небу ползут такие же грязные, разлохмаченные, бесконечные тучи. Он встал, прошелся раза два туда и обратно по деревянному тротуару и вдруг увидел спешащего из здания аэропорта навстречу ему Клыкова.

— Прогноз дали, — сказал тот торопливо. — Иди выписывать полетный лист.

Гречкин с удивлением посмотрел на небо, которое за это время ничуть не изменилось, и направился в пилотскую. За время работы в авиации он уже успел привыкнуть ко всему. В пилотской он достал полетный лист, заполнил его и подал диспетчеру. Тот поставил свою подпись и вернул лист назад.

Задание экипажу предстояло несложное. Нужно было слетать в леспромхоз, расположенный в ста пятидесяти километрах от райцентра, взять на борт его представителя и облететь с ним верховья речки Черной, по которой с наступлением паводка предстояло сплавливать лес. Паводок уже наступил, а лес почему-то не сплавливали. Что хотел увидеть там представитель леспромхоза, Гречкин не знал.

Подписав полетный лист, он вместе с Сапрыкиным пошел к вертолету. Клыков уже был около машины. Он обошел вертолет, потрогал рукой хвостовой винт, затем пнул несколько раз колеса шасси. Это был своего рода предполетный ритуал. Гречкину нравились обстоятельность механика, его умение готовить машину к полету. Клыков ничего не забывал. С таким механиком можно было устанавливать рекорды по грузоперевозкам. Вот только если бы у командира экипажа полетный допуск был выше.

— Ну что, готов? — спросил Гречкин, когда они с Сапрыкиным подошли к вертолету.

Он чувствовал, что должен сказать механику слова обод-

рения. В последнее время между ними возникла еле заметная отчужденность. А хороший экипаж всегда должен быть, как одна семья.

— Машина в полном порядке, — сухо вато ответил Клыков.

Но Гречкин понял, что скрывалось за этими словами. Дескать, если бы дело было только в машине...

Говорят, что неудача никогда не приходит одна. Экипажу Ми-4 в тот день фатально не везло. Уже на подлете к леспромхозу машина попала в сплошной снег. Исчезли земля и небо, горизонт и проплывающая внизу тайга, и вертолет начало бросать из стороны в сторону. Ощущение было не из приятных, но Гречкин спокойно держал руку на штурвале. Он думал лишь о том, чтобы снежный заряд окончился как можно быстрее. До леспромхоза оставалось не больше десяти минут полета.

Но в тот самый момент, когда Гречкин хотел уточнить состояние у Сапрыкина, в наушниках раздался голос диспетчера аэродрома. То, что он сказал, звучало, как штормовое предупреждение.

— Из Мартовска на Черную идет сплошной снежный фронт. У нас тоже снег. Закрываемся через десять минут. Летите в Никольск.

— Вас понял, лечу в Никольск, — ответил Гречкин и посмотрел на Сапрыкина.

Тот был невозмутим. В авиации можно жаловаться на что угодно, только не на погоду. Ее капризы нужно воспринимать как неизбежное.

Развернувшись на Никольск, вертолет стал уходить от снега. Вскоре внизу показалась земля, разлившиеся речушки с черными, еще не проснувшимися от зимней спячки ветлами по берегам. На островах у самого края воды сидели утки и лебеди. Лебедей, походивших издали на пятна прошлогоднего снега, было видно издали, а утки небольшими табунками поднимались в воздух при приближении вертолета.

Аэродром в Никольске был пуст, на летном поле не стояло ни одной машины. Посадив вертолет, Гречкин сразу же направился в диспетчерскую, прояснить ситуацию.

— Идет снежный фронт, — спокойно, с явным безразличием ответил диспетчер. — Через полчаса закрываемся до шестнадцати часов. Сдавайте портфели и идите обедать.

Но экипаж никуда не пошел. Во-первых, есть еще не хотелось. А во-вторых, на погоду никогда нельзя надеяться стопроцентно. На Севере она портится внезапно, но так же внезапно

может и улучшиться. Поэтому все трое уселись за столиком в пилотской. Говорить не хотелось, каждый ушел в свои мысли. Летчики привыкли мгновенно отключаться от дел. Гречкин лишь изредка бросал взгляд на Клыкова, но тот делал вид, что дремлет, а может быть, и на самом деле дремал.

Окно пилотской выходило на взлетно-посадочную полосу. Сначала в него было видно, как облака, плывущие с Севера, становятся все темнее и тяжелее, потом из них посыпался снег. Он шел все гуще и гуще, и поле аэродрома, не успевая впитывать его, начало белеть. Конец полетам, подумал Гречкин, и еще раз глянул на Клыкова. Тот, к его удивлению, уже сбросил дрему и теперь тоже смотрел в окно.

В диспетчерской зазвонил телефон.

— Не можем, — ответил кому-то диспетчер, — Нет вертолета. Хотя подождите. — Он высунулся в окошечко и обратился к Гречкину: — Надо лететь на санзадание. Человек умирает.

— А что с погодой? — спросил Гречкин.

— Сам видишь. Но вылететь можно. Появится окно, возвратиться.

Гречкин внимательно посмотрел на Сапрыкина и Клыкова. Те молчали, явно ожидая решения командира. Они знали, что лететь на санзадание он не мог, ему не позволял полетный минимум. Но здесь был исключительный случай. Другого вертолета в поселке не было. Не лететь — значит оставить человека умирать. Никто не обвинит командира в этом. У него строгие инструкции, за нарушение которых в авиации сурово карают. Ведь он поставит под угрозу жизнь экипажа. Правда, если все обойдется благополучно, Гречкина могут простить. Жизнь сложна, все в инструкциях не предусмотреть. А если не обойдется? Если — нет, то и спрашивать будет не с кого.

Он все еще смотрел на Сапрыкина и Клыкова, когда в пилотскую влетела девушка с зеленым чемоданчиком, на крышке которого был нарисован красный крест.

— Кто командир вертолета? — спросила она, сдерживая дыхание и переводя взгляд с одного члена экипажа на другого.

— Что случилось? — не отвечая на ее вопрос, произнес Гречкин.

— В Кедровке медведь на человека напал. Большой при смерти. Его нужно срочно доставить на операцию.

Гречкин хорошо знал Кедровку, до которой было минут

двадцать пять полета. Недалеко от нее геологи бурили скважину. Месяца два назад экипажу приходилось несколько раз летать на эту буровую, и Гречкин видел Кедровку сверху — маленькую деревеньку, насчитывавшую не более пятнадцати домов. Ему показалось, что он и сейчас представляет эту деревеньку отчетливо, как на фотографии. Теперь надо было решать, лететь туда или нет. И решение это мог принять только командир экипажа.

Сапрыкин и Клыков с напряженным вниманием смотрели на Гречкина. Врачиха, наоборот, стояла перед ним в растерянности. Она не понимала, почему все они до сих пор находятся в пилотской. Ведь каждая минута промедления — для пострадавшего может оказаться последней.

— Так что же мы? — спросила она заискивающе и с извиняющейся улыбкой посмотрела на Клыкова, самого старшего по возрасту из экипажа.

Во взгляде ее светлых, широко открытых глаз было немало детского. Детскими казались и припухшие губы, и челка светлых волос, выбивающихся из-под платка. Гречкин видел, что самое главное для нее сейчас — большой. Все остальное просто не существует. Она не может сидеть здесь и ждать неизвестно чего, когда требуется ее профессиональная помощь. И потому не понимает, почему они, профессионалы, не поступают так же.

Перехватив взгляд командира, она еще раз спросила:

— Ну, так что?

И только тут до Гречкина дошло, что больше всех рискует она. Ей нужно не только попасть к раненому, но и вернуться с ним в больницу. А потом еще долго бороться за его жизнь. Если, конечно, они не опоздают. И Гречкин, наклонившись к окошку диспетчера, глухо сказал:

— Выписывай полетный лист.

Уже складывая его в портфель, он посмотрел на штурмана и бортмеханика. Сапрыкин, как ему показалось, вздохнул с облегчением, а лицо Клыкова покрылось красными пятнами. Он, по всей видимости, не ожидал такого решения командира и растерялся, а, может быть, и испугался. Гречкин этого не понял. Да ему и некогда было задумываться. Погода резко ухудшалась, надо было быстрее вылетать.

Когда они вышли на летное поле, в лицо ударил резкий ве-

тер. Густой мокрый снег косо летел на землю, прикрывая ее, словно бинтами, белой пеленой. Конец аэродрома, растущие за ним деревья, которые еще недавно были хорошо видны, теперь еле проступали вдали.

— Сколько мы пролетим? — спросила врачаха.

— Примерно полчаса, — ответил Гречкин. — В лучшем случае полчаса. Если снегопад усилится, вернемся назад.

— Назад нам нельзя. Мы можем вернуться только с больным, — сказала она решительно и прибавила шаг по направлению к вертолету.

— Клыков, ты бы взял у девушки чемоданчик, — как бы невзначай обронил Гречкин. Он видел, что бортмеханик все еще не пришел в себя, и его надо было чем-то отвлечь. Во все времена человека лучше всего отвлекает работа.

— Да ничего, я донесу сама, — произнесла врачаха и в то же время бросила благодарный взгляд на Гречкина.

Чемоданчик был тяжелый, поэтому, когда бортмеханик взял его, она не стала возражать.

Едва взлетели, как аэродромные постройки тут же скрылись за белой пеленой. Снег летел навстречу, при порывах ветра вертолет слегка покачивало, но Гречкин вдруг почувствовал такую слитность с машиной, какой у него никогда не было. Она как бы стала частью его самого.

Гречкин смотрел вперед и с удовлетворением отмечал, что временами снег становится реже и внизу, под вертолетом, обозначается земля. И тогда можно было хорошо различить деревья и воду между ними. Минут через десять должен был показаться поселок. И как раз в это время на них снова обрушился снежный заряд. Он был таким плотным, что, казалось, залепил кабину, закрыл все пространство.

— Кедровка! — услышал Гречкин в наушниках голос Сапрыкина и посмотрел вниз.

Под вертолетом мелькнули расплывчатые крыши домов, столбы электролинии и деревья. Гречкин положил машину на левый борт, чтобы описать круг и выбрать площадку для посадки. Лопасты с треском рвали воздух, но машина уверенно подчинялась руке командира. Снова мелькнули крыши домов, однако Гречкин так и не увидел места, где бы можно было приземлиться.

— Ищи площадку, — сказал он Сапрыкину и, снизившись

над самыми деревьями, стал делать новый разворот.

За огородами поселка простиралось болото, на котором росли чахлые светло-рыжие сосенки, и он решил, что, пролетев над ними, может сесть прямо на улицу. Но для этого надо было делать еще один круг.

Когда садились, Гречкину показалось, что машина задевает хвостовым винтом за крышу сарая, и он даже зажмурился от жуткого предчувствия, но вертолет прошел выше. Зажатый между двумя домами, он завис над улицей в метре от земли. Клыков, наблюдавший за всеми маневрами командира, утер рукавом неожиданно выступивший на лбу пот, открыл дверцу и спрыгнул на землю. Потом рукой дал знак на посадку.

Едва вертолет коснулся колесами земли, врачаха тут же выскочила наружу. От крайней избы к вертолету бежали люди. Она направилась к ним. Какой-то парень взял у нее чемоданчик, подхватил ее под руку, и они вместе побежали к избе.

Заглушив мотор, Гречкин вылез из вертолета. Вслед за ним спустился Сапрыкин. Никто в деревне, даже мальчишки, не проявили к экипажу ни малейшего интереса. Главной фигурой в поселке сейчас была врачаха. Судьба охотника зависела только от нее.

Потоптавшись несколько минут около вертолета, экипаж, не сговариваясь, направился к избе охотника. Около крыльца стояло несколько человек, которым не хватило места в избе. Все они обернулись в сторону пилотов. Подойдя к ним, Гречкин негромко поздоровался.

— Здравствуйте, — ответил за всех небольшой, коренастый мужик с широкой черной бородой, в которой уже пробивалась проседь.

— Как ему? — спросил Гречкин, кивнув головой на дверь.

— Теперь уж никак, — ответил чернобородый и ковырнул сапогом землю. — Опоздали вы, ребята, к нашему Федьке.

У Гречкина все опустилось внутри, он ощутил вдруг необыкновенную слабость во всем теле. Ведь он рисковал и служебным положением, и даже жизнью экипажа ради того, чтобы спасти человека. Ни при каких других условиях он не поднялся бы в небо. А теперь вдруг все это стало ненужным. Гречкин словно сквозь сон воспринимал рассказ чернобородого о том, что произошло сегодня утром в тайге, когда семнадцатилетний мальчишка Федька возвращался вдоль берега речки



после неудачной охоты на уток. Недалеко от берега он услышал рев медведя. Другой бы испугался, но Федька понял, что со зверем что-то случилось, и пошел прямо на него. На всякий случай он достал из кармана два патрона с жаканами и стал перезаряжать ружье. Но в одном стволе, как назло, заело патрон, и он никак не мог вынуть его. Он перезарядил ружье, когда уже вплотную подошел к медведю, попавшему в петлю. Ее поставил на зверя дед Мефодий, Федькин сосед.

Увидев человека, медведь рванулся изо всех сил, и узел петли, сделанной из прочного стального тросика, не выдержал, развязался. Разъяренный зверь бросился на парня. Федька выстрелил из обоих стволов сразу. Жакан попал медведю прямо в сердце. Но, падая, зверь сбил парня с ног и, уже в агонии, вспорол ему когтями живот.

— Даже внутренности вышли наружу, — закончил рассказ чернобородый.

Гречкину стало не по себе. Он уже повернулся, чтобы идти назад к вертолету, но в это время дверь в избе отворилась и на ее пороге показалась врачиха.

— Помогите кто-нибудь, — обратилась она к собравшимся.

Чернобородый, хотевший сказать еще что-то, замолк на полуслове с открытым ртом. Но врачиха, всего полчаса назад казавшаяся Гречкину беспомощной девочкой, начала отдавать приказания таким командирским тоном, от которого люди сразу пришли в движение. Откуда-то появились носилки, сделанные из двух свежеструганных досок. На них из избы вынесли пострадавшего, завернутого в одеяло. Это был еще совсем мальчик с белым, без единой кровинки лицом. На этом лице резким контрастом выделялись черные, запекшиеся губы и острый нос. Впечатление было такое, что жизнь уже покинула его. Глаза его были закрыты, он не дышал. Но врачиха, очевидно, знала, что делала. Она твердо, даже повелительно бросила Гречкину:

— Немедленно передайте в больницу, чтобы готовили операцию. Потребуется кровь, много крови. — Она сделала длинную паузу и уже мягче добавила: — От большой потери крови он долгое время был в шоке. Сейчас начинает выходить из него. Пульс неровный, но уже слышится отчетливо. Я сделала ему несколько уколов.

Выслушав врачиху, Гречкин направился к вертолету. Пока

грузили больного, он связался с диспетчером аэропорта.

— Вылетай немедленно! — закричал ему в наушники диспетчер. — На нас идет пурга. Только из-за тебя не закрываем аэропорт.

Гречкин потянул на себя ручку управления. Поднимая снежную бурю, вертолет оторвался от земли. Гречкин развернул его навстречу ветру и резко пошел вверх. Потом положил машину на борт и развернулся по курсу. Прошло не более пятнадцати минут с того момента, как они сели в Кедровке, но снег заметно усилился. Вскоре внизу исчезла тайга, не стало видно и неба. Вязкая белая мгла облепила машину со всех сторон. Гречкину показалось, что он физически ощущает, как вертолет перемешивает ее винтом.

Он вдруг вспомнил Клыкова и обернулся назад. Бортмеханик стоял на лесенке за спиной сиденья Сапрыкина. Он опять был бледен, и Гречкин понял, что механику не по себе. Теперь не будет ворчать, что мы мало летаем, подумал Гречкин. Хотя в такую погоду, конечно, лучше сидеть на земле.

Сам он не чувствовал никакого страха. Машина уверенно слушалась руки, и он про себя отсчитывал минуты, оставшиеся до аэродрома.

Посадочная полоса выплыла внезапно в тот момент, когда порыв снежного заряда на секунду ослаб. Вертолет шел против ветра, и Гречкин сразу начал снижаться. Когда сели, он не заглушил мотор, а потянул вертолет своим ходом к деревянному зданию аэропорта, где их ждала машина «скорой помощи». Пострадавшего осторожно положили на санитарные носилки и перенесли туда. Гречкин в это время уже спустился из кабины на землю.

— Спасибо вам, — мягко, с особой интонацией в голосе сказала врачиха и неуверенно протянула ему руку.

— За что? — спросил он, пожимая плечами. — Я выполнял свою обычную работу. Ведь я летчик.

— В такую погоду полетит не каждый. — Врачиха устало улыбнулась одними уголками губ. — Причем всегда найдется повод для оправдания.

— Я профессионал, — ответил Гречкин. — Как и вы. И должен делать свою работу профессионально. Что с парнем? Он выживет?

Она пожала плечами и отвернулась. Гречкин помог ей сесть



в машину, подал чемоданчик и сказал:

— Если все будет хорошо, напишите мне на эскадрилью. Ведь это наш с вами крестник. Моя фамилия Гречкин. Запомните?

— Обязательно напишу, — ответила она и еще раз протянула руку для прощанья. Потом захлопнула дверку и машина тронулась.

— Куда мы сейчас, командир? — спросил Клыков.

Гречкин замер от неожиданности. Никогда раньше бортмеханик не называл его командиром. Он был намного старше и по возрасту, и по стажу.

— Сдадим портфели и пойдем устраиваться в гостиницу, — ответил Гречкин. — Сегодня полетов уже не будет.

И все трое зашагали в диспетчерскую.

НА КУНЦЕВСКОЙ ДАЧЕ

День был пасмурным, с низким хмурым небом и неприятным сырým ветром. Шагая от трапа самолета к автомобилю, Жуков не чувствовал его, хотя на нем была легкая шинель и тонкие хромовые сапоги. А когда сел в салон «эмки», ему и вовсе показалось, что в Москву уже окончательно пришла весна. На асфальте блестели лужи, на тротуарах и уличных газонах не было снега. Холодный ветер он ощутил в саду кунцевской дачи Сталина — Верховный главнокомандующий приказал ему прибыть сегодня к нему.

Сталин был один, если не считать охраны и прислуги. Почти всех этих людей, ежедневно окружавших вождя, Жуков хорошо знал в лицо. Они, словно тени, перемещались за своим хозяином из кремлевской квартиры на дачу и обратно, а за долгие четыре года войны Жуков столько раз был и на квартире, и на даче у Сталина, что сейчас, навскидку, сразу бы и не сосчитал своих посещений.

Нынешний вызов к Верховному не был связан с какими-то чрезвычайными обстоятельствами. Такими, как в сентябре сорок первого, когда немцы прорвались к окраинам Ленинграда, или в октябре того же года, когда они готовились штурмовать Москву. Война шла к своему завершению, это понимали уже все. Месяц назад войска Первого Белорусского фронта, которым командовал Жуков, форсировали Одер и, заняв плацдармы на его западном берегу, теперь стояли всего в семидесяти километрах от Берлина. Требовалось еще одно, последнее усилие, чтобы навсегда покончить и с Гитлером, и с его армией. Именно с этим, по всей вероятности, и был связан вызов командующего фронтом в Москву.

Поздоровавшись с начальником охраны, Жуков прошел к Сталину. Он сидел за столом в своем кабинете и просматривал бумаги. Молча подняв голову и кивнув на стоявшее недалеко кресло, он снова склонился к ним. Жуков сел, повернулся к Сталину, посмотрел на его согнутую фигуру и неожиданно замер. За годы войны он много раз видел вождя в разных ситуациях. И улыбающегося, отпускающего добродушные остроты по поводу некоторых своих соратников, и доходящего в гневе почти до ярости, когда от одного его пронзающего взгляда у человека леденела душа, но сегодня он был совершенно другим. Жуков



впервые увидел, как постарел и ссутулился Сталин. Его голова стала совершенно седой, плечи округлились и опустились, под глазами появились мешки, лицо прочертили мелкие, но заметные морщинки. Было видно, что он очень устал. Война, требовавшая от каждого нечеловеческих усилий, не щадила и вождей. Еще минуту назад Жуков не задумывался над этим, но сейчас вдруг остро осознал всю ту невероятную тяжесть, которую довелось вынести этому человеку за последние четыре года.

Сталин отложил бумаги в сторону и, подняв голову, громко сказал:

— Давайте пройдемся немного, а то я что-то закис.

Он тяжело поднялся из-за стола, отодвинул кресло и, распрямляя плечи, потянулся. Жукову показалось, что сейчас он услышит, как заскрипят суставы, но Сталин, словно угадав его тайные мысли, подозрительно посмотрел на маршала. Жуков отвернулся.

Они вышли в большой ухоженный сад, по которому было проложено несколько дорожек. В стороне от них располагались беседки, их тоже было несколько. В хорошую погоду Сталин любил сидеть в какой-нибудь из них, разбирая бумаги или читая газеты. А иногда просто думая. Он не умел отдыхать, как это делают обыкновенные люди. Его голова всегда была до предела занята государственными проблемами, на личные дела у него никогда не оставалось времени. А за годы войны он почти не виделся даже со своими детьми. И если Светлана, хоть и редко, но иногда все же во время обеда приходила в столовую и подсаживалась к нему за стол, то сына Василия он практически не видел. О старшем сыне Якове, попавшем на Западном фронте в плен к немцам через месяц после начала войны, Сталин не вспоминал.

Сейчас он, опустив голову, медленно шел по дорожке и молчал. Видимо о чем-то думал. Слышно было лишь, как под его сапогами похрустывал песок. Потом остановился, посмотрел на Жукова и спросил, словно выстрелил:

— Где сейчас ваша мать?

Он любил задавать неожиданные вопросы, часто ставя этим в тупик своих собеседников. Но Жуков не удивился, спокойно ответив:

— Здесь, в Москве. Я сумел ее вывезти из-под Можайска в октябре сорок первого. Немцы бы ее не пощадили.

— А я свою мать похоронил еще перед войной, — тяжело вздохнув, сказал Сталин. Молча прошел несколько шагов и добавил: — В детстве мы жили с ней вдвоем. Отец бросил нас, когда я был совсем маленьким. После революции мать отказалась переезжать ко мне, не захотела менять Грузию на Москву. Она не понимала революционеров. Незадолго перед смертью сказала: — Лучше бы ты, Иосиф, стал священником.

Сталин снова посмотрел на Жукова и тот увидел, как озорно, по-мальчишески, блеснули его глаза. Он, очевидно, ждал, что скажет на это Жуков, но тот промолчал. Лишь отметил про себя, что глаза Сталина не изменились. Сам он сдал, а взгляд остался все таким же живым, пытливым и недоверчивым, как и раньше. Он словно ощупывал им собеседника, пытаясь разглядеть не только каждую черточку лица, но и отгадать мысли. И многие терялись от этого взгляда.

Они прошли еще несколько шагов. Дорожка была сухой, но под деревьями, особенно у ограды, лежал тонкий слой ноздреватого серого снега, из-под кромки которого сочилась вода. В Германии снег уже сошел, в лесу и на пойменных просторах Одера зеленела трава.

— Мать у меня была швеей, или, как тогда говорили, модисткой, — произнес Сталин, обрывая паузу. Он уже понял, что Жуков никак не отреагирует на его последнюю фразу о несбывшейся мечте матери. — Мы жили ее случайными заработками. Я ей мало помогал. С пятнадцати лет я стал профессиональным революционером. Все время приходилось скрываться от охраны, переезжать из одного города в другой. Трудное было время. Зато какое государство построили! Вот только жить нам не дают. — Он остановился, прислушиваясь к пению пичуги, доносившемуся с соседнего дерева, потом выпрямился и сказал: — Ничего, скоро закончим войну, получим хорошую передышку. Все беды рано или поздно забываются, в памяти остается только хорошее.

Жуков готовился совсем к другому разговору. За Одером перед ним стояла миллионная армия гитлеровцев, готовая, как раненый зверь, отбиваться до последнего вздоха. Надо было думать о том, как ее добить и что делать с немцами после победы. Месяц назад войска его фронта, продвигаясь по территории



Польши, захватили недалеко от Люблина немецкий концентрационный лагерь Майданек. Начальник разведуправления, побывавший в нем на следующий день и потом рассказывавший о том, что увидел, все время делал большие паузы, то напрягая желваки, то сжимая в кулаки лежавшие на столе ладони. Затем он замолчал, достал несколько фотографий и разложил их на столе перед командующим. Жуков долго и пристально рассматривал их, но поехать в лагерь и посмотреть все собственными глазами у него не хватило духу. Настолько страшным было то, что делали с людьми гитлеровцы. Сын Сталина тоже находился в одном из фашистских концлагерей. Жуков подумал об этом, когда ему показывали фотографии, сделанные в Майданеке.

Сейчас он снова вспомнил о них. Сталин шел медленно, наклонив голову и опустив взгляд на дорожку. И Жуков осторожно, выбирая самые мягкие интонации, произнес:

— Товарищ Сталин, давно хотел узнать о вашем сыне Якове. Нет ли сведений о его судьбе?

Сталин остановился, бросил короткий, но пристальный взгляд на Жукова, потом отвернулся, и, не говоря ни слова, все так же медленно пошел дальше. В последние дни он все чаще вспоминал Якова, и в его душе возникало никогда не испытываемое ранее чувство вины. Все, что он делал со страной и людьми, казалось ему абсолютной необходимостью, иногда вынужденной, диктуемой трудными обстоятельствами. Они не зависели от него, и он не мог изменить их. Но судьба Якова могла сложиться по-другому, относись к нему иначе сам Сталин.

Он любил свою первую жену Като Сванидзе — стройную и гибкую красавицу с темными очаровательными глазами. Яков родился в Тбилиси, спустя год после их свадьбы, а уже через два месяца после его рождения они были вынуждены переехать в Баку, спасаясь от ареста царской охранки. Там Като заболела тифом и умерла на его руках. Сталину казалось, что его сердце окаменело, и он больше не сможет жить. Как ни странно, но к жизни его вернула царская охранка, снова вышедшая на его след. Сталина арестовали и через несколько месяцев допросов и отсидки в тюрьме отправили в ссылку в Вологодскую губернию. Годовалый сын Яша остался у родителей Като.

Семьи не стало, осталась одна сжигающая сердце цель в жизни — революция. О сыне он почти не вспоминал, было не до него. Через несколько месяцев он сбежал из ссылки и вер-

нулся в Баку, где жил на нелегальном положении, издавая газету «Бакинский рабочий». На квартире тестя не появился ни разу, боясь быть арестованным. Но вскоре его все же выследили, арестовали и снова отправили в Вологодскую губернию отбывать до конца определенный ссылкой срок.

Его арестовывали семь раз, четырежды отправляя в ссылку в самые отдаленные уголки России. Шесть раз он бежал, обманывая все сыскные службы. До сына ли ему было в эти годы? Последний раз он бежал из Нарыма в сентябре 1912 года, а уже в январе 1913-го его арестовали в Петербурге и отправили на пять лет в Туруханский край. Сбежать оттуда не представлялось никакой возможности. Якова он увидел только в ноябре 1920-го после того, как в Грузии пало меньшевистское правительство, и в Тбилиси вошла Красная армия. Но в это время у Сталина уже была новая жена — юная, трепетная революционерка Надя Аллилуева. Он ее тоже любил. Надя ждала ребенка, через несколько месяцев у нее родился сын Василий. Яков оказался пасынком. Но вскоре он взял его к себе, на свою дачу в Зубалово, ему нужно было, чтобы Яков окончил московскую школу.

Сталин любил эту дачу, хотя бывал на ней очень редко, живя в кремлевской квартире, которая была расположена недалеко от рабочего кабинета. Он обедал всегда только дома, обязательно приглашая за стол кого-нибудь из тех, кто в это время был у него, чтобы закончить начатый в кабинете разговор. В Зубалово он приезжал в редкие свободные минуты, выпавшие на воскресенье, чтобы пообщаться с родственниками и детьми. Там всегда было много ребятишек с соседних дач. Сталин никогда не спрашивал, чьи это дети. Они играли, не обращая на него никакого внимания, детский смех разносился по всему саду, он украдкой посматривал на них и чувствовал, как сердце наполняется радостью. Счастливые дети — это счастливое будущее страны.

Но Яков почти никогда не принимал участия в детских играх. Он сидел где-нибудь в сторонке, кормил кур или цесарок, которых держали на даче, читал книгу или помогал садовнику. Между ним и Сталиным всегда была непреодолимая дистанция. Яков любил своего отца, тянулся к нему всем сердцем, но стеснялся раскрыться перед ним, потому что отец ни разу не говорил с ним по душам. Он всегда находился так высоко, что до него невозможно было дотянуться. А у отца никогда не



возникало потребности опуститься на землю, на которой рос его сын.

Яков окончил школу, поступил в институт инженеров железнодорожного транспорта, у отца появился третий ребенок — дочь Светлана. Но отношения отца и сына оставались прежними. А сын, между тем, вырос. Он уже был в том возрасте, когда людей посещает первая любовь. И она не просто посетила — обрушилась на него. Яков ходил, не похожий на самого себя, ни с кем не разговаривал, потом заявил:

— Я хочу жениться.

Это было там же, в Зубалово. Желание сына оказалось полной неожиданностью для всей семьи. Яков никогда не говорил, что у него есть девушка, никто даже не догадывался об этом. Сталин не любил, когда его, не предупредив и не подготовив, ставили перед фактом. Поэтому сердито спросил:

— Кто она?

Яков замялся, боясь ответить, потом тихо произнес:

— Зоя Гунина, дочка священника.

Была весна тысяча девятьсот двадцать восьмого года. Главный враг строительства социализма в одной отдельно взятой стране и самый непримиримый борец с религией Троцкий находился в ссылке в Алма-Ате. Но его друзья еще заседали и в ЦК, и в Политбюро, а самая крупная в стране ленинградская партийная организация находилась под их контролем. И в это время сын Сталина решил жениться на дочке священника. Сталин почувствовал, как все его тело наливается гневом. Голова становится тяжелой, а взгляд холодным и беспощадным. В эту минуту он не мог думать о сыне, о его первой и, может быть, самой большой любви, которая могла сделать счастливой всю его жизнь. Он видел совсем другое — Яков наносил ему удар в спину. Он давал врагам повод обвинить его в двурушничестве. Партия борется с религией, а в это время ее Генеральный секретарь женит своего сына на дочери священника. Друзья Троцкого только и ждут этого. И Сталин зло и беспощадно, как он не раз бросал это в лицо своим врагам, крикнул:

— Мой сын никогда не женится на дочери священника!

После этого резко повернулся и, не оглядываясь, быстрыми шагами пошел к машине, стоявшей в ограде недалеко от ворот дачи. Он не хотел слышать ответ Якова, боялся, что не сдержится и ударит его.

Ответ пришел на следующий день и оказался совершенно неожиданным. Яков выстрелил себе в сердце, но промазал, пуля прошла навылет, прострелив легкое. Яков остался жив, а Сталин, еще больше обозлившись, сказал жене Наде:

— Передай ему, что он поступил как хулиган и шантажист, с которым у меня нет, и не может быть больше ничего общего. Пусть живет, где хочет и с кем хочет.

Сейчас, медленно шагая по дорожке сада, Сталин вспоминал тот день и думал о том, как он был несправедлив по отношению к своему сыну. Якову пришлось много страдать оттого, что отец не замечал его. И попытка выстрелить в сердце была ничем иным, как стремлением прекратить эти страдания. «Как далек я был от него, — думал Сталин. — И как поздно приходит осознание этого». Но тогда он был настолько зол на Якова, что в сердцах сказал Наде:

— Даже застрелиться и то не может как следует.

Эту фразу он вспомнит через четыре года, когда из такого же пистолета в своей спальне выстрелит себе в сердце сама Надя. Она не промахнется, посланная ею пуля попадет в цель. А Сталин подумает, что способ отомстить ему ей подсказал Яков. И он возненавидит его еще больше.

Отношения со старшим сыном начали налаживаться в тридцать пятом году, когда Яков поступил в артиллерийскую академию. Он не сказал об этом отцу, Сталин узнал о решении сына от наркома обороны. Страна готовилась к войне, и поступок Якова был более чем достойным. Вскоре он окончил академию и остался в ней преподавателем. Ему присвоили звание старшего лейтенанта. 23 июня, на второй день после начала войны, всю академию вместе с артиллерией направили на Западный фронт. Сталин не успел проститься с сыном. Отправка была такой спешной, что Яков даже не зашел домой. Да если бы и зашел, отца там все равно не было. Положение на всей западной границе было критическим, Сталин не выходил из своего кабинета, пытаясь добиться достоверных сведений с участков боев и, в первую очередь, с Западного фронта.

Дела там шли плохо. 21 июля Берия сообщил ему о перехвате немецкой радиопередачи, в которой сообщалось о том, что Яков попал в плен. Берия сидел на совещании за большим столом, глаза его бегали, как у испуганного зверька, Сталин заметил это. Когда совещание закончилось и все приглашенные



на него стали выходить, Берия поднялся, но остался стоять около своего стула. Его бил озноб, он боялся сообщить страшную новость Сталину. Тот понял это и грубо спросил:

— Что там у тебя еще?

И тогда Берия, трясаясь и промокая носовым платком выступивший на лысине пот, почти шепотом сказал ему о радио-передаче.

— А не провокация ли это? — подняв бровь и медленно направляясь к Берии, спросил Сталин.

Ему не хотелось верить в то, что его сын попал в плен. Западный фронт был смят, потерял управление, многие его армии дрались в окружении, десятки тысяч солдат попали в плен. Но Сталин даже в страшном сне не мог предположить, что среди этих тысяч может оказаться его собственный сын. Ему показалось, что из груди вынимают сердце. Что теперь подумает о нем его армия? Как же сражаться оставшимся в живых, если руководитель государства не смог уберечь от плена даже своего сына?

Он долго молчал, опустив голову и зажав в руке потухшую трубку, потом спросил, с трудом выдавливая слова:

— Кто-нибудь еще знает об этом?

— Никто, кроме тех, кто принимал сообщение.

— Больше никто не должен знать, — твердо произнес Сталин. — Яков может еще находиться в окружении. Не исключено, что вместе со своей частью ему еще удастся вырваться. Мы не будем комментировать немецкие сообщения.

Берия ушел, а Сталин все стоял у стола, не решаясь двинуться с места. Отцовское сердце подсказывало, что Берия прав, но разум отказывался этому верить.

В сентябре, когда он обедал в своей квартире, в столовую пришла дочь и положила перед ним на стол немецкую листовку. На ней был изображен худой человек со впавшими, почерневшими щеками, одетый в солдатскую шинель без ремня и петлиц на воротнике. Достаточно было бросить мимолетный взгляд, чтобы узнать в нем Якова.

— Где ты это взяла? — спросил Сталин, подняв глаза на дочь.

— Сегодня ночью немцы сбрасывали эти листовки на Москву, — сказала Светлана. — Утром ее привез нам Василий. — Она сделала паузу и спросила: — Они его убьют?

— Не знаю, — ответил Сталин. — Он для них такой же пленный, как и все остальные.

На глазах Светланы появились слезы, втянув голову в плечи, она повернулась и неслышно, как тень, вышла из столовой. Что он мог сказать ей? Сталин знал только одно — Яков держался в плену достойно. Он не предал Родину, не стал сотрудничать с врагом. Ему, конечно, нечеловечески тяжело. Может быть, его пытаются, стараясь склонить к измене. Может быть, морят голодом. Сталин смотрел на листовку, на худое, изможденное лицо сына и жалел о том, что слишком мало дал ему своей любви, когда тот был рядом. Воспоминание об этой любви могло бы придавать силы и согревать его в холодном немецком бараке.

Сейчас он шел рядом с Жуковым, думая об этом. Потом сказал, не поднимая головы:

— Не выбраться Якову из плена. Расстреляют его фашисты. По наведенным справкам, держат они его изолированно от других военнопленных и агитируют за измену Родине. — Он остановился, посмотрел на Жукова и твердо добавил: — Но Яков предпочтет любую смерть измене Родине.

Лицо Сталина побледнело, он поднял руку, пытаясь изобразить какой-то жест, но безвольно опустил ее и с горечью сказал:

— Какая тяжелая война. Сколько она унесла жизней наших людей. Видимо, у нас мало останется семей, у которых не погибли близкие...

В конце сорок третьего года, когда наши войска, выиграв Курскую битву, беспощадно громили гитлеровцев на Украине, Берия сообщил ему, что немцы через Красный Крест обратились к Сталину с просьбой обменять Якова на фельдмаршала Паулюса. Сталин не знал, было ли это их действительным желанием или они хотели только поднять пропагандистскую шумиху по поводу обмена, но в голове сразу возникла мысль: «Как же так? В немецких лагерях томятся более двух миллионов наших пленных, сотни тысяч немцев находятся в наших лагерях, а они предлагают обменять одного старшего лейтенанта на фельдмаршала? Выходит, все остальные пленные ничего не значат?» Он понимал, что, по всей видимости, подписывает смертный приговор своему сыну, но резко бросил:

— Я солдата на фельдмаршала не меняю.


Берия понял, что возвращаться еще раз к этому разговору



не имеет смысла. Сейчас Сталин думал, стоит ли сообщать о том разговоре Жукову. И, решив, что не стоит, сказал:

— Что-то стало холодно. — Он поежился, передернув плечи. — Пойдемте домой. Попьем чаю, а заодно и поговорим о Берлинской операции.

И пока они медленно шли к крыльцу дачи, Сталин думал о том, что верховная власть и семейное счастье несовместимы. Власть, если ею пользуются не для устройства личного благополучия, а для блага государства — это абсолютное одиночество. Те мерки, с которыми подходят к обычным людям, для верховного правителя неприменимы. Готовы ли на такое одиночество те, кто окружает его? У него не было ответа на этот вопрос...



О
Повесть

НЕ КРИЧИ, КУКУШКА

1

Вадим нещадно гнал своего «Жигуленка», то и дело рискованно выскакивая на встречную полосу. Колеса на поворотах визжали, крошки асфальта дробью разлетались из-под них, но он не обращал на это внимания. Он торопился. Люська уже должна была прилететь, и Вадим понимал, что она вымоталась до предела и потому будет нервной и злой и, если он опоздает, всю эту злость выплеснет на него. Ему не хотелось ни ругаться, ни выслушивать упреки. Она была для него не просто партнером.

В люськину фирму Вадима притащил друг и сокурсник Сема Ляпунов. Он, словно Бог, подвернулся в самую отчаянную минуту. После института со своей специальностью конструктора станков с числовым программным управлением Вадим нигде не мог найти работу. Ни станки, ни их конструкторы никому не были нужны. И если бы не Сема, ему пришлось бы бегать из одной конторы в другую еще неизвестно сколько.

Как оказалось, Сема еще год назад пристроился диспетчером в торговую фирму. Чаще всего развозил товар по точкам, но иногда сопровождал грузы от Москвы до Новосибирска. Рейсы были опасными, потому что в любом месте дороги можно было нарваться на рэкетиров, однако платили неплохо, и Сема сознательно шел на риск. Миллионером он не стал, но на жизнь хватало. Сема и привел Вадима в фирму, где Люська была товароведом.

А через месяц после того, как Вадим устроился на работу, у Семы был день рождения. По сложившейся традиции всем сотрудникам фирмы подобные праздники отмечали в конце рабочего дня. Протокольное мероприятие было стандартным и на редкость скучным. Выпив по две-три рюмки водки, тут же разливали чай и резали большой торт. Закончив с десертом, расходились.

Вадим попал на такое застолье впервые. И уходил с него неудовлетворенным. Ему показалось, что оно было лишь для затравки, настоящая гульба начнется после конторского междусобойчика. Но Сема куда-то слинял, разошлись и остальные, и Вадим остался на тротуаре у дверей конторы вдвоем с Люськой. Он нерешительно потоптался на месте, посмотрел на девушку.



— Ну и что ты думаешь делать? — спросила Люська, которая тоже осталась неудовлетворенной протокольным торжеством, и он увидел в ее круглых глазах таинственную загадочность.

— Засадить бы еще, — сказал Вадим тоном человека, умирающего от жажды, — да жаль, не с кем.

Он разочарованно щелкнул пальцами и еще раз посмотрел на девушку. Не смотря на чрезмерную полноту, в ней было что-то привлекательное. У нее были добрые глаза и мягкая улыбка, да и вся она, в отличие от современных тощих и вертлявых фифочек, у которых через слово изо рта вылетает мат, казалась кроткой и невероятно домашней. Люська опустила голову,ковырнула носком узкой туфли камешек на асфальте и заметила:

— Ну, конечно. Я для тебя — пустое место. — Ее карие глаза смотрели на Вадима почти наивно.

— А где мы можем выпить? — тут же оживился он, уже заранее зная, что она ответит.

— Если хочешь, у меня. — Люська смущенно улыбнулась и опустила голову. — Я живу одна.

Он снова посмотрел на нее. Люська действительно походила на сдобную булочку. От нее исходил аромат здоровья и домашнего уюта. Такие радуются каждому прожитому дню, не строя воздушных замков, чтобы не впасть потом в горькое разочарование. Они принимают жизнь такой, какая она есть, со всеми ее радостями и заботами. Люська ждала ответа, и он сказал легко, словно выдохнул:

— Пойдем!

Остаток вечера и ночь он провел у своей новой подруги. В постели она оказалась искуснее и трепетнее его невесты Тамары, на которой он собирался осенью жениться. И он подумал, что к Люське можно будет иногда забегать на вечерок.

Утром они пошли в контору вместе. В конце рабочего дня Люська подошла к Вадиму, осторожно дотронулась до его руки, и сказала, невинно опустив глаза:

— Давай поужинаем у меня? Я купила отличные отбивные.

Вадим еще вчера обещал прийти к Тамаре и мучился, не зная, как объяснить свое отсутствие. А тут предстояло пропустить еще один вечер. Ревнивая Тамара наверняка закатит скандал. Но Люська смотрела на него с такой выжидательной преданностью, что он, замешкавшись лишь на мгновение, со-

гласился. Оправдание перед совестью пришло само собой: объяснения с Тamarой все равно не избежать, так что один день отсутствия или два, теперь уже не имеет значения.

Ужин вышел на славу. Люська приготовила хороший салат, поставила на стол тарелку с прозрачно-розовыми, сочащимися капельками жира ломтиками семги и блюдо с горкой аппетитных, подрумяненных отбивных. Она, оказывается, не только любила поесть, но и умела хорошо готовить. Над тарелками стройными башенками возвышались две бутылки французского бордо и переливались тонкими гранями высокие хрустальные фужеры. Чуть в стороне стояла ваза с фруктами. Торжественный ужин удивил Вадима.

Едва уселись за стол, Люська, убрав с тарелки поставленную конусом накрахмаленную салфетку, сказала:

– Наливай! – и кивнула на бутылку бордо.

Он разлил вино по фужерам и немного растерянно спросил:

– В честь чего этот праздник?

– Хочу обсудить с тобой одну идею. — Она подняла фужер, чокнулась с Вадимом и неторопливо, маленькими глотками выпила вино. Поставила фужер на стол, пальцами подвинула к Вадиму, чтобы он снова наполнил его.

Вадим удивился еще больше, но фужер наполнил. Ужин становился загадочным. Он ждал объяснений, но Люська не торопилась. Разговор начала, когда они открыли вторую бутылку, и хмель понемногу ударил обоим в головы.

– Что ты скажешь о нашей фирме? — спросила Люська, поворачивая в ладони рюмку и глядя на Вадима сквозь хрусталь. Ему показалось, что его разглядывают в подзорную трубу.

– А что я могу сказать? — пожал плечами Вадим, и отворачиваясь. — Фирма, как фирма. Деньги платит, значит, держится на плаву.

– Вот именно на плаву, – отодвинув фужер, скривила Люська полные губы.

– А ты можешь предложить что-то лучше? — Вадим слегка улыбнулся. Сама мысль о том, что в люськиной голове могут бродить какие-то здоровые идеи, казалась ему неестественной.

– Могу. — Люська повернулась к нему и посмотрела сквозь полуопущенные веки. — Собственное дело хочешь?

Вадим на некоторое время оторопел потому, что никогда не думал о собственном деле. Считал, что у него для этого нет

опыта, да и денег тоже. А без денег свое дело не начнешь. Поэтому молчал, не зная, что ответить.

— Налей еще, — попросила Люська, пододвигая фужер.

Вадим протянул руку к бутылке, наполнил оба фужера до половины.

— Ты обратил внимание, чем торгуют челноки? — Она подняла на него глаза, и он отметил, что в них не было наивности. Они отражали холодную сосредоточенность. Не дождавшись ответа, продолжила: — Китайской дешевкой с фальшивыми этикетками. Весь этот товар рассчитан на самых бедных. А на них много не заработаешь. Надо ориентироваться на богатых.

Вадим отпил глоток вина, стараясь понять, куда она клонит. Китайских товаров действительно было много, но раз рынок завален ими, значит, они пользуются спросом. Но, оказываясь, гадать не было нужды. Люська свою мысль выложила сразу.

— Я отложила на черный день шесть тысяч баксов, — сказала она, сложив на груди маленькие, пухлые руки и глядя на него все тем же сосредоточенным взглядом. — Давай пустим их в оборот. Слетаем в Грецию, там можно по дешевке купить норковые шубы. На нашем рынке их пока нет.

Вадим наморщил лоб, пытаясь определить свою роль в этом деле. На билет до Греции и обратно он наскребет. А вот норковую шубу ему купить не на что. Люська и тут обошлась без загадок.

— Шубы покупаем на мои деньги, — сказала она. — Прибыль пополам.

Партнерство оформилось тут же, ни о какой любви не было и речи. Из фирмы они уволились после того, как купили билеты в Грецию. Норковые шубы продали быстро и заработали вдвое больше, чем истратили. В следующий рейс Вадим отправился один. Люська доверила ему свои деньги. Да и как было не доверить, если он поселился у нее и теперь все повседневные расходы стали общими. Объяснение с Тамарой произошло неожиданно легко.

— Понимаешь, — сказал Вадим, возвратившись из очередной поездки. — Я завел свое дело и на встречи с тобой просто не остается времени. Ты не сердись, я буду звонить, как только появится возможность.

Тамара все поняла и попыталась посмотреть ему в глаза, но он отвел взгляд. За последнее время Вадим неузнаваемо изме-

нил. Вместо заношенных джинсов с кроссовками носил дорогие рубашку и брюки, на ногах — модные ботинки, а на шее — толстую золотую цепь. Изменил Вадим и прическу. Теперь он был подстрижен коротко, почти под ноль. Но Тамару удивила не его внешность, а откровенная ложь. Она поняла, что он продался обеспеченной женщине. В этом убеждало еще и то, что от него несло стойкими горьковатыми духами, которыми пользуются только женщины. Раньше он никогда не душился, горьковатый запах раздражал ее. Прикусив нижнюю губу, Тамара подыскивала самые злые слова, которыми могла бы ответить. Залилась краской, разжала побелевшие губы и сказала:

— Ну и мразь же ты, Вадик. — Дернула плечом и добавила: — Ничтожество.

Повернулась и зашагала прочь. Он хотел ответить грубостью, но сдержался, рассудив, что все вышло как нельзя лучше. Ни слез, ни упреков. Томка оказалась молодцом, ушла гордо. Вадим проводил ее взглядом, несколько мгновений слушая, как она стучит по асфальту стертymi каблуками туфель, и неторопливо направился к Люське.

На ужин его ждал хороший бифштекс и бутылка бордо. Но есть не хотелось. Он чувствовал себя, словно человек, спасшийся после кораблекрушения. Жить остался, а все, чем дорожил, утонуло. Такое состояние лишало душевного комфорта и навевало грусть. Вадим выпил вина и, отказавшись от ужина, сел на диван смотреть телевизор. С Тамарой он решил поговорить позже, когда бизнес встанет на широкую ногу. Подумал, что никуда она не уйдет, ведь на деловой партнерше жениться он не собирался.

Дело, которое предложила Люська, быстро пошло в гору. Через год они продали ее однокомнатную квартиру и купили трехкомнатную. Еще через год обзавелись машиной и импортной мебелью. А совсем недавно стали арендовать отдел в приличном магазине, наняли продавщицу. Она была молоденькой, но ушлой. Знала, где стрельнуть глазками, сделать так, чтобы как бы невзначай почти на всю длину обнажилось оголенное бедро, а где держать дистанцию. Люська сразу усекла это, но отказывать девушке в работе не стала. Однако дома, бросив взгляд на мускулистую фигуру Вадима, сказала:

— Застукаю с продавщицей, кастрирую.

Заводить шашни с продавщицей Вадим не собирался.



Женщин ему хватало. Во время челночных рейсов за товаром всякий раз была новая, а то и две. Подсчитывая вырученные после таких поездок деньги, Вадим с благодарностью смотрел на Люську и думал о том, как бы он жил сейчас, не встретить ее. А то, что она такая толстая (за это время Люська потолстела еще больше, ее короткая шея почти исчезла, а раздобревший подбородок лежал на груди, под ним все время потело, поэтому Люська носила закрытые кофточки), так не всем же иметь стройных. Во всем остальном Вадим был счастлив. Как ему казалось, он имел все, что мог пожелать смертный человек. Тамара как-то сама собой забылась, за все это время он не вспомнил о ней ни разу.

Но вчера после полудня он встретил Сему Ляпунова, которого не видел почти два года. Зашли в летнее кафе выпить по кружке пивка, сели за круглый пластмассовый столик. Сема работал все в той же фирме и был чрезвычайно доволен. Фирма помимо других приобретений, купила макаронную фабрику, Сему назначили ее коммерческим директором. Однако главная новость была не эта. Полгода назад Сема женился, и его женой стала бывшая невеста Вадима – Тамара.

От этой новости Вадим ощутил состояние, близкое к шоку. Жизнь, минуту назад казавшаяся сплошным праздником, вдруг потеряла смысл. Ведь он зарабатывал деньги не для того, чтобы, набив ими подушку, с благоговением ложиться на нее каждую ночь. Деньги не делают человека счастливым, если их не на кого тратить. Между тем, Сема говорил, не останавливаясь, и, в основном, о Тамаре.

— Ты знаешь, — захлебывался он восторженным откровением. — Если бы не Тамара, я бы никогда не стал коммерческим директором. Она максималистка. Для нее деньги — не самое важное. Для нее главное — положение человека в обществе, среда, в которой он возвращается. И потом она такая красивая. Ей даже руку приятно поцеловать. Разве это не счастье? Мы же живем ради баб. Не так ли? — Он наклонился почти к самому лицу Вадима, дохнув на него запахом свежего пива. Вадим осторожно отодвинулся в сторону.

За все время жизни с Люськой Вадим ни разу не целовал ей руку. И не понимал, какое удовольствие может получить мужчина, прикасаясь губами к толстой, потной, постоянно пахнущей то селедкой, то луком, то еще чем-нибудь руке женщины.

Сема еще что-то долдонил, но Вадим уже пропускал это мимо ушей. Сидеть за столиком с мужем той, которую ты любил, и слушать его рассказы о том, как он целует ее руки, расхотелось. Вадим расплатился за свое пиво и, сославшись на дела, ушел.

Дома было одиноко и неуютно. Вадим достал из холодильника бутылку водки, налил почти полный стакан, выпил залпом, нехотя пожевал оставшийся от завтрака и уже немного подсохший ломтик ветчины. Думал, что после этого станет легче, но хмель не брал. Вадим допил водку, посидел немного и выпил еще несколько бутылок пива. Облегчение не приходило.

Надо было перед кем-то выговориться, но друзей у Вадима не осталось. Он включил телевизор. На экране показывали американскую жизнь. Кто-то кого-то убивал, кто-то насиловал, кто-то убегал от погони. Вадим выключил телевизор, достал из холодильника еще одну бутылку водки, налил половину стакана, выпил. Не раздеваясь, лег на диван и провалился в бездну.

2

Утром Вадим прибрал комнату, выбросил в мусоропровод пустые бутылки и поехал встречать Люську. Настроение было отвратительным. Он глянул на себя в переднее зеркальце. Лицо помято, словно скомканная, а затем разглаженная на колене бумага, глаза заплыли, вместо них — узкие щелочки. В голове слегка постукивает, во всем теле вялость. Типичное состояние человека с похмелья. А все потому, что позавидовал женитьбе Семы Ляпунова. Он только сейчас понял, что приобрел совсем не то, к чему стремился. Сытая жизнь хороша только для желудка. Душе нужно другое.

Он ругал себя за то, что напился, похмелье вызывало физическую боль. Вадим потрогал пальцами затылок, затем глянул на часы. Самолет уже прилетел, а до аэропорта еще пилить да пилить. Придется сказать Люське, что менял по дороге колесо. Она, конечно, не поверит, и скандала не избежать. Но в нем не будет злобы и неприязни. Пока доберутся из аэропорта до дому, удастся помириться. Тем более что коньяк для встречи стоит в баре, а в морозилке лежат пельмени. Он их купил в кулинарии еще вчера. Люська не виновата в его душевных страданиях, она честно отработывает обязанности партнера.

При мысли о том, что придется пить и сегодня, Вадим снова посмотрел на себя в зеркало. Лицо было все таким же помятым, а глаза заплывшими. «И зачем надо было напиваться? — подумал он, погладив пальцами кожу на щеке. — И еще эта Тамара... Ну, вышла замуж, и пусть выходит»... Он досадливо сморщился, пытаясь отогнать самую мысль о ней. Вадим исключил Тамару из своей жизни еще два года назад. Тогда почему же она не выходит из головы, почему так ноет сердце при одной мысли о ней? Он вдруг представил, как Сема целует ей руку, и неосознанно потрянул головой, словно пытался отогнать кошмарный сон. Он сам целовал руки Тамаре, даже сейчас помнил ее узкие ладони с тонкими, длинными пальцами и необыкновенно нежной кожей. Такие руки бывают только у настоящих женщин. У Люськи они грубые, а кожа на ладонях жесткая, как фанера.

Вадим вспомнил взгляд Тамары, когда разговаривал с ней последний раз. Сначала она смотрела на него с брезгливым отворачиванием, но потом брезгливость вдруг сменилась непонятной, пронзительной жалостью. Тогда он не придал этому значения, а сейчас понял, почему она пожалела его. Так смотрят на убогих, бросая в их кружку звякающую монету. Он непроизвольно сжался и отвел взгляд. «Все в мире вершится по одному закону, — подумал Вадим. — За каждое приобретение нужно платить. Неважно чем — деньгами, удовольствием, любовью. Тамара, конечно, красивая, но Люська — несгораемый сейф. Что выбрал, то и досталось».

Он пытался успокоить себя этой мыслью, но успокоения не пришло. Мстительная память вдруг ни с того, ни с сего вызвала из небытия еще одну девушку, прекраснее которой он не встречал никого в жизни. Может быть потому, что это была первая любовь. Перед глазами вдруг встала неширокая спокойная речка с песчаным пляжем и густыми тальниками по берегам и Катя в голубом купальнике на белом песке. Картинка предстала так явственно, что на Вадима даже пахнуло запахом свежей воды и чистого женского тела. В тот день Катя впервые поцеловала его. Такую девушку Господь Бог посылает только раз в жизни. Вот за кого он отдал бы и «несгораемый сейф», и все благополучие. Но прошлое не возвращается. «Может быть, и к лучшему», — подумал Вадим. Он сбросил скорость и осторожнее повел автомобиль. Ну ее к черту, эту скорость. В таком

состоянии недалеко до беды. Обгоня очередную машину, он едва разминулся с летевшим навстречу «Фордом».

А Катя не уходила из памяти. Она словно спрашивала, нашел ли он счастье после того, как трусливо предал ее? «Какое там счастье? — мотнул головой, отвечая сам себе Вадим. — Счастливыми чаще всего оказываются не предающие, а преданные». При этом вслед за Катей ему снова вспомнилась Тамара.

В аэропорту ему удалось поставить «Жигуленка» почти у самого выхода из здания аэровокзала. Свободное место было здесь всего одно, и на него уже нацелился старичок на «Запорожце». Но пока он, высунув голову из кабины, выруливал, стараясь не задеть стоявший рядом «Мерседес», Вадим проскочил на незанятое место, торопливо, по-воровски захлопнул дверцу и бегом кинулся в здание аэровокзала. Когда старичок сообразил, в чем дело, Вадим уже исчез.

У самых дверей аэровокзала он чуть не сшиб с ног бомжа, пытавшегося поднять с пола пластмассовую бутылку из-под газированной воды, оставленную кем-то из пассажиров. Бомж поднял на Вадима глаза, полные испуга. Очевидно, ему показалось, что тот хочет отобрать трофей — бутылка была выпита только наполовину. Вадим оторопело остановился. Перед ним было подобие человека, возраст которого затруднился бы определить самый опытный судмедэксперт. Лицо бомжа было покрыто толстым слоем грязи, сквозь которую проступала такая же грязная, клочкастая щетина. Его руки тряслись, выглядывавшие из-под рукавов драного пиджака кисти были покрыты не то ошметками грязи, не то коростами. Вадим хотел извиниться, но вдруг услышал позади себя трескучий, надломленный голос:

— Давай сюда! Чего остановился.

Он обернулся. За его спиной стояла такая же опустившаяся женщина и протягивала руку к бутылке, которую прижимал к груди бомж. У нее был щербатый рот и разбитое, в засохших кровоподтеках лицо. Вадиму стало жутко от этой, не весть откуда взявшейся пары и он рывком дернул на себя дверь, чтобы быстрее скрыться от кошмарного видения.

Самолет из Эмиратов прилетел вовремя, но пассажиров не выпускали из зала таможенного контроля. Как оказалось, вчера вечером который уже раз за последний месяц были измене-



ны таможенные правила, и теперь за каждый килограмм груза надо было вносить дополнительную плату. Таможенный зал был наглухо закрыт, но сквозь его стены доносилось недовольное гудение челноков. Вадим понимал, что, сколько бы они не гудели, деньги с них все равно сдерут. Он даже обрадовался задержке: не придется оправдываться перед Люськой за опоздание. А что касается дополнительной оплаты, ее возместят покупатели. Государство дерет с челноков, челноки — с трудового народа. Таков закон рынка.

Вадим огляделся. В зале было немногочленно. Лишь у одной секции собрался народ, там начиналась регистрация на очередной рейс. Когда он входил в здание, дикторша как раз объявляла об этом. Самолет авиакомпании «Люфтганза» отправлялся из Новосибирска во Франкфурт-на-Майне.

Из дверей таможенного зала никто не выходил, и Вадим решил пройти в буфет, выпить стакан пепси-колы. С похмелья всегда хочется пить. Он уже почти дошел до буфета, когда увидел недалеко от очереди, выстроившейся на регистрацию, девушку в широкополой черной шляпе и элегантно темном-сером пальто. Ее загорелое, красивое лицо, на котором выделялись большие глаза и чуть припухшие, сочные губы, невольно задерживало на себе взгляд. В нем отражались уверенность и большое чувство собственного достоинства. Он старался не обращать внимания на таких девушек, потому что наметанным глазом сразу определял: они не для него. Они совсем из другого мира, в который ему нет и, по всей видимости, никогда не будет доступа. Но эта поразила его. В ней все было настолько совершенно, что не заглядеться на нее было невозможно. Она показалась Вадиму какой-то неземной. И еще подумалось, что где-то он ее уже видел. Но рассматривать ее, стоявшую в одиночестве посреди зала, было неудобно. Проскочив мимо девушки, он подошел к стойке буфета и попросил стакан пепси-колы.

Напиток был холодным и приятно освежал. Неторопливо потягивая его, Вадим повернул голову, чтобы еще раз посмотреть на девушку. Но ее уже не было. Он обвел взглядом огромный зал и увидел, что она стоит около газетного киоска и разговаривает с Семей Ляпуновым. «А этот пройдоха откуда здесь взялся?» — с неприязнью подумал Вадим и почувствовал, что на сердце заскребли кошки. Он второй раз позавидовал Семе. Первый раз вчера, когда узнал, что тот женился на

Тамаре. Тамара не Люська, с которой можно пить водку и разговаривать матом. У нее совсем другие интересы в жизни. Она и прочитала больше, и в музыке разбиралась лучше, иногда заставляя его слушать свою игру на пианино, и все человеческие поступки делила на дозволенные и те, что грех совершать. Этот «грех» смешил его. Вадим не понимал, зачем отказывать себе в чем-то, если у человека всего одна жизнь, и то, что не сделал на этом свете, на том уже не совершишь никогда. Да, Тамара была из другого мира, как и эта девушка, с которой разговаривал Сема.

«О чем они могут говорить?» — невольно подумал Вадим, в котором начала закипать злость против Семы, и, поставив стакан с недопитой пепси-колой, он уже хотел направиться к своему дружку, но увидел, что к ним подошел высокий парень в длинном черном пальто из дорогого кашемира. Вадим хорошо знал цену шмоткам, и сразу прикинул, что пальто стоит не меньше пятисот долларов. Парень что-то сказал девушке, та понимающе кивнула, пересекла зал и пристроилась к очереди улетающих во Франкфурт-на-Майне. Теперь девушка встала лицом к Вадиму и, хотя она находилась далеко, он готов был поклясться, что где-то видел ее. И мучительно, до боли в голове, стал вспоминать. Так бывает, когда на ум неожиданно придет забытый мотив. Ты начинаешь воспроизводить мелодию, а из какого музыкального произведения она вырвана, не можешь вспомнить. Девушка тоже посмотрела на Вадима. Их взгляды встретились, и его сразу обожгло: «Неужели Катя? Откуда ей взяться? Да и как она могла преобразиться в такое чудо?»

Вадим почувствовал, как зашлось сердце и пересохло во рту. Вокзал, Люська, Сема с Тамарой провалились в небытие, осталась одна Катя. Воздух наполнился ее дыханием и теплом. У него ослабели ноги, он сделал порывистое движение в ее сторону. Но внутренний голос тут же осадил: «Зачем?» Вадим нерешительно остановился и произнес: «Чтобы искупить вину, хотя бы через столько лет». Но в словах не было уверенности, Вадим почувствовал это сам. Да и чем ее можно было искупить? Начать жить сначала, забыв все, что было после того страшного дня? Но как? Кому это удалось?

Не отводя взгляда от Кати, он протянул дрожащую руку к стакану с пепси-колой, отпил глоток и поставил стакан на место. Очередь, в которой стояла Катя, продвинулась вперед. На



месте остались лишь два широкоплечих амбала, одетых в черные костюмы с одного прилавка, оба под два метра ростом, мускулистые, с короткими прическами. У их ног стояли два больших пластиковых чемодана на маленьких колесиках. Один из амбалов сделал шаг к Кате и, низко наклонив голову, начал что-то говорить ей. До Вадима дошло: это охрана. Второй амбал не спускал глаз с парня, с которым беседовал Сема.

Разговаривать с Катей расхотелось. Тем более что она, бросив на него единственный взгляд, отвернулась и больше не смотрела в его сторону. «Не может простить, — подумал Вадим. — Я бы тоже не простил». И тут же пришла успокоительная мысль: «А, может, это не она? Может, я ошибся? Ведь на земле столько людей, похожих друг на друга. Спрошу потом у Семы, он ее знает, скажет, кто такая».

Вадим снова протянул руку к пепси-коле. В это время распахнулась дверь таможенного зала и сквозь проем стали протискиваться люди, толкая перед собой огромные сумки и тюки. Аэровокзал сразу наполнился разноголосым гомоном. Челноки, прилетевшие из Эмиратов, рвались на свободу. Где-то среди них была Люська. Он представил ее потную, взъерошенную, озлобленную неожиданной задержкой, и нехотя двинулся навстречу вываливающей толпе. Надо было встречать подругу. Тем более что Люська с тюками уже оказалась в зале и, вытирая платочком пот с лица и закрывая, нервно озиралась, ища глазами Вадима. Он оторвался от стойки и, понурив голову, пошел ей навстречу, согнувшись и опустив плечи, словно раб.

Проходя мимо очереди улетающих во Франкфурт, Вадим поймал на себе взгляд элегантной девушки. Их глаза снова встретились и он услышал, как она громко и отчетливо спросила:

— Вадим?

Звук голоса потряс его. Он никогда не слышал, чтобы она произносила хотя бы одно слово. Вадим обмер, увидев Катини глаза, и сразу перестал ощущать себя. Все, что жило в подсознании долгие годы, заполнило душу. Он словно вернулся в прошлое. Вадим произвольно шагнул навстречу и произнес высохшими губами:

— Катя?

3

Ночью над поселком бесновалась гроза. Молнии, взрываясь огромными всполохами, рвали на части небо, высвечивая крыши домов и силуэты деревьев, на землю с шумом обрушивались потоки дождя. Но в доме было тепло и уютно, и бушевавшая непогода делала этот уют особенно замечательным. Крыша гремела, оконные стекла при каждом раскате грома слегка позвякивали, а стоявшая под окном береза, сгибая при порывах ветра раскидистую верхушку, жалобно шелестела холодными, мокрыми листьями. Всполохи молний выхватывали ее из темноты и освещали кухню. И тогда Федор видел сидевшую рядом Катю, которая, подперев маленькой рукой подбородок, смотрела в окно. Он чувствовал, что ей нравится сидеть в темноте и слушать бушующую за окнами непогоду.

Отец еще с обеда уехал на станцию получать инструмент и не вернулся. Последний пригородный поезд давно прошел, а пассажирские здесь не останавливались. Так что приехать он мог не раньше обеда следующего дня. Такие отлучки отца случались не первый раз, и дети привыкли к ним. Однажды Федор слышал, как их соседка, рыхлая женщина лет пятидесяти, которую за большие выпуклые глаза и отвисший, похожий на студень, подбородок в поселке прозвали Жабой, говорила старухе Редкозубовой, что отец завел на станции женщину. Она работала в отделении дистанции пути то ли кладовщицей, то ли учетчицей. Может быть, отец остался у нее. Федор, считавший себя в свои пятнадцать лет уже взрослым, не осуждал отца за это. Мать умерла семь лет назад, и с тех пор отец жил вдовцом.

Катя появилась на свет через год после Федора, росла озорной и чрезвычайно подвижной, но в день смерти матери стала немой. Отец обвинял в этом Руфину. Та первой увидела, что их мать попала под проходящий через разъезд товарняк. Хотела проскочить пути перед самым тепловозом, но оступилась, упала на рельсы, и ей отрезало ноги выше колен. Мать в агонии на руках поползла от еще грохотавшего состава, а обе ее ноги остались лежать между рельсов. Все это случилось на глазах соседки, оказавшейся около железнодорожной насыпи. Ей бы бежать в конторку, звать на помощь врача, а она, ополоумев от страха, понеслась первой сообщить страшную весть детям.

Дома была одна Катя. Запыхавшаяся Руфина рывком отворила дверь, тяжело дыша, повалилась на косяк и, сорвав с головы платок, закричала, срывая голос:

– Беги на станцию. Там твою мать зарезало поездом.

Катя, побелев и почувствовав, что от страшных слов остывает сердце, уставилась на соседку расширившимися зрачками.

– Беги, чего стоишь, — мотнув головой, повторила Жаба и вытерла платком пот с лица. — Может, еще живую застанешь.

Катя попыталась что-то ответить, но у нее отнялся язык. Она долго не могла оторвать от пола ноги, потом, наконец, сдвинулась с места, проскочила мимо соседки и, часто-часто работая локтями, побежала на станцию. Еще издали увидела на краю насыпи толпу людей. Мать лежала в огромной луже почерневшей крови, но была еще жива. Толпа расступилась и пропустила Катю. Мать посмотрела на нее широко раскрытыми, затуманенными глазами и попыталась произнести какую-то фразу, но не смогла. Ее фиолетовые губы слегка шевельнулись, но рот не открылся. Катя отвела взгляд от глаз матери и увидела лежащие между рельсами ноги. Она качнулась, словно потеряв опору, почувствовала, что земля поплыла из-под нее и упала рядом с матерью.

Очнулась Катя дома на своей кровати. В комнате было полно людей, в том числе совершенно ей незнакомых. Из кухни доносились два голоса, мужской и женский.

– Ну и что вы сделали, когда увидели? — спросил мужчина и его голос показался Кате сухим и неприятным.

– Как что? Побежала сюда, сообщить детям, — ответила женщина и Катя по голосу узнала Руфину.

– Почему детям, а не дежурному по станции? — снова спросил мужчина.

– Да я разве знаю, почему? — дрожащим голосом произнесла Руфина. — Увидела — мать помирает, вот и понеслась.

Катя приподнялась на локте, чтобы рассмотреть через дверной проем тех, кто разговаривает, и увидела спину человека в милицмейском кителе. Руфину допрашивал милиционер. Он сидел за столом и, задавая вопросы, что-то писал на большом белом листе бумаги.

– Ты лежи, лежи, — услышала Катя над собой женский голос и почувствовала, как мягкая рука прикоснулась к ее плечу.

Сидевшая рядом с кроватью женщина погладила Катю по голове и натянула на нее одеяло до самого подбородка. Катя не сопротивлялась. Она чувствовала такую слабость и безразличие ко всему, что у нее не было ни сил, ни желания возражать. Несколько минут она лежала с закрытыми глазами, не шевелясь, не слушая доносившийся из кухни глуховатый разговор. И вдруг вспомнила об отце. Его не было ни в комнате, ни на кухне. Катя откинула одеяло, села на кровати, свесив тонкие босые ноги, затем соскочила и, не глядя ни на кого, вышла на улицу.

Отец сидел на крыльце и докуривал сигарету, огонек которой светился у самых кончиков пальцев. По всей видимости, он не чувствовал его. Кате бросилось в глаза почерневшее, состарившееся лицо отца и совершенно отсутствующий взгляд. Его глаза были устремлены на баню, которая находилась за огромной цветочной клумбой, разбитой матерью. Катя проследила за его взглядом и увидела стоящий прямо на траве гроб из белых свежеструганных досок. Дверь бани была открыта, в ней суетились женщины. Шестым чувством Катя поняла, что мать находится там. Она вспомнила ее, всю в крови, лежавшую рядом с рельсами, и у нее так больно сжалось сердце, что из груди вырвался невольный стон. Она сделала шаг к отцу, открыла рот, чтобы крикнуть: «Папа»! — но язык не шевелился. Это было так неожиданно, что она замерла от ужаса. Катя попыталась сделать усилие, чтобы произнести заветное слово, но оно застряло в горле и никакие силы не могли вытолкнуть его наружу. У нее от страха подкосились ноги, она упала на плечо отца, беззвучно заплакав и содрогаясь худеньким тельцем. Отец широкой ладонью привлек дочь к себе и прижал к теплому боку. Катя уткнулась лицом в отцовскую грубую, пропахшую мазутом и крепким потом рубаху, и не видела, как из бани выносили отмытую от крови, одетую в чистое платье мать, и укладывали в гроб.

Мать похоронили на следующий день перед обедом на станционном кладбище, расположенном сразу за околицей. Кладбище окружали раскидистые березы с тонкими, как ниточки, ветками, покрытыми маленькими, круглыми листьями. Мать лежала в гробу, сложив на груди руки и лицо ее было белым, как береста. Никогда Катя не видела такого белого лица. И еще запомнилось ей. Когда гроб опускали в могилу, на одной



из берез закуковала кукушка. Она куковала все время, пока засыпали могилу и устанавливали на свеженасыпанном холмике крест. И Кате показалось, что это не кукушка, а мама плачет, расставаясь с ней.

С кладбища возвращались молча. Справа от отца шел Федя, слева — Катя. На поминках собралось много людей. Руфина села на лавку рядом с Катей. Опрокинув «на помин души» в круглый, обрамленный тонкими, сухими губами, рот первую рюмку, она положила шершавую, морщинистую ладонь на Катину голову и произнесла:

— Сиротка ты наша, кто же теперь будет за тобой смотреть?

Может быть, она хотела выразить таким образом сочувствие, но от прикосновения холодной руки Кате стало неприятно. Она дернулась, сбросив с головы чужую ладонь, встала и вышла из-за стола.

— Ишь какая, — сказала Руфина, проводив ее взглядом. — Нервная вся.

Утром семья впервые села завтракать без матери. Отец встал раньше обычного, сам подоил корову. Выгнал ее вместе с теленком за ограду пастишь на свежей траве, и стал жарить картошку. Он приготовил ее так, как больше всего любили ребятишки — чтобы она была золотисто-поджаристой и слегка хрустела. Сковородка уже стояла на столе, но картошка в ней еще продолжала шипеть, когда он разбудил детей.

— Вставай, Федя, — произнес отец, слегка дотронувшись рукой до плеча сына. — А то мне идти на работу.

Дети встали, озираясь спросонья, наскоро умылись из рукомойника, висевшего на стене над тазом, уселись за стол и оглянулись, ища глазами мать. Ее не было. Все трое молчали, время от времени бросая взгляд на дверь. Есть никому не хотелось, не было аппетита. Молчание было тягостным. Отец первым не выдержал и, тяжело вздохнув, сказал:

— Теперь вот так и будем куковать втроем.

Он поперхнулся, опустил глаза и замолк. Федя заметил, как резко постарело лицо отца всего за один день. Щеки ввалились, под глазами появились черные полукружья. Широкие, иссеченные мелкими шрамами, ладони отца вздрагивали. Он был растерян, не знал, что сказать и что сделать.

— Чего молчите? — спросил отец, глядя на детей.

— А чо говорить? — ответил Федор. — Иди на работу. За ко-

ровой я посмотрю. За ней — тоже. — Он кивнул в сторону Кати.

— А ты что молчишь? — обратился отец к Кате.

Она так же, как и вчера, попыталась что-то сказать, но из гортани вырвался только нечленораздельный звук. Катя опустила голову и заплакала.

— Она и вчера весь день не разговаривала, — заметил Федор.

— Ничего, отойдет немного и заговорит, — Отец погладил Катю по голове. Потом посмотрел на сына, намереваясь что-то сказать, но только махнул рукой, повернулся и, скрипнув дверью, вышел из дома.

Катя не заговорила ни в этот день, ни на следующий, ни через неделю. Сначала этому не придавали значения. Думали — пройдет потрясение, и речь вернется. Однако день шел за днем, а речь не возвращалась. Через месяц отец повез дочь в городскую больницу. Там Катю водили от врача к врачу, но ни один не находил отклонений в ее здоровье. Медицина оказалась бессильной перед немотой девочки. Между тем, лето кончалось, приближалось начало школьных занятий. Катя должна была идти во второй класс. Отец хотел оставить ее дома, но Катя заупрямилась и сама пошла в школу.

— Что же я буду с тобой делать, девочка моя? — сказала учительница Клавдия Ивановна, и на ее глаза навернулись слезы.

Она обняла Катю, постояла с ней некоторое время у стены в школьном коридоре, потом взяла ранец девочки и отвела ее в класс. Клавдия Ивановна посадила Катю на первую парту напротив своего стола и сказала:

— Слушай, что я буду говорить на уроке и запоминай. Если что не поймешь, запиши в тетрадку и покажи мне. Я объясню тебе снова. Гуманитарные предметы ты освоишь, а большего девочке и не надо. — Клавдия Ивановна потрепала Катю по голове и улыбнулась. Катя тоже улыбнулась ей.

Начальную школу Катя закончила с отличием. У нее появилось упорство, какого не было раньше. Девочка компенсировала им физический недостаток. За это время отец не раз возил ее в больницу, врачи снова осматривали, прослушивали, заставляли открывать рот, снимали энцефалограмму, не находили никаких патологических отклонений, но речь не вернула.

В пятый класс отдавать Катю Клавдия Ивановна не посоветовала.



— Занятия там будут вести предметники, — сказала она отцу. — На индивидуальную работу с учениками у них времени нет и, если Катя станет хронически отставать, это будет дополнительной нагрузкой на психику. Лучше оставьте ее дома, пусть с девочкой занимается Федя. Литературу, историю, географию она с ним освоит, а остальное — как получится.

Отец так и поступил. Катя помогала готовить уроки Феде и одновременно кое-чему училась сама. Математику она осваивала с трудом, зато много и с удовольствием читала и очень любила писать письма отцу и Феде. В них она рассказывала обо всех происшествиях за минувший день, но никогда не показывала письма ни тому, ни другому.

После смерти матери отец остался бобылем, и все тяготы хозяйки дома легли на Катины плечи. В десять лет она уже научилась подтирать полы и upravляться со стиральной машиной, готовить нехитрые обеды. Стесняясь своей немоты, Катя почти перестала встречаться со сверстниками, шумные детские игры выпали из ее жизни.

Единственным ее другом был брат. С ним она разговаривала без слов. Достаточно было сделать жест или бросить в его сторону взгляд, и он уже понимал, что это означает, чего она хочет. Она любила сидеть с братом на крыльце, смотреть на ровную, выкошенную отцом полянку с клумбой посередине, и слушать, как прямо у ограды поют птицы или кукует кукушка. Кукованье всегда навевало на нее печаль. Оно напоминало о страшной смерти матери, ее похоронах. В такие минуты на глаза Кати наворачивались слезы, она поднималась с крыльца, уходила к себе в комнату и, упав лицом на подушку, беззвучно плакала. Ее острые, худенькие плечи вздрагивали, слезы текли по лицу, в эту минуту она не хотела видеть никого, даже Федю.

В четырнадцать лет с Катей произошли разительные перемены. Ее плечи слегка округлились, резкие движения уступили место плавным и осторожным, крепкие ноги приобрели стройность, платье на груди стало топорщиться, словно под ним лежали два маленьких яблочка. Но особенно изменился ее взгляд. Он стал мягким и задумчивым, в нем появилась глубина, отражающая переживания обретающей зрелость души. Несколько дней назад, когда они всей семьей сидели на диване, отец, посмотрев на дочь, как бы мимоходом обронил:

— А ты у нас заневестилась. Скоро приданное собирать придется.

Катя почувствовала, как екнуло сердце, а лицо обдал нестерпимый жар. Она подумала, что отец узнал ее тайну. Закрыв лицо руками, она встала с дивана и вышла на улицу.

4

Случилось это два дня назад. Федя с Катей пошли купаться на речку. Стоял жаркий день. Белое солнце, висело над самой головой, выгоревшее небо утратило синеву, и было похоже на много раз стиранную, подсиненную простыню, воздух дрожал, растекаясь тягучими струями, а песок был горячим, как раскаленные угли. Спаситься от такой жары можно было только у реки.

Катя сбросила на песок цветастый ситцевый сарафан, с разбегу прыгнула в воду и, выбрасывая вперед руки, размашисто, по-мальчишески поплыла к другому берегу. Речка была неширокой, но с быстрым течением и глубокими омутами. На дне било несметное количество ключей, поэтому вода в ней состояла как бы из двух разных слоев — верхнего, теплого, и нижнего — обжигающе холодного. Катя хотела нырнуть в глубину, чтобы обжечься холодом родников и потом с уханьем выскокить на поверхность, но раздумала. После ныряний приходится долго сушить волосы, к тому же они становятся непослушными, не поддаются расческе.

Она с удовольствием проплыла вверх по течению, потом встала в воде столбиком и, едва шевеля руками, стала ждать, когда течение поднесет ее к тому месту, откуда она прыгнула в воду. Выбравшись на берег, она легла на раскаленный песок, закрыла глаза, расслабленно раскинула ноги и руки и отдалась солнцу. Федя сел рядом, набрал полную горсть горячего песка и тоненькой струйкой стал высыпать его себе на ногу. Искрящиеся на солнце песчинки прилипали к мокрой коже, покрывая ее тоненькой перламутровой корочкой. Вскоре ему это надоело, и он тоже лег. Но полежать спокойно им не удалось. Из-за кустов тальника раздался залиvistый свист.

Катя приподнялась на локте и повернула лицо в ту сторону, откуда свистели. От тальников, с кромки которых начинался пляж, по горячему песку торопливым шагом к ним приближался Вадик. Катя хорошо знала его. Он жил в большом городе Новосибирске, но каждое лето хотя бы недели на две приезжал



на станцию к деду с бабкой, большой деревянный дом которых с зеленой железной крышей и раскидистой рябиной у окон стоял на самом краю поселка. Далекый Новосибирск казался загадочным, и Катя мечтала хотя бы раз побывать в нем. Ей непременно хотелось, чтобы на вокзале ее встретил Вадик. Они бы пошли на главную улицу, где находится самый большой театр, изображение которого она видела на открытках, а потом Вадик пригласил ее к себе домой, и они пили с ним чай с сахарным печеньем. По такому случаю Катя надела бы самое красивое платье.

Вадик дружил с Федей, они вместе ходили на рыбалку и нередко возвращались домой с хорошим уловом. По всей видимости, он шел искупаться и договориться о рыбалке. Катя посмотрела на него и снова расслабленно легла на песок. Федя, поздоровавшись с другом, сел.

Вадик подошел к Кате, остановился около ее головы, и она сквозь прищуренные ресницы увидела его загорелые ноги, покрытые белыми волосками. Вадик перехватил ее взгляд и покачнулся, словно натолкнулся на невидимую стену. Он видел Катю много раз, но сегодня впервые за все время их знакомства от ее взгляда у него возникло чувство, что кто-то дотронулся до его сердца нежным пальчиком. От всей Кати исходило необыкновенное обаяние, которого раньше не было или он его не замечал. А ее глаза были такими большими и красивыми, что в них захотелось утонуть.

Вадик стал незаметно, чтобы не привлечь внимание, рассматривать Катю. Ее тонкую чистую шею, стянутую узким голубым лифчиком грудь с двумя маленькими, четко обозначенными холмиками, длинные, стройные, словно выточенные умелым резцом, ноги. Но тут же почувствовал неловкость из-за своего любопытства и, чтобы избавиться от него, спросил, повернувшись к Феде: «Вода сильно мокрая?» И, рассмеявшись глупому вопросу, прыгнул в речку, словно старался побыстрее смыть охвативший его жар. За ним с криком, будто пытаясь поймать, прыгнул Федя.

Мальчишки, поднимая высокие брызги и весело крича, стали гоняться друг за другом. Выпрыгивая из воды почти до пояса, они снова уходили вглубь, пытаясь донырнуть до песчаного дна. Вытянув вперед руки, они усиленно работали ногами, но дна так и не доставали. Речка в этом месте была глубокой. На

берег они выбрались, изнемогая от усталости и тяжело дыша. Медленно передвигая ноги, Вадик подошел к Кате и упал около нее на песок. Несколько минут он лежал на животе, не шевелясь и не открывая глаз. Потом повернулся на бок и посмотрел на Катю. Раскинув руки, она лежала на спине, подставив себя жаркому солнцу. Ее глаза были закрыты. Вадик видел профиль, на котором выделялся красивый тонкий нос с розовыми, трепещущими при каждом вздохе, ноздрями и длинные, слегка загнутые вверх ресницы.

Вадик видел много девичьих лиц и в школе, и на улице, но они никогда не привлекали его внимания. И Катину не привлекало тоже. Но сегодня ее лицо было особенным. Вадику показалось, что таких изящных, длинных ресниц, таких красивых чуть припухших губ он не видел ни разу в жизни. А когда Катя, не открывая глаз, провела по губам кончиком языка, словно слизывала оставшийся на них малиновый сок, Вадик еле сдержался, чтобы не потянуться к ним. Такими сочными и ароматными были ее губы.

От Кати пахло свежей водой и солнцем. Все вокруг было наполнено ее дыханием, запахом чистого и здорового девичьего тела. Чем больше вдыхал этот аромат Вадик, тем больше начинал волноваться. Он попытался унять себя, но не мог. Смотрел на Катю и помимо воли чувствовал, что голова начинает кружиться, а сердце бухать, как колокол.

Вадик прижал ладонь к груди, боясь, что эти удары услышит Катя. От этого прикосновения ему стало горячо, кровь хлынула к лицу. И все потому, что рядом было необыкновенное существо, которое могло сейчас делать с ним, что угодно. Для него было бы счастьем выполнить любое желание девушки. От одного вида Кати душу переполняла не знакомая раньше сладостная нежность. Катя казалась ему красивой, как божество.

Она почувствовала пристальный мальчишеский взгляд, открыла глаза и, плавно согнув в локте левую руку, повернулась на бок, лицом к Вадику. Он перехватил ее взгляд, и его снова обдало жаром, а сердце бухало и бухало, готовое разорваться на части. Темные Катины глаза поглощали Вадика, растворяли волю. Он перестал ощущать себя. Во рту пересохло и, едва шевеля негнушимся, шершавым, словно рашпиль, языком, он шепотом выдал:

– Катя, давай с тобой дружить?



Он сам не знал, почему вдруг ни с того, ни с сего произнес эти слова. Ведь они и без этого дружили. Вместе ходили на речку, вместе играли на улице. Но эти слова ошеломили Катю. Вадик увидел, как расширились ее зрачки и краска начала заливать загорелые бархатистые девичьи щеки. Катя оцепенела, а Вадик растерялся. Ему вдруг стало стыдно за свои чувства. Он готов был провалиться сквозь землю, и в тоже время не мог оторвать взгляда от прекрасного Катиного лица, огромных, манящих неизведанной глубиной темных зрачков, от ее тонкой, необыкновенно изящной руки, находящейся всего в нескольких сантиметрах от его губ.

Катя тоже сгорала от стыда. Она понимала, что должна ответить Вадиду, и ответила, если бы не ее немота. Вадик давно нравился ей. Нравилась его мужественная фигура с играющими под кожей мускулами, его широкое, чистое лицо, высокий лоб с непослушным, словно зализанным в одном месте вихром, золотистые, со светящимися искорками глаза. Особенно умилял ее белый пушок, пробивающийся над верхней губой. А волшебная, не произнесенная, а выдохнутая едва слышным шепотом фраза: «Катя, давай с тобой дружить?» обожгла, но еще больше смутила, поставила Катю в тупик.

«Что значит дружить?» – подумала она и отвернулась, почувствовав, что горло сжимают спазмы, а на глаза наворачиваются слезы. Катя вспомнила, как два года назад покупала в магазине спички. На витрине их не было, и продавщица злилась, не понимая, чего хочет девочка. Катя долго чиркала двумя пальцами по ладони, показывая, что ей надо. Продавщица, вытаращив глаза, смотрела на нее словно ящерица на насекомое, потом, нетерпеливо дернув костлявым плечом, с которого, жужжа, слетела жирная муха, сказала:

– Иди домой, пусть родители напишут. Я тебя не понимаю.

Катя схватилась ладонью за горло и выбежала из магазина. Ее душила обида. Она вдруг поняла, что между ней и остальными людьми пролегла непреодолимая пропасть. Раньше она никогда не думала об этом, и теперь это стало для нее трагическим открытием. Еще больше замкнувшись в себе, она перестала ходить за покупками.

Вадик, затаив дыхание, ждал, что ответит Катя. Она снова повернулась к нему. Ее глаза лихорадочно блестели, щеки из пунцовых стали чуть розоватыми, затем совсем побледнели, грудь от волнения ходила ходуном. В душе Кати бушевали два

чувства. Она боялась снова ощутить себя девочкой у прилавка, за которым роль продавщицы будет исполнять Вадик. И в то же время уже давно призналась себе, что отчаянно, до последнего вздоха любит его. О вздохе она вычитала в какой-то книжке, и это выражение ей безумно понравилось. Кате показалось, что только оно и выражает настоящую любовь.

Вадик вытянул шею, глупо моргнул, зажмуривая глаза, и снова спросил еле слышным шепотом:

– Ну?

От этого короткого «Ну?» Кате показалось, что она полетела в бездну. В груди появился холодок, от которого остановилось сердце. Она прикрыла глаза, перевернулась на живот и спрятала лицо в неожиданно вспотевших ладонях. Несколько мгновений Катя лежала неподвижно, затем оторвала лицо от ладоней, повернула голову к Вадиду и, посмотрев на него, зажмурила глаза.

По движению Катиных век Вадик понял, что она ответила согласием, но как поступить дальше, не знал. Может, следовало взять ее за руку или обнять за плечо, но никакая сила не заставила бы его сейчас сделать это. Он не мог пересилить себя, не мог вот так сразу перешагнуть рубеж, который отделяет знакомство от близости. Да и Федя был рядом. А как решиться на первый жест сближения при свидетелях? Тут и без этого не знаешь, куда себя деть.

Домой с речки шли молча. Катя неторопливо шагала по узкой, протоптанной в высокой траве тропинке, задевая босыми ногами траву, и не поднимала взгляда ни на Вадика, ни на Федю. Когда вышли на поросшую муравой деревенскую улицу, и Вадиду нужно было сворачивать к своему дому, он незаметно дотронулся кончиками пальцев до Катиного локтя и, глядя на Федю, сказал:

– Ну, я пошел. Вечером зайду.

– Иди, — махнул рукой Федя.

Но Катя поняла, что слова Вадика обращены не к брату, а к ней. Сворачивая в переулок, Вадик бросил на нее быстрый взгляд и отвернулся. В этом взгляде было все: и нежность, и ласка, и ожидание скорой встречи. И Катя почувствовала, что у нее снова начинают гореть щеки и сладостно замирать сердце. Но к ее удивлению, ей нисколько не было стыдно. Ей было хорошо.

Вечером, когда жара спала, и из леса потянул освежающий ветерок, Катя пошла поливать огурцы. Вообще-то это было обязанностью Феде. Но его позвал сосед Тима-Косиножка, которому потребовалось завести свой инвалидский «Запорожец». Запуск мотора всегда был событием для всей округи, потому что заводился он только от рукоятки, причем на это иногда уходил целый день. Чтобы завести мотор, Тиме иной раз приходилось чуть ли не по винтику перебирать его. Одному это было не под силу. Косиножкой Тиму прозвали за хромоту. В молодости он переболел энцефалитом и с тех пор ходил, заплетая ноги и вольноноски ботинок по земле. Отправляясь к соседу, Федя как бы мимоходом обронил:

– Ты полей сегодня... Меня Тимофей зовет мотор завести.

Катя не успела ответить, как Федор исчез. Поливать грядки он тоже не любил.

Зачерпывая очередной раз воду из бочки, Катя увидела около ограды Вадика. Он помахал ей рукой, торопливо открыл калитку и направился к бочке. Катя отпустила лейку. Вадик, не спрашивая, тут же подхватил ее, зачерпнул воду и пошел к грядке. Катя смотрела на него и улыбалась еле заметной улыбкой. Ей было радостно оттого, что нашелся человек, которому она стала близка. Он был готов, не стесняясь никого, открыто помогать ей. Сердце от этого стало таким легким, что, казалось, могло полететь, стоило только пожелать. После смерти матери Катя еще ни разу не чувствовала себя такой счастливой.

Опорожнив лейку, Вадик снова направился к бочке, Катя, отставая всего на шаг, шла следом. Она ни о чем не думала. Ей хотелось только одного — видеть Вадика, его круглый затылок с коротко стриженными темно русыми волосами, его спину с выпирающими из-под тонкой клетчатой рубашки лопатками, ощущать запах его горячего сильного тела. Но больше всего ей хотелось прижаться к нему, погладиться щекой о его плечо, хотелось, чтобы он ее обнял. Она находилась в сладостном оцепенении, которого не испытывала раньше. Это пугало ее. И она страшилась встретиться с Вадиком взглядом, боясь, что он разгадает ее желание. Ей было так совестно, словно она задумала что-то нехорошее.

Закончив поливку, Вадик сорвал с грядки зеленый пупырчатый огурец, вытер его о рубаху и протянул Кате. Она взяла

его слегка дрожащей рукой. Он был шершавым и холодным. Вадик тут же сорвал другой, также вытер о рубаху и с хрустом откусил. Потом взял Катю за руку, подвел к крыльцу и усадил на ступеньку.

— Ты чего не ешь? — спросил Вадик, удивившись, и снова с хрустом откусил от своего огурца.

Этот вопрос, вернее не вопрос, а голос Вадика успокаивающе подействовал на Катю. Она улыбнулась и тоже откусила от огурца. В лесу переливчато засвистела иволга. Вадик затих, прислушиваясь к птичьему свисту, потом спросил:

— Ты видела ее?

Катя кивнула. Иволга была красивой ярко-желтой птицей с черными крылышками и такой же черной шапочкой на голове. Больше всего иволги любят петь по утрам, и Катя часто слушала их, сидя на крыльце.

— Я тоже видел, даже гнездо одно нашел, — сказал Вадик.

Катя посмотрела не него, широко раскрыв глаза от удивления. Иволгиного гнезда ей видеть не доводилось.

— Вон там, — Вадик показал рукой в сторону леса. — На березе. Если хочешь, я тебе покажу. Хочешь?

Катя кивнула. Ее глаза радостно заблестели, она легко соскочила с крыльца и остановилась в ожидании. Ее тонкие розовые ноздри вздрагивали от каждого вдоха, выдавая нетерпение.

— Пойдем, — сказал Вадик и направился к калитке.

Катя смущенно поправила на плече платье, сквозь вырез которого неожиданно высунулась бретелька, опустила голову и направилась за ним.

За огородом было небольшое болотце, поросшее тонкими березами и кустами калины, густо покрытыми белыми мелкими цветами, источавшими густой дурманящий аромат. На вершине одной из берез сидела и крутила головой сорока. Увидев людей, она с громким стрекотом сорвалась с дерева и, торпливо махая круглыми, культиapistыми крыльями, испуганно понеслась в глубь леса.

Сразу за болотом начинался смешанный лес. Высокие белоствольные березы росли вперемешку с соснами, блестящими на солнце золотистой корой. От них терпко пахло разогретой смолой. В траве валялось много шишек и, когда на них наступали, они хрустели, словно яичная скорлупа. Вадик, насторожившись, остановился и предупреждающе поднял руку.



Впереди подала голос иволга. Катя напрягла зрение, стараясь увидеть птицу, сидевшую между ветвей, но ничего не заметила.

Прижав палец к губам, Вадик посмотрел на Катю, сделал несколько осторожных шагов и снова остановился. Катя старалась не дышать, чтобы не спугнуть боязливую птицу. Иволга опять подала голос. На этот раз Вадик увидел ее. Птица сидела высоко на березе, ее ярко-желтая грудка выделялась среди веток и зелени листьев. Вадик замер, не сводя с нее глаз. После первой пробы голоса птица на несколько мгновений замолкла. Потом запрокинула голову и, надувая горлышко, начала выводить мелодии флейты. Вадик сделал знак рукой, подзывая Катю к себе, и она на цыпочках, стараясь не наступать на шишки, подошла к нему. Иволга пела, упоенная своим голосом и теплыми лучами клонившегося к горизонту солнца. Так продолжалось долгую минуту. Потом птица замолкла и наклонила голову, словно пыталась уловить блуждающее по лесу эхо своего голоса.

Внезапно вдалеке раздалась флейта другой иволги. Та, за которой наблюдали Вадик с Катей, застыла, словно пораженная тем, что кто-то пытается передразнить ее. Но флейта тут же замерла. Наступила напряженная тишина. Она длилась несколько секунд. Иволга на березе снова запрокинула голову и засвистела. Когда она смолкла, ее пение тут же подхватила другая. Завороженные птичьим концертом, Вадик с Катей, стояли, не шевелясь. Такого удивительного пения им не доводилось слышать еще ни разу. Но стоять было неудобно, Катя боялась опереться на всю ступню, чтобы не нарушить лесной покой. Наконец, она решила переменить позу, но сделала это так неуклюже, что наступила не только на шишку, но и оказавшуюся рядом с ней сухую ветку. Раздался громкий треск. Иволга тут же сорвалась с ветки и исчезла за деревьями. Песня смолкла. Вадик укоризненно посмотрел на испугавшуюся и замершую от внезапного треска Катю, но не упрекнул ее за неловкость, а только спросил:

– Слышала?

Катя смущенно кивнула. Он дотронулся пальцами до ее локтя и сказал:

— Пошли, покажу гнездо. – Вадик потянул Катю за руку.

Через несколько шагов остановился, поднял голову и, вытянув вверх руку, спросил:

— Вон оно, видишь?

Катя проследила взглядом за его рукой, но ничего не увидела.

— Да ты не туда смотришь, — возбужденно сказал Вадик. — Видишь вон те тонкие ветки? А в развилке между ними — гнездо.

Катя увидела. Гнездо располагалось высоко, почти у самой верхушки на веточках, которые держали его каким-то чудом. Птичье жилье было старым, птенцы давно покинули его.

— На следующий год иволги прилетят сюда снова, — сказал Вадик, словно угадав мысли Кати. — Если хочешь, я тогда достану тебе птенца.

Катя кивнула и неуверенно улыбнулась. Отказать Вадиду было неудобно, но она не знала, что делать с птенцом. Ведь для него надо мастерить специальную клетку, иначе его утащит кошка. Да и будет ли он петь так, как поют иволги? Катя еще раз посмотрела на гнездо и неожиданно изменилась в лице. Что-то удивило девушку до такой степени, что она замерла, подняв голову и отставив в сторону руку. Вадик проследил за ее взглядом, но ничего не увидел. А Катя стояла, как завороженная.

Солнце отходило ко сну, заваливаясь одним боком на верхушки деревьев. Небо над лесом вспыхнуло, переливаясь розовыми тонами. Лучи солнца воспламенили макушку березы с птичьим гнездом. Крохотные круглые листья заблестели, словно покрытые лаком. Казалось — дунь ветерок, и они отзовутся переливчатым звоном. Стало так тихо, что Кате показалось, будто она услышала стук собственного сердца. Она недоумевала, почему Вадик не замечает этой красоты. Посмотрев на него, она еще раз показала рукой на верхушку березы, но Вадик в недоумении только пожал плечами.

У Кати подкатил комок к горлу. Надо было объяснить все словами, а она не могла этого сделать. Немота проложила водораздел между ней и остальными людьми. И Катя с болью поняла, что никогда не сможет стать такой, как все, и потому не будет счастлива. На глаза навернулись слезы, она опустила голову и медленными шагами направилась к дому. Вадик, удивившись поведению Кати, зашагал следом. Он не мог понять, почему так изменилось настроение девушки. Ведь они только что видели иволгу, и Катя, слушая ее пение, улыбалась. А тут вдруг сразу сникла. Около дома он попытался взять Катю за



локоть, но она выдернула руку и, опустив голову, торопливо, почти бегом, прошмыгнула в калитку. Вадик проводил ее взглядом, пожал плечами и пошел домой.

Катя подошла к крыльцу, оперлась плечом о перила и неслышно заплакала. Слезы текли по лицу, она непрерывно шмыгала носом, время от времени вытирая его тыльной стороной ладони. Ей казалось, что несчастнее ее нет никого на свете. Ведь она даже не может сказать Вадике, что любит его. «За чем мне жить?» — подумала Катя, и от этой мысли ей стало так жалко себя, что она перестала сдерживаться и разрыдалась. Спазмы перехватывали горло, она опустилась на колени и закрыла лицо ладонями. Истратив все слезы, подошла к бочке и долго плескала в лицо холодной водой.

6

На следующий день Катя проснулась поздно. Она открыла глаза и увидела, что комната залита солнечным светом. Через открытую форточку входил свежий утренний воздух, доносивший запах росы и цветущих трав. Недалеко от дома пела птица. Катя не знала какая. Но то, что это была не иволга, точно. Голос, который выводил мелодию, был тоньше, трели короче, а каждая музыкальная фраза заканчивалась звонким прищелкиванием. «Наверное, соловей», — подумала Катя и закрыла глаза.

Ей не хотелось вставать. Разнежившееся тело еще не совсем отошло от сна. На душе было необыкновенно легко, а сердце переполняла сладостная, невесть откуда взявшаяся радость. Тело казалось воздушным, готовым вот-вот подняться и парить под самыми облаками. И Кате захотелось взлететь. Все люди, задрав головы, смотрели бы в небо, показывали на нее руками и спрашивали:

— Кто это?

Среди толпы, собравшейся на улице и смотрящей на парящую в небе девочку, Катя почему-то представила старуху Редкозубову и стоявшего рядом с ней Вадика. Он, приставив руку козырьком ко лбу, спрашивал всех, что за девочка летит в небе. Старуха Редкозубова, жившая на самом краю деревни, но прибежавшая по такому случаю на главную улицу раньше других, укоризненно посмотрев на Вадика, сказала:

— Как кто? Андел. Не видишь, что ли?

— Какой тебе ангел? — возразила Редкозубовой Жаба. — Это же Катя Голицына, Семенова дочка.

— Вот я и говорю, андел, — стояла на своем Редкозубова. — Катя Голицына и есть андел.

Кате было приятно ощущать себя ангелом. Ангелов все любят, каждый хотел бы подружиться хотя бы с одним из них. И потом у них такие большие, белые, сказочно красивые крылья. Катя зажмурилась от очарования, представив, что такие крылья могут быть у нее за спиной. Она бы летела над лесной тропинкой, помахая ими, а Вадик бежал за ней, задрав голову. Потом бы она опустилась на землю, подождала, когда к ней подойдет Вадик, и разрешила ему потрогать свои прекрасные белые крылья. Он тоже замер бы от счастья, дотронувшись до них.

Катя еще долго лежала в постели, продолжая мечтать и блаженно улыбаться. Потом встала, заправила кровать, сунула босые ноги в шлепанцы, стоявшие у порога, и вышла на крыльцо. День был удивительно прозрачным. Солнце еще не поднялось над верхушками деревьев, но его лучи, пронизывая лес, высвечивали стволы и неподвижную, серебристую от росы листву. Трава на поляне тоже была серебристой, но когда солнечный луч, выскользнувший из-за березы, коснулся капелек росы, они вспыхнули перламутром, и Кате показалось, что она расслышала их тонкий, переливчатый звон.

Она оглянулась, ища глазами Федю, но его нигде не было. По всей вероятности, брат погнал в стадо корову. Отец уже давно ушел на работу, Катя была одна во всем доме.

Делать ничего не хотелось, и Катя стояла на крыльце, наслаждаясь летним утром. Солнце выкатилось из-за леса и, зацепившись за верхушку раскидистой березы, окрасило нижнюю часть неба золотистым светом. Даже роса на листьях берез стала искристо-золотой.

К окраине села, с той стороны, где жила старуха Редкозубова, примыкал широкий луг, окаймленный с трех сторон соснами. Над лугом клубился туман, его сгустки, похожие на огромные ватные шары, цеплялись за траву, но солнечные лучи поднимали их все выше и выше, и шары расползались, превращаясь в длинные, белесые нити.

Солнце отделилось от леса и позолотило поляну перед домом, крыльцо и саму Катю. Девушка закинула руки за голову и потянулась, приподнимаясь на цыпочках и стараясь размять



пальцы рук, сцепленных в замок. Ее охватило томительно-радостное предчувствие. Оно толкнулось в сердце давно, едва Катя раскрыла глаза. Но тогда ей было просто хорошо, а сейчас душа наполнилась счастьем. Кате казалось, что и всем остальным людям в эту минуту также радостно, как и ей.

Катя опустила руки и увидела Руфину, которая вышла из своего дома и, переваливаясь с ноги на ногу, направилась к огуречной грядке. Когда она раздвигала плети, Катя представила, как с них на руки сыплется холодная роса и передернулась словно от озноба. Она недолюбливала соседку, хотя и не знала почему. Руфина Степановна не сказала ей ни одного не только оскорбительного, но даже грубого слова. Наоборот, она была приветлива и доброжелательна. Тем не менее, Катя мысленно называла ее только Жабой. Руфина была одинокой и после гибели Катиной матери начала проявлять к отцу повышенный интерес. Несколько раз, настряпав блинов и сложив на тарелку высокой стопкой, она приносила их Кате с Федей. Но глядела только на отца, при этом говорила:

— Без хозяйки в доме и блинов испечь некому.

От блинов исходил аромат топленого масла и печеного теста. Федя с удовольствием уплетал их за обе щеки. А у Кати они не вызывали аппетита. Ей казалось, что Жаба хочет за блины купить отца. В душе Кати поднималась неосознанная ревность, она не хотела видеть в доме чужую женщину, тем более Жабу. Ведь это она принесла ей страшную весть о смерти матери.

Но сегодня Руфина показалась ей приятной. И то, что она ходила, тяжело переваливаясь на плохо слушавшихся полных ногах, даже огорчило Катю. Руфина была не то чтобы толстой, но полноватой женщиной с пухлыми руками, круглым лицом и большими немного на выкате глазами. Однако сколько ее помнит Катя, передвигалась она всегда шустро, была суетливой, вечно спешащей по каким-то делам. А вот сегодня, когда никуда не спешила, походка ее выглядела старческой. И Кате стало жалко Руфину. «Живет одна, даже поговорить не с кем, — подумала Катя. — Я вот встретила Вадика».

При мысли о Вадике она улыбнулась и обвела взглядом огород и поляну, словно он спрятался где-то здесь и должен вот-вот показаться. Но Вадика не было. Катя зашла в дом, умылась, достала из холодильника банку молока, а из кухонного стола полиэтиленовый пакетик с пряниками. Их принес вчера

отец. Пряники были мягкими, с сахарной корочкой, посыпанной сверху маком и потому особенно вкусными. Катя налила в кружку молока, достала пряник, подвернув под себя ногу, села на стул и устала в окно. Оно выходило на усадьбу соседки.

Руфина была в доме, у крыльца на цепи одиноко скучал пес Дымок. Катя видела, как он зевнул, широко раскрыв зубастую пасть, повертелся на месте и развалился на траве, положив тяжелую голову на лапы. Дымок Катю не интересовал

Закончив завтрак, Катя поставила банку с молоком в холодильник и в это время услышала лай собаки. Она выглянула в окно. К дому соседки шли двое мужчин. Кате бросился в глаза один – высокий, широкоплечий, остриженный наголо. На нем были выцветшие джинсы и серая футболка с коротким рукавом. Второй был пониже, с густой темной шевелюрой. Он выглядел намного старше.

На лай Дымка вышла Руфина. Увидев гостей, она всплеснула руками, загнала собаку в будку и провела мужчин в дом. Кате показалось, что одного из них – того, кто был помоложе, — она уже видела.

Поставив молоко, Катя прибрала на столе и вышла на крыльцо. У калитки показался Федя. Он бросил на траву длинный, тонкий прут, которым отгонял скотину, и, увидев Катю, поднял руку, словно говоря, что у него все в порядке.

– Ты уже завтракала? — спросил Федя, подходя к крыльцу. Катя кивнула. — А пряников мне оставила?

Катя улыбнулась и опустила веки. Федя прошел в дом, достал молоко и пряники, деловито сел за стол. Катя села напротив. С приходом брата в доме появился хозяин.

– Что будем обедать? — спросил Федя, запивая пряник молоком.

Катя пожала плечами, ей не хотелось думать об обеде.

– Давай сделаем окрошку? — предложил Федя. — Квас у нас есть. Ты свари картошку и яйца, а я пока полью капусту. А потом пойдем на речку. Вернемся и за две минуты приготовим обед.

Катя посмотрела на него, боясь спросить, придет ли на речку Вадик. Но Федя ответил и без вопроса.

– Прибери на столе, — бросил он, вставая. Помолчал и добавил: — Вадик тоже придет купаться.

Она вспыхнула и отвернулась. Вадик показался таким род-

ным, что ей захотелось, сцепив руки у него за спиной, прижаться лицом к его груди и слушать, как, бешено стуча, пытается перескочить к ней его большое и горячее сердце. И еще ей хотелось, чтобы он поцеловал ее в макушку и, осторожно прижимая к себе, говорил ласковые слова. Единственные на всем свете, предназначенные только ей... Такие, какие не говорят никому другому.

Пока Федя поливал капусту, Катя выбирала себе наряд. Купальник у нее был один, поэтому она, не раздумывая, натянула его. Перед тем, как надеть лифчик, встала у зеркала и, уперев руки в бока, посмотрела на свои груди. Когда они начали оформляться, Катя почему-то стеснялась этого. Ей казалось, что груди могут быть только у женщины, а она еще считала себя девочкой. Но сегодня никакого стеснения перед собой у нее не было. Катя повела плечами, провела по одной груди ладонью и надела лифчик. Затем отложила сарафан, в котором вчера ходила на речку, и стала выбирать платье. Их было немного, но одно она любила больше остальных. Голубое крепдешинное с розой на левой груди. Платье досталось ей от матери, а перешивала его Руфина. Катя надевала его только по праздникам. Она положила платье на кровать, разгладила пальцами и долго смотрела на него, словно раздумывая: надеть или нет?

На кухне раздалось дребезжание кастрюли и Катя, оставив платье, пошла туда. В кастрюле на газовой плите закипела картошка. Катя сняла крышку, бросила в кастрюлю щепоть соли, положила сверху картошки яйца. В сенях послышались шаги, дверь распахнулась, на пороге появился Федя.

— Ты что, еще не оделась? — удивился он, увидев сестру в одном купальнике.

Катя сделала ему рожицу и скрылась в комнате. Бросила взгляд на крепдешинное платье и, оставив его на кровати, достала из шифоньера другое, тоже перешитое из материнского, и тоже из ткани, похожей на шелк. Сегодня ей хотелось выглядеть взрослой. Девочка, жившая в ней до сих пор, вдруг повзрослела и превратилась в девушку. Повертев платье в руке, Катя натянула его на себя и вышла на кухню.

Федя, который стоял у плиты и следил, чтобы из кастрюли не убежала вода, открыл от изумления рот. Он никогда не видел сестру такой красивой. Она походила на только что распустившийся бутон, разве что на губах не хватало нескольких

капелек росы. Катя оценила впечатление, которое произвела на брата, улыбнулась и мягкой походкой направилась к двери.

— Ты что, рехнулась? — не выдержал Федя, который все еще не мог прийти в себя. — В таком платье на речку?

Катя повела плечами и сделала удивленное лицо. Весь ее вид говорил: «Я всю жизнь ходила в таких платьях. Разве ты не замечал?»

7

Вадик нервно ходил по пляжу взад и вперед, не находя себе места. Он договорился с Федей встретиться здесь, чтобы искупаться. По правде говоря, Федя его совсем не интересовал. Ему нужно было увидеть Катю. Поэтому Вадик как бы случайно спросил, придет ли купаться и она.

— Еще бы нет, — простодушно ответил Федя, не подозревавший, что между сестрой и другом возникли новые отношения. — Ее на речку хлебом не мани.

Вадик отвел взгляд и выразил на лице полное безразличие. Это далось ему с трудом потому, что больше всего на свете он хотел сейчас увидеть Катю. Если бы она не пришла, он бы не нашел себе места. Вадик чувствовал себя счастливым только от того, что она была рядом. При одном упоминании о ней кровь прилиwała к лицу и приятно замирало сердце. Такого с ним еще не было никогда.

Он рисовал в своем воображении самые разные картины их встречи. Больше всего ему хотелось сесть с ней на кромку крутого берега, опустить ноги в воду и, болтая ими, как бы нечаянно зацепить ногу Кати, чтобы она, испугавшись, ухватилась за него. Вадик стиснул бы ее в объятьях и, может быть, поцеловал. Хотя и не представлял, как это можно сделать, не стесняясь девушки, средь бела дня. Но поцеловать ее очень хотелось. А если и не поцеловать, то хотя бы прикоснуться к ней.

Катя заполнила все его существо. О чем бы он ни думал, мысли так или иначе возвращались к ней. В ней все было прекрасно. И большие темно-карие глаза, глядя в которые, хотелось утонуть в них, словно в волшебных озерах, и аккуратный, красивый носик с тонкими, розовыми, ноздрями, и нежные, чуть припухшие полуоткрытые губы, обнажающие белоснежные зубы, и небрежно спадающие на плечи темно-каштановые

волосы. Когда она, глядя на Вадика, втягивала трепещущими ноздрями воздух, он видел, как билась у нее на шее тонкая голубая жилка. Ему хотелось приложить к ней ухо, не столько для того, чтобы услышать, как бьется сердце, но в первую очередь понять, откуда в человеке берется любовь. Ведь эта жилка соединяется с душой, а душа находится в самой глубине сердца. И еще до головокружения хотелось ощутить особый, никогда до толе не знаемый запах чистой девичьей кожи. От Кати исходил особый аромат, от которого Вадик трепетал так же, как жилка на ее шее. А то, что она была немой, его ничуть не смущало. Катя разговаривала взглядом. По глазам, выражению лица можно было без труда догадаться о ее чувствах, желаниях, согласии или отрицании чего-то. Иногда Вадик даже забывал, что Катя не может говорить. Она была ангелом, а у ангелов нет недостатков.

Слоняться по пустому пляжу Вадику надоело. Он снял футболку, бросил на песок и, сев у самой воды, стал следить за ее движением. Вода торопливо бежала, иногда закручиваясь в маленькие воронки, которые притягивали к себе и кружили на одном месте оказавшуюся в реке соломинку или сорвавшийся с прибрежного тальника желтеющий лист. Вадику вдруг захотелось, чтобы в такую воронку, только не речную, а морскую, в которую затягивает целые корабли, попала Катя. А он бы, не задумываясь, прыгнул в воду и спас ее. Он бы на руках вынес ее на берег, а Катя поцеловала его за это. Вадику хотелось совершить подвиг ради нее. Вот только подходящего случая для этого пока не было.

А вода все бежала и бежала, и он так засмотрелся на нее, что не услышал, как за спиной появились Федя с Катей.

— Ну и как водичка? — спросил Федя, громко хлопнув ладоньшами над самым ухом приятеля.

Вадик резко обернулся и вскочил на ноги. Но тут же остановился, обомлев от неожиданности. Перед ним стояла Катя в тонком сиреневом платье, облегавшем ее стройное, гибкое тело. Такой он ее еще не видел. Она была легкой, какой-то особенно возвышенной и удивительно красивой. Глаза Кати светились загадочной радостью, на лице играла улыбка, обозначившая на щеках две маленькие круглые ямочки. Катя была босой, свои простенькие белые туфли на низком каблуке она держала в правой руке. Вадик смотрел на нее с таким удивлением, слов-

но она только что спустилась с неба. Перед ним стояла девочка из другого мира. И если бы он увидел за ее спиной крылья ангела, нисколько не удивился.

Вадик вдруг почувствовал, что ему становится жарко. Жар пошел от макушки, от корней волос, обдал лицо, разлился по груди. Сердце зашло, грудь заходила ходуном, ноздри расширились, хватая воздух. Катя походила на чудо. Счастьем было уже то, что она существовала, что на нее можно было смотреть, вдыхать воздух, которым дышала она, ощущать на себе ее необыкновенный, волнующий взгляд. И вместе с тем Катя показалась ему необыкновенно далекой. Еще вчера она была такой же, как он, а сегодня стала другой. И хотя она стояла совсем рядом, Вадику казалось, что ему никогда не удастся дотянуться до нее. Чтобы снова сравняться с ней, надо было сделать что-то необыкновенное. Такое, что не под силу ни Феде, ни другим мальчишкам. Надо было совершить подвиг, а какой – Вадик не знал. Из состояния полной растерянности его вывел Федя.

– Ты еще не купался? – спросил он, глядя на Вадика глупыми круглыми глазами.

Такого глупого взгляда Вадику еще не приходилось видеть. Ему казалось, что уже весь мир знает о его любви к Кате, и только один Федя до сих пор ни о чем не догадывается. Вадик не ответил. Он заморожено смотрел на Катю, заново открывая ее для себя. И никак не мог понять, отчего она преобразилась таким необыкновенным образом. Почему вдруг стал таким таинственным и завораживающим ее взгляд, а в чуть приоткрытых, изогнувшихся волшебной дугой ярких и сочных губах поселилась тайна? Как разгадать ее, да и можно ли вообще когда-нибудь разгадать тайну перевоплощения женщины?

Катя не отводила глаз от его зачарованного взгляда и чувствовала, что возбуждение Вадика передается ей.словно от его зрачков прямо к ее сердцу протянулись провода особого напряжения. Сердце как бы оторвалось и поплыло, подпрыгивая на волнах и проваливаясь в бездну, как бумажный кораблик. Но страха не было. Наоборот, ей было сладостно ощущать это падение. Несколько мгновений Катя и Вадик в оцепенении стояли друг против друга, потом Вадик сказал:

– Какое у тебя платье красивое. Как... кукушкины слезки.

Катя опустила глаза, посмотрела на платье и провела левой рукой по талии и бедру, словно оглаживала себя. Потом

тряхнула головой, рассыпав волосы по плечам, и засмеялась легким, еле слышным смехом. И Вадику захотелось взять ее на руки, прижать к себе, уткнуться лицом в мягкие волосы. Он даже ощутил на губах их тонкий аромат, похожий на еле различаемый запах цветов. Он попытался вспомнить, каких именно, и тут же отгадал: кукушкиных слезок.

— Что это с вами? — снова задал неуместный вопрос Федя, бросив на песок рубашку. Сестра и друг показались ему странными.

Вадик, опустив глаза, ответил:

— Ничего особенного. Давайте купаться.

Он еле выдавил эти слова из себя, собственный голос показался ему чужим и неестественным. Вадик чувствовал себя до того скованным, что боялся пошевелиться. Он забыл все, что с ним было до сегодняшнего дня. Катя загипнотизировала его.

Федя пожал плечами, стянул брюки, положил их рядом с рубашкой и задумчиво пошел к воде. Катя взялась кончиками пальцев за край подола, но не подняла его, а посмотрела на Вадика. Он стоял, не мигая, молча глядя на ее стройные, загорелые ноги. Катя ладонью сделала ему знак отвернуться. Впервые в жизни ей стало неудобно раздеваться перед мальчишкой. Вадик не пошевелился. Она подошла к нему, взяла за плечи, развернула лицом к воде и коленкой легонько подтолкнула к кромке берега. Вадик, не оглядываясь, сделал несколько шагов вперед. Катя одним движением сдернула платье, бросила его на песок, легко оттолкнулась от земли и, пробежав мимо Вадика и Федя, прыгнула в воду. Мальчишки увидели только ее мелькнувшее тело. Вадик тут же издал воинственный крик и нырнул вслед за ней, обдав Федю фонтаном брызг.

Катя долго не показывалась над поверхностью. Наконец, она вынырнула, мотнула головой, отбрасывая прилипшие к лицу мокрые волосы, и, хлопая ладонями по воде, размашисто поплыла к противоположному берегу. Вадик погнался за ней, усиленно работая ногами и высоко выбрасывая руки. Он уже почти настиг ее, но Катя снова ушла под воду, проплыла под ним, вынырнула, громко вдохнула и в несколько взмахов достигла берега. Выскочила из воды, упала на горячий песок, широко раскинув руки. Вадик сначала кинулся за ней, но, увидев, что Федя все еще стоит на берегу, развернулся и поплыл на глубину. Федя неторопливо зашел в воду и поплыл за Вадиком.

На этот раз они не баловались в воде, как раньше. Не ныряли, не гонялись друг за другом. Поплавав немного, вышли на берег и улеглись на песок рядом с Катей. Федя слева, Вадик — справа. Вадик лег так, что его лицо оказалось всего в нескольких сантиметрах от Катиной ладони и ему показалось, что она ощущает на ней его дыхание. Катя лежала с закрытыми глазами, прижавшись левой щекой к горячему песку. Вадик тоже закрыл глаза, но лежать спокойно не мог. Все его мысли были только о Кате, его бил озноб от ее близости. Он чуть приподнял голову, чтобы посмотреть, что делает Федя. Его друг лежал на животе, уткнув лицо в руки. Вадик опустил голову и как бы нечаянно коснулся носом Катиных пальцев. Она не отдернула руку. Тогда он вытянул губы трубочкой и осторожно поцеловал их. Катя открыла глаза, согнула тонкий пальчик и легонько щелкнула его по носу. Вадик поймал и крепко сжал ее узкую, еще не высохшую от воды ладонь. Катя попыталась высвободиться, но он не отпускал ее. Услышав возню, зашевелился Федя. Вадик выпустил Катину руку и замер. Федя приподнял голову, посмотрел на сестру и друга и, увидев их неподвижные позы, снова лег.

Вадиду расхотелось купаться и бесцельно валяться на песке. Его сжигало желание уединиться с Катей. Ему казалось, что и она хочет этого. Без посторонних им было бы сейчас намного лучше. Но он не знал, как избавиться от Феде. Тот уже начал догадываться, что друг проявляет особое внимание к его сестре, и удвоил бдительность. Недаром он приподнялся и, не скрывая подозрительности, так долго рассматривал их обоих.

Вадик начал думать, как сплавить Федею с пляжа, но ничего путного в голову не приходило. Да и весь вид Феде говорил о том, что уходить он никуда не собирается. Федя поворочался на песке, перевернулся на спину, блаженно раскинул руки и ноги, как бы давая тем самым понять, что теперь ничто не сдвинет его с места. Катя тоже перевернулась и лежала, закрыв глаза. Можно было подумать, что она задремала. Но Вадик знал, что задремать она не может. Он чувствовал, что ее сердце стучит также громко, как и его. И ему казалось, что она тоже хотела бы избавиться от Феде, но не знает, как это сделать.

У Вадика начала расти неприязнь к закадычному другу. Ведь мог бы догадаться обо всем и оставить их одних. Но Федя не оставлял. Мало того, он время от времени поднимал голову



и бросал на них короткие внимательные взгляды. И Вадик начал думать, что неплохо бы сыграть с ним какую-нибудь злую шутку. Но и здесь ничего путного в голову не приходило. Он начинал думать о Феде, а мысли невольно перескакивали на Катю.

На тропинке, ведущей к пляжу через кусты тальника, раздался голоса, и Вадик поднял голову. К реке шли деревенские пацаны. Одного из них, Юрку Баскакова, он знал хорошо. У Юрки был мотоцикл, подаренный отцом, и он нередко катал на нем мальчишек. Ездил с ним и Вадик. Правда, мотоцикл часто ломался, и его приходилось постоянно ремонтировать. Но это даже доставляло удовольствие. Разбросаешь железяки у крыльца, и от мотоцикла остаются рожки да ножки. Но когда их опять соберешь воедино, нажмешь на стартер, они вдруг оживут, издадут торжествующий, оглушительный рев и помчат тебя с сумасшедшей скоростью, оставляя за колесами длинное, белое облако пыли. Куры и собаки шарахаются в стороны, а ты летишь, как по воздуху, ощущая ветер в ушах и надутую за спиной пузырярем рубаху.

Пацаны, не здороваясь, разделись и попрыгали в воду. Федя поднял голову и долго смотрел, как они резвятся, крича и поднимая над водой фонтаны брызг. Потом встал и, повернувшись к Вадику, сказал возбужденно:

— Ты посмотри, что он делает.

— Кто? — не понял Вадик.

— Коршун, кто же еще. — Федя подался вперед, напрягшись всем телом.

Вадик приподнялся. Недалеко от галдевших пацанов коршун пытался выхватить из воды рыбу. По всей вероятности, она была раненой и то поднималась на поверхность, то уходила вглубь, оставляя за собой на воде маленькую воронку. Коршун запускал когти в воду, но рыба постоянно ускользала от него. Он взлетал, тяжело хлопая широкими крыльями, делал разворот и снова бросался за добычей. Пацаны, подняв невообразимый крик, кинулись спасать рыбу. Размахивая руками и обгоняя друг друга, они уже почти подплыли к ней, но коршун изловчился, схватил ее когтями и, сверкнув при развороте ржавыми крыльями, понес добычу над самыми головами мальчишек.

— Видал? — спросил Федя, потирая от возбуждения ладони. — Такую я здесь сроду не ловил. Кило наверняка потянет...

Пацаны вылезли из воды и, перебивая один другого, начали спорить, что это была за рыба и сколько она могла весить. Одни говорили, что это язь, другие доказывали, что таких яззей не бывает. Наконец сошлись на том, что рыба могла быть лещом. И весила не килограмм (такую бы коршуну не утащить), а значительно меньше. Катя тоже прислушивалась к этим спорам, но с песка не вставала. Лишь следила за пацанами любопытным настороженным взглядом.

— Пойдем, искупнемся? — Федя толкнул Вадика рукой в бок.

— Не хочется что-то, — вяло ответил Вадик и сел на песок.

— А ты? — Федя перевел взгляд на сестру.

Она отрицательно мотнула головой и рассмеялась, глядя на Вадика.

— Ну и жарьтесь, — с досадой сказал Федя, поворачиваясь к реке.

Он разбежался, оттолкнулся от берега, вытянувшись стрункой словно брошенное сильной рукой копье, пролетел над водой и ушел в глубину. Юрка Баскаков, стоявший в воде недалеко от берега, закрутился на месте, пытаясь отгадать, где вынырнет Федя, и когда тот появился над поверхностью, поплыл к нему. Вадик облегченно вздохнул и подвинулся к Кате. Она по-прежнему лежала на спине, широко раскинув руки и прикрыв глаза. Он положил свою ладонь на ее пальцы. Катя не пошевелилась. Вадик осторожно погладил ее по ладони. Катя убрала руку, повернулась лицом к нему и открыла глаза. Они были темными и таинственными, как два колодца. В них хотелось нырнуть, даже не задумываясь над тем, удастся ли вынырнуть. В таких колодцах не страшно и захлебнуться. Вадик чуть приоткрыл губы и, задержав дыхание, еле слышно произнес:

— Катя...

Она приподняла тонкие изогнутые брови и посмотрела на него. Он взял в руку ее узкую, холодную ладонь и легонько стиснул. Катя едва заметно улыбнулась. На правой ее щеке обозначилась маленькая ямочка.

— Ты самая красивая, — сказал Вадик, едва сдерживая дыхание.

Катя высвободила ладонь и кончиками пальцев провела по его губам. Ей было приятно слышать комплимент. Никто в жизни еще ни разу не говорил ей таких слов. Она закрыла глаза и замерла, оставив на лице еле заметную улыбку.

— Давай уйдем куда-нибудь? — предложил Вадик, прерывисто дыша.

Катя широко раскрыла глаза и, не скрывая удивления, несколько раз моргнула пушистыми ресницами.

— Ну что он таскается за нами, как хвост! — с горечью сказал Вадик, кивнув в сторону реки, где резвились пацаны.

Катя поняла, что он имеет в виду Федю. Она бы, конечно, хотела побыть с Вадиком вдвоем, но, в отличие от него, брат несколько не мешал ей. Наоборот, хотелось, чтобы Вадик и Федя стали еще большими друзьями. Такими, какими бывают братья. Катя села, обхватила руками колени и, сложив ладони лодочкой, показала, что собирается нырять. Вадик понял, что она приглашает его купаться. Он ожидал совсем другого, и на его лице появилась кислая гримаса. Катя рассмеялась еле слышным коротким смешком, вскочила на ноги, не гася улыбки, взьерошила ему волосы на макушке, и побежала к реке. Вадик нехотя встал и направился за ней. Купаться ему не хотелось.

Домой пошли перед самым обедом. Катя в своем нарядном сиреневом платье шла впереди, обнажая при каждом шаге из-под его кромки круглые красивые колени, мальчишки походили на ее босоногий эскорт. Вадик неосознанно бросал на эти колени короткие взгляды. Ему было почему-то приятно смотреть на них. Раньше он не находил в них ничего хорошего, а теперь не мог оторвать глаз. Перед самой деревней Юрка Баскаков остановился и мимоходом заметил:

— На станции продавщица заболела, а я хлеба не купил. Придется ехать в деревню.

И тут Федя вспомнил, что ему тоже надо купить хлеба.

— Возьми меня, — попросил он Юрку.

— У меня аккумулятор сел, — ответил Юрка. — Мотоцикл разгонять надо.

— Я разгону, — сказал Федя и сунул руку в карман, проверяя, есть ли деньги на хлеб.

Вадик обрадовался, что наконец-то может хотя бы на время избавиться от друга. Ему показалось, что Катя тоже обрадовалась. Когда Федя сказал, что поедет за хлебом в деревню, которая находится в двух километров от поселка, она бросила на Вадика быстрый взгляд и чуть притормозила, чтобы оказаться рядом с ним. На окраине деревни Федя, задержав сестру, сказал:

— Готовь окрошку. Мы с Юркой махомлетаем.

Катя кивнула. Федя направился с пацанами, а Вадик остался с девушкой.

У первых деревенских домов узкая проселочная дорога, заросшая травой и обозначенная лишь протертыми в ней автомобильными шинами колеями, переходила в улицу. Надо было немного пройти по ней и свернуть в переулок, где жила Катя. Но и на улице, и в переулке могли встретиться люди, а Вадик хотел остаться с ней один на один. Слева от дороги тянулась забoka — небольшая низинка, заросшая кустами калины и черемухи. Через нее в переулок вела узкая тропинка. Вадик взял Катю за руку и потянул в забoku. Она, не сопротивляясь, пошла за ним.

Когда они оказались среди кустов калины, Вадик остановился. Катя тоже встала и с удивлением посмотрела на него. Она ждала от него каких-то действий, но Вадик стоял, как вкопанный. Катя видела, что им овладело странное оцепенение, и ей было любопытно наблюдать, что он сделает дальше. Но Вадик, не двигаясь, молчал.

С самого утра ему хотелось поцеловать Катю. Он был уверен, что настоящая любовь между мальчишкой и девчонкой начинается после того, как они поцелуются. Это было как бы их клятвой верности друг другу. И вот сейчас такое мгновение настало, но Вадик никак не мог решиться на это.

Для того чтобы поцеловаться, надо было лишь наклониться и губы Кати оказались бы около его губ. Но Вадика вдруг начала бить нервная дрожь. В нем все окаменело, и, как он ни пытался пересилить себя, не мог сдвинуться с места. Вадик видел перед собой бездонные Катины зрачки, ее красивые, чуть увлажненные губы, видел, как раздуваются от возбуждения ее тонкие ноздри, когда она втягивает ими воздух, и чувствовал, что цепенеет все больше и больше. И чем дольше он стоял, не предпринимая никаких действий, тем меньше смелости оставалось в его душе. Наконец, он потянул Катю за руку к себе и, когда ее грудь коснулась его груди, зажмурился и торопливо, пока не оставила последняя смелость, поцеловал. Вадик хотел поцеловать в губы, но промахнулся и поцелуй пришелся в кончик носа.

Катя резко выдернула руку, он открыл глаза и увидел, что ее лицо покрылось пунцовой краской. Она закрыла его ладонями, торопливо повернулась и бросилась бежать. Вадик кинулся



за ней. Выскочив из забоки, Катя остановилась. Он подбежал к ней, дотронулся кончиками пальцев до ее плеча и опустил голову. Потом поднял глаза. Она стояла перед ним раскрасневшаяся, с чуть приоткрытым ртом, ее глаза горели лихорадочным блеском. Он слышал возбужденное прерывистое дыхание, видел, как ходит ее грудь. Осторожно протянув руку, Вадик взял ее за ладонь, которая показалась ему горячей, и тихо произнес:

– Катя, не надо. Не обижайся, а?

Она молчала, ее тоже трясло. Вадику показалось, что она испугалась поцелуя.

– Ты не подумай что-нибудь, — тихо сказал он, не выпуская ее руки, и почувствовал, что снова начинает цепенеть. Даже язык и тот шевелился с трудом.

Вадик залился краской, пытаясь произнести фразу, которая вдруг застряла у него в горле. Переступив с ноги на ногу, чтобы пересилить волнение, он кашлянул и не произнес, а выдохнул:

– Я тебя люблю.

Катя закрыла глаза, долю секунды постояла, приходя в себя, резко качнулась, и Вадик ощутил на своей щеке ее поцелуй. Затем выдернула руку и, не оглядываясь, юркнула в переулок.

Ошеломленный Вадик потрогал щеку, к которой только что прикоснулись Катины губы, и опустил руку. Оцепенение прошло и ему хотелось броситься вдогонку за ней. Но в это время на соседней улице раздался треск мотоцикла — Юрка с Федей поехали за хлебом. Вадик сообразил, что не успеет дойти до Катиного дома, как они вернуться. На мотоцикле дорога до магазина и обратно займет всего несколько минут. Если, конечно, нет очереди. И потому он решил зайти к Голицыным попозже.

8

Приезд родственника, да еще с незнакомым человеком, напугал Руфину. Хотя Витька был сыном ее двоюродной сестры, она не любила его. Последний раз они виделись лет пять назад, когда он только что вышел из тюрьмы. Витек был бледным, остриженным наголо, с большими запавшими глазами и выпирающими скулами. Сейчас он выглядел точно также.

– Чего это ты ко мне надумал? — спросила Руфина, унимая рвущегося с цепи кобеля.

— Воздухом свежим подышать, — ответил Витек, растягивая в наигранной улыбке тонкие синеватые губы. Руфина заметила, что несколько верхних зубов у него сделаны из металла. Когда она видела его последний раз, все зубы были целыми.

— Давно пришел-то? — спросила Руфина, в голосе которой проскальзывала плохо скрываемая нелюбезность.

— Да уйми ты этого кобеля! — вместо ответа произнес Витек, несколько озадаченный негостеприимным тоном тетки.

Руфина загнала Дымка в будку, закрыла вход в нее лопатой. Гости зашли в дом и остановились у порога. Оттолкнув локтем Витькиного дружка, Руфина прошла на середину кухни, спросила:

— Есть хотите?

— Да не отказались бы. — Витек шагнул от порога к столу. — Что у тебя?

— Что есть, тем и накормлю, — отрезала Руфина.

— Садись, — Витек кивнул своему приятелю на стоявшую около стола табуретку.

Тот молча сел. Руфина вышла в сени и вернулась с полной тарелкой малосолевых огурцов. Поставила ее на стол. Затем достала из шкафа большую эмалированную чашку пирожков с картошкой, спросила:

— Квас будете?

— Кваску бы хорошо, — отозвался сипловатым голосом приятель Витька, облизывая сухие шершавые губы.

Руфина поставила на стол банку с квасом и два пустых граненых стакана. Витек взял огурец, с хрустом откусил его и, посмотрев в окно, спросил:

— А этот хромой когда на велосипеде научился ездить?

— Какой хромой? — не поняла Руфина, подходя к окну.

По улице ехал сосед Тима-Косиножка. На руле его велосипеда болталась десятилитровая канистра. Тима направлялся на станцию.

— Он на велосипеде, как спортсмен, — ответила Руфа. — Никогда не подумаешь, что на пешем ходу у человека ноги заплетаются. — Она помолчала, посмотрела на Витьку и повторила вопрос, на который он не ответил: — Давно пришел-то?

— Да уж вторую неделю. — Витек налил в стакан квасу, склонив стриженную голову, поднес его к губам, словно захотел понюхать. — А ты что, возражаешь, что мы к тебе зашли?

— Он исподлобья посмотрел на тетку.

— Да нет, — ответила Руфа и села на табуретку, стоявшую у печки. — Все вот думаю, когда ты за ум возьмешься?

— Тебе-то что думать? — ответил Витек. — Моя жизнь, мне и думать.

Руфа не стала продолжать разговор. Витьку было двадцать семь лет, из них больше восьми он просидел в тюрьме. За это время несколько раз освобождался, но на воле больше месяца-двух не задерживался. Снова кого-нибудь грабил и его забирали.

Позавчера они с корешом Сашкой, которого хорошо знал по зоне, ломанули комок, бойко торговавший фальшивым коньяком. Затаившись в кустах, с обеда до самого вечера ждали, когда из него выйдет продавщица. За это время сами несколько раз справили малую нужду, а продавщица не выходила. То ли научилась терпеть по целому дню, то ли имела внутри комка горшок. Дверь она открыла только вечером, перед тем, как прийти за выручкой хозяину. Витек одной рукой схватил ее за горло, другой зажал рот, чтобы не закричала. Сашка в это время кинулся в комок и выгреб в полиэтиленовый пакет всю выручку. Уходя, не удержался, прихватил пару бутылок коньяка. Поэтому-то и узнали, что он был фальшивым.

Если бы продавщица не сопротивлялась, Витек перед уходом стукнул ее по голове, чтобы отключилась минут на десять, и на этом все бы закончилось. Но она, изловчившись, укусила его за палец и дико закричала. Он молниеносно схватил ее обеими руками за шею и стиснул с такой силой, что почувствовал, как под пальцами что-то хрустнуло. Продавщица сразу обмякла, безвольно опустила руки и стала сползать на землю. Витек затащил ее в киоск, прикрыл дверь и выскочил на тротуар. Когда отошли на безопасное расстояние, Сашка сказал:

— По-моему, ты ее придушил.

— Не надо было кричать, — ответил Витек и посмотрел на палец, из которого сочилась кровь.

В кассе оказалось три тысячи сто двадцать четыре рубля. Грабители надеялись, что будет больше. Но переживать по этому поводу не стали. О продавщице не жалели: тюрьма отучила от жалости к себе подобным. Милиции тоже не боялись. Знали, что до Руфиной деревни милиция доберется не скоро. Нездельку-другую здесь можно перекантоваться свободно.

— Решил отдохнуть немного, — сказал Витек, исподлобья глядя на Руфину. Та сидела на табуретке, положив руки на колени, и смотрела, как едят гости. — Тебе по хозяйству помочь. Дровишек на зиму наколоть. Кореша с собой для этого взял. Его Сашкой зовут. — Витек кивнул в сторону товарища. — Он по специальности лесоруб. Так колуном махать научился, что чурки не успеваешь подставлять.

— Дрова-то колоть мне уже не по силам, — согласилась Руфина, тяжело вздохнув. — Спасибо Федька соседский помогает. А так бы не управиться.

— Чего это он в канистре везет? Бензин, что ли? — сказал Витек, который снова смотрел в окно. Хоть и глухая была деревня, а полностью избавиться от страха он не мог. Страх инстинктивно жил внутри него.

Со станции возвращался Тима-Косиножка. Канистра все также висела у него на руле велосипеда. Но по тому, как вихлял руль, можно было догадаться, что канистра была полной.

— Какой еще бензин? — удивилась Руфа, поднявшись с табуретки и подойдя к окну. — Откуда на станции бензину взяться?

— Ну, тогда, наверное, молоко.

— Не дури, — впервые за все время Руфа улыбнулась самым краешком губ. Ее обрадовало, что племянник решил помочь по хозяйству. — У Тимофея от своей коровы молоко девать некуда. Как мать-то?

— Ничего, — ответил Витек. — А что ей сделается?

— Она ведь вроде болела. — Руфина вспомнила сестру, и подобие улыбки слетело с ее лица. Сестра тоже жила без мужа, и Руфина сочувствовала ей.

— Ничего она не болеет. — Витек достал из кармана сигареты и стал шарить глазами по припечку, ища спички.

Руфина протянула руку к шкафу, достала спички, подала их племяннику и встала, чтобы прибрать со стола. Огурцы и пирожки были съедены, она взяла пустые тарелки и пошла с ними в сени. Через некоторое время вернулась. Витек, куривший у окна, удивленно воскликнул:

— Ты смотри! Хромой-то уже с флягой едет.

Тима-Косиножка, бороздя носками ботинок по земле, торопливо толкал впереди себя тачку, в которой лежала сорокалитровая фляга. Около калитки Руфиного дома он остановился и утер рукавом старой, выцветшей рубахи лицо. Тиме было жарко.

— Нет, что ни говори, а бензин в таких флягах не возят, — сказал Витек, соскакивая со стула. — И молоко тоже.

Он рванулся к порогу, толкнул ладонью дверь и выскочил наружу. Руфина увидела, как он кинулся к калитке. Тима в это время покотил свою тачку дальше.

— Стой! — крикнул Витек, но Тима, услышав окрик, только прибавил шаг. — Стой, тебе говорю! — повторил Витек, выскакивая на дорогу.

Тима остановился. Витек подскочил к соседу, схватил флягу за ручку и, почувствовав, что она пустая, опустил ее в тачку.

— Куда едешь? — спросил он тоном, каким обычно его допрашивали следователи, когда теряли терпение.

— Куда надо, туда и еду, — ответил Тима, ощупывая Витьку сердитым взглядом. Тима был неделю не брит, его лицо выглядело сморщенным и старым. — Тебе-то что?

— Здесь вопросы задаю я, — ледяным тоном произнес Витек и Тима увидел в его желтоватых хищных глазах беспощадность волка. Ему сразу стало не по себе.

— Не твое ведь оно. Чего ты разоряешься? — примирительно произнес Тима, швыркнув носом. — Цистерна со вчерашнего дня бесхозная. — Он снова вытер рукавом рубашки пот с лица. — Все берут, и я тоже.

— Чего берут? — дожимал соседа Витек, воровским нутром чуя близкую и легкую поживу.

— Вино, — ответил Тима, переступая с ноги на ногу.

— Где? — не произнес, скорее выдохнул подавшийся всем корпусом вперед Витек.

— В тупике. Сразу за станцией.

Витек взмахнул руками и кинулся к Руфине. С силой рванул дверь и, ступив одной ногой на порог, крикнул:

— Фляга у тебя есть?

— Какая фляга? — не поняла Руфина, обводя глазами комнату.

— Обычная. Какая же еще?

— Нету.

— А канистра? — у Витьку от волнения начала дергаться щека, он уже терял терпение.

— И канистры нету. Зачем она тебе? — не переставала удивляться Руфина. — Бензин что ли потребовался?

Витек шагнул к скамейке, на которой стояли два эмалиро-

ванных ведра с водой, схватил их и кинулся из избы. Уже на пороге обернулся и нетерпеливо крикнул корешу:

– Сашка, за мной!

Оба пулей вылетели из дому. Выплеснули воду на траву и побежали к станции. Ошарашенная Руфина, выйдя на крыльцо, увидела только, как они, размахивая ведрами, заворачивали за угол.

Назад вернулись минут через двадцать, запыхавшиеся, но радостные. Поставили на скамейку ведра, наполненные темной жидкостью. Витек взял кружку, зачерпнул из одного ведра и торопливо, жадными глотками, стуча зубами о край и проливая жидкость себе на грудь, осушил ее до дна. Вытер ладонью губы, зачерпнул снова и протянул кружку корешу. Руфина, упредев руки в бока, молча стояла у порога, не понимая, что происходит. Потом кивнула на ведра и спросила:

– Сок, что ли?

– Какой тебе сок? — усмехнулся Витек. — Портвейн. Давай закуску.

– Не ври. — Руфина картинно махнула ладонью. — Золотой колодец нашел. Портвейн ведрами черпать можно.

Витек взял кружку, которую уже опустошил Сашка, зачерпнул из ведра, протянул тетке:

– Попробуй.

Она поднесла кружку к лицу, понюхала, отпила глоток и, округлив от удивления глаза, сказала:

– И правда вино. Где это вы его взяли?

– Сидишь дома и ничего не знаешь, — наставительно произнес Витек. — На станции в тупике цистерна стоит. Там вся деревня выстроилась в очередь.

– Откуда она взялась? — Руфина уже начала сгорать от нетерпения. Она не могла понять, почему никто из деревенских до сих пор не сказал ей об этой цистерне.

– Вчера пригнали. Говорят, бесхозная.

– Бесхозных цистерн с вином не бывает, — заметила Руфина. — Хозяин все равно найдется.

– Пока найдется, от нее уже ничего не останется. — Витек рассмеялся, оскалив железные зубы. Хмель уже слегка ударил ему в голову.

Руфина отпила еще несколько глотков и сказала:

– Сейчас салат сделаю, и яичницу с салом пожарю. — Она заторопилась в сени, где у нее стояла газовая плита и загреме-



ла чашками.

Через десять минут на столе стояла сковородка с шипящей яичницей, салат из огурцов и редиски и вино, налитое из ведра в трехлитровую банку. Все трое чувствовали себя, как на празднике. После второго стакана Руфина расслабилась и смотрела на Витьку ласковым материнским взглядом.

— Живи у меня хоть все лето, — говорила она ему, подставляя свой стакан поближе к банке. — Я тебе тут найду и работу, и невесту. — Руфина покраснелась и окончательно подобрела.

При слове «невеста» его кореш сразу оживился и, наполнив всем стаканы, осторожно спросил:

— А что, здесь и невесты водятся? — при этом он окинул с ног до головы Руфину, задержавшись взглядом на ее полной груди.

— А где их нет? — кокетливо передернула плечами Руфина и, не скрывая улыбки, впервые с интересом посмотрела на Витькиного друга.

Он был старше Витьку лет на десять, не шибко широкий в плечах, но гладко кожей. Левую его бровь рассекал белый шрам. У Сашки были приятные темные глаза и красивые губы. Сашка не скрывал своих намерений. Он смотрел на Руфину с такой откровенной плотоядностью, что она опустила глаза. Руфина уже не помнила, когда последний раз была с мужиком, откровенный, раздевающий взгляд смущал ее.

— Может сала подрезать? — спросила Руфина. После выпитого она ощущала приятное головокружение.

— Мы еще это не съели, — сказал Сашка, поднимая стакан. — Давай выпьем.

Руфина выпила. Сашка положил на ломоть хлеба кусок яичницы, протянул ей. Она отставила в сторону стакан, взяла закуску. Витек тоже выпил полный стакан и тут же налил себе снова. Он видел, что его дружок откровенно клеит тетку, но это не вызывало в нем никаких чувств. Ему было абсолютно безразлично, что произойдет у них дальше. У самого Витьку, не смотря на двадцать семь прожитых лет, никакого опыта с женщинами практически не было. За все это время он один раз переспал с пьяной бомжихой, да еще неделю прожил у непросяхающей алкоголички. В зоне женщин нет, там мужики пользуют мужиков. А Витек со дня своего совершеннолетия на воле прожил всего несколько месяцев.

Сейчас он впервые подумал о женщине. Посмотрел на Руфину с Сашкой и почувствовал себя лишним. Поднял стакан с вином, покрутив в пальцах, посмотрел сквозь него на свет, неторопливо, маленькими глотками выпил. Закурил сигарету, сделал несколько затяжек и, немного качнувшись, встал из-за стола.

— Ты куда? — спросил Сашка, подумав, что Витек специально оставляет его вдвоем с Руфиной.

— Подышу волей.

Витек направился к двери, остановился у ведра с вином, протянул руку к кружке. Зачерпнул из ведра, толкнул ногой дверь и осторожно переступил через порог, стараясь не расплескать вино. Сел на крыльцо, поставив кружку рядом с собой. В голове шумело, но пьяным он себя не ощущал, движения и мысли контролировал четко. На улице было жарко, и он подвинулся так, чтобы сесть в тень, которую отбрасывал козырек крыльца.

Спрятавшись от солнца, Витек осмотрелся. У тетки был большой огород, протянувшийся до самой опушки леса. Главную его часть занимала картошка, уже выбросившая над зеленой ботвой маленькие и невзрачные белые и сиреневые цветочки. В десяти шагах слева от крыльца тянулась невысокая ограда, отделявшая Руфину усадьбу от соседей. К ней вела узкая тропинка, обрывавшаяся у калитки. Дом соседей был с большой верандой и высоким крыльцом.

Витек затянулся сигаретой, выпустил дым, протянул руку к кружке. С наслаждением отпил несколько глотков и блаженно прикрыл глаза. Он был абсолютно счастлив. Сегодня у него имелось все, что он когда-либо мог пожелать самому себе: вдоволь вина (столько у него не было еще ни разу), царская еда (за восемь лет отсидки яичницу с салом он видел несколько раз только во сне), деньги в кармане (кассу убитой продавщицы они с Сашкой поделили пополам), ласковое летнее солнце и даже кукование кукушки. Он услышал его в тот момент, когда ставил кружку на крыльцо. Витек снова затянулся сигаретой и закрыл глаза, мысленно произнеся: «Кукушка, кукушка, сколько мне жить?» и начал считать. Досчитав до десяти, открыл глаза и увидел, как к соседнему дому подошла удивительной красоты пацанка. Длинноногая, стройная, в изящном сиреневом платье — будто картинка с обложки дорогого заграничного журнала.



Кукушка продолжала куковать, но Витек уже не слушал ее, а смотрел только на девочку. Остановившись у крыльца, она нагнулась, достала из-под нижней ступеньки ключ, легко вспорхнула на крыльцо и скрылась в доме.

Витек помимо своей воли подался вперед и чуть не свалился с крыльца, зацепив локтем кружку. Она со звоном опрокинулась, вино разлилось по крыльцу и тонкой струйкой сначала потекло, а затем закапало на ступеньки. Приподнимаясь, он оперся о ступеньку, попав ладонью в разлившееся вино. Машинально вытер ладонь о рубашку, инстинктивно пригнулся и в несколько прыжков оказался у калитки, разделяющей усадьбу соседей. Не сводя глаз с двери, за которой скрылась девушка, начал на ощупь искать крючок. Нашел его, приподнял, калитка подалась вперед. Он уже хотел сделать шаг, чтобы оказаться на чужой территории, но в это время девушка вышла из дома и встала на крыльце. Увидев у ограды незнакомого человека, она удивленно подняла брови. Витек дрожал всем телом, от нетерпения у него стучали зубы. Боясь спугнуть жертву, он сиплым, сдавленным голосом произнес только одно слово: «Девочка!» и махнул рукой, подзывая ее к себе.

Катя спустилась с крыльца и направилась к калитке, чтобы узнать, чего от нее хотят. Но когда подошла к Витьку и встретилась с ним взглядом, ей стало страшно. В лице незнакомца не было ничего необычного. Но его неподвижные желтые глаза смотрели на нее с такой лютой безжалостностью, что она невольно сжалась. Такого звериного взгляда ей еще не приходилось видеть. Катя инстинктивно отшатнулась и кинулась бежать. Витек распахнул калитку и прыгнул, стараясь сбить девушку с ног. Катя упала на бок, Витек растянулся на траве, пытаясь достать ее руками. Он схватил ее за туфлю, но Катя вырвала ногу и с силой ударила его в лицо. Соскочила и побежала к дому. Но тут же поняла, что не успеет закрыть за собой дверь. Она испуганно обернулась, ища глазами укрытие, и бросилась к коровьей стайке. Там была прочная дверь, рядом с ней всегда стояли вилы. Она уже миновала порог, когда Витек догнал ее. Одной рукой схватил за платье, которое тут же треснуло, расплываясь по шву, другой с размаху ударил в лицо. Катя упала и поползла внутрь стайки. Витек тоже упал, схватил ее за ногу и попытался подтянуть к себе, но она вывернулась и снова ударила его ногой в лицо. Он подался вперед, схватил девушку за руки и навалился на нее всем телом, прижимая к мокрым, грязным доскам пола.

9

Вадик был уже почти у дома, когда ему в голову пришла неожиданная мысль. Если он придет к Голицыным, когда Федя вернется из магазина, договориться с Катей о встрече не удастся. Федя помешает этому, он ни за что не оставит их одних. Вадик еще раз осторожно дотронулся до щеки, в которую его только что поцеловала Катя, и остановился. В душе появилось раздражение самим собой. «Разве так целуются, как я?» – недовольно подумал он, вспомнив затяжные до изнеможения поцелуи киногероев. Он не мог понять, почему оказался таким скованным. Сейчас скованность прошла, и он бы поцеловал Катю по-другому. Не так, как получилось в первый раз, а по-настоящему. Прижав к груди и запрокинув голову.

Вадик в раздумье поколебался несколько мгновений, повернулся и побежал к Кате. Свернув в переулок, где жили Голицыны, он услышал приближающийся со стороны проселка шум мотоцикла. Вадик остановился, но тарактение внезапно оборвалось, и он прибавил ходу.

Подскачив к дому, в два прыжка поднялся на крыльцо, открыл дверь, окликнул Катю и прислушался. В доме было подозрительно тихо. Он прошел в комнату, но Кати там не было. Вадик вышел наружу, спустился с крыльца, окинул взглядом поляну и огород. Катя должна была быть где-то рядом. Он даже подумал, что, увидев его, она решила поиграть и спряталась. Он внимательно осмотрел усадьбу. На огороде ее не было, туалет закрыт на вертушку, баня — тоже. Открытой была лишь стайка. Вадик направился туда и вдруг услышал стон. Сердце его екнуло, в два прыжка он достиг двери стайки и остановился, потрясенный. На полу лежала Катя с разбитым лицом, на ее ногах сидел мужик. Он задрал подол платья и, сопя, пытался стянуть с Кати трусики. Катя обеими руками ухватилась за них, сопротивляясь изо всех сил. Она пыталась кричать, но лишь раскрывала разбитые, окровавленные губы и стонала. Крика не получалось.

Вадик не видел лица мужика, тот сидел к нему спиной, но и со спины он был страшен. Сопя, насильник издавал нечленораздельные звуки и походил на разъяренное животное. Катя извивалась, стонала, моля о помощи, но ее никто не слышал. И вдруг она увидела Вадика. Она уставилась на него молящими



глазами и попыталась вывернуться из-под насильника. Это ей не удалось, и она мотнула головой в сторону дверей. Вадик понял, что этот жест предназначался ему. Но он оцепенел от страха и долю секунды стоял, не двигаясь. Потом повернул голову и увидел у дверей вилы с отполированной деревянной ручкой.

Вадик коснулся ручки ладонью. В это время насильник навалился на Катю и вытянул ногу, зацепив ею вилы. Они упали ему на плечо и скатились на пол. Он вздрогнул от неожиданности и схватил вилы рукой. Вадик побелел, как парное молоко, и одним прыжком выскочил из стайки. Его пронзил неопишемый ужас. Он вдруг ощутил, как холодная, острая сталь, разрывающая кожу, вонзается в его живот. На лбу у Вадика выступил пот, он кинулся сначала к дому, потом к калитке, ведущей на улицу, и, что есть мочи, понесся, сам не зная куда. Ему хотелось лишь одного: как можно дальше убежать от губельного места, где он только что находился. На углу переуллка Вадик чуть не сшиб с ног старуху Редкозубову, которая несла со станции трехлитровую банку дармового вина. В страхе он не увидел даже Федю, показавшегося на улице и размахивающего полиэтиленовым пакетом с булкой свежего хлеба.

Редкозубова подозрительно посмотрела на убегающего Вадика, поставила банку на землю и торопливо замахала рукой, подзывая Федю к себе.

— Беги домой, там, однако, худое деется, — сказала Редкозубова, когда Федя подошел к ней. А сама все смотрела вслед убегающему Вадикю. — Я сегодня варнака Руфкиного видела. Он к ней с дружкой приехал.

— Какого варнака? — не понял Федя.

— Племянника ейного, который у меня сметану из погреба воровал. Из тюрьмы, видать, вышел, — бабьим сердцем чую неладное, взволнованно сказала Редкозубова.

У Феде кольнуло сердце. Несколько дней назад отец купил ему и Кате импортные кроссовки. Сразу подумалось, что если в дом залезет вор, он в первую очередь унесет их. То, что может что-то случиться с сестрой, ему даже не пришло в голову.

— Беги! — Редкозубова подтолкнула Федю в спину маленьким, сухим кулачком. — Я за тобой.

Она подняла с земли банку, прижала ладонью пластмассовую крышку и мелкой старушечьей рысцей затрусила к дому Голицыных.

Федя с лету распахнул дверь дома, обежал комнаты и кухню, на ходу проверяя, не украдено ли что-нибудь. Заглянул в шифоньер, кроссовки были на месте. Да и остальные вещи вроде бы тоже. Не было только Кати. В душу Феде стало закрадываться смутное подозрение. Он вышел на крыльцо и, так же, как и Вадик, обвел взглядом огород и дворовые постройки. Соскочил с крыльца и побежал к стайке.

Витек уже сорвал с Кати трусики и пытался сделать свое гнусное дело. Но то ли он слишком перевозбудился, то ли потому, что чересчур спешил, у него это не получалось. Штаны Витька сползли до колен, он кряхтел, то поднимая, то опуская омерзительный голый зад. Эта картина ошеломила Федю. На какое-то мгновение он оцепенел. И когда увидел выглядывавшее из-за плеча Витька окровавленное, распухшее лицо Кати с закрытыми глазами, сначала не узнал ее. Лишь бросив взгляд на изорванное сиреневое платье, понял, что изнасиловать пытаются его сестру.

Федя машинально протянул руку за дверной косяк, куда он обычно ставил вилы. Их там не оказалось. Он повернул голову и увидел, что они лежат на полу. Когда Витек понял, что уронил вилы сам, нечаянно зацепив их ногой, он успокоился. Лишь отодвинул их чуть в сторону, чтобы не мешали. Федя молниеносно, словно выскочивший из засады зверь, рванулся вперед, схватил вилы и с размаху вонзил их в спину Витька. Он услышал, как они стукнулись о позвоночник, со скрежетом пропороли его и вошли в тело. Витек сразу обмяк, вытянулся во весь рост и начал скрести пальцами доски пола. Федя напрягся, поддел его на вилы, сбросил с Кати и пришпилил к доскам. Кровь ручьем потекла по спине Витька, на губах показалась красная пена. Он пытался повернуть голову, чтобы увидеть того, кто расправился с ним, но голова тяжело упала, и лишь пальцы продолжали скрести доски.

Федя нагнулся, схватил Катю за руку, рывком поднял ее на ноги.

— Пойдем! — резко крикнул он, выталкивая ее из стайки.

Она пошла, всхлипывая и не пытаясь высвободить свою руку из жесткой ладони брата. По ее распухшему, окровавленному лицу текли слезы. У калитки показалась Редкозубова с трехлитровой банкой в руках. Увидев Катю, она поставила банку на траву и кинулась к ней. Запнулась обо что-то, упала, вско-



чила и побежала снова.

— Это что же за выродок такой! — заголосила она на всю улицу, повернувшись к Руфиному дому. — И как только Бог позволяет им появляться на свет!

Федя хотел завести Катю в дом, но, оказавшись у крыльца, она беспомощно опустилась на ступеньку. Он сел рядом, погладил сестру ладонью по голове. Она прижалась к его плечу и заплакала навзрыд.

— Пусть выплачется, легче будет, — сказала Редкозубова, присаживаясь рядом с Федей. — А где упырь-то этот?

Федя кивнул в сторону стайки. Старуха проследила за его взглядом, вздохнула и перекрестила стайку широким крестом. Катя заплакала еще сильнее. У Феде начали трястись руки. До него только сейчас стало доходить, что он расправился с человеком, пусть и преступником.

— Пойдем в дом, — сказала Редкозубова, глядя на Катю. — Тебе надо вымыться и переодеться.

Федя обнял сестру за плечо и попытался поднять ее с крыльца, но она не вставала. В это время с опушки леса раздался громкий и надрывный голос кукушки. Она словно звала кого-то. Катя на минуту затихла, убрала голову с Федино плеча и отчетливо произнесла:

— Не кричи, кукушка!

— Что, что ты сказала? — спросил Федя, потрянув сестру за плечо.

— Не кричи, кукушка! — шепотом повторила Катя, встала и медленно пошла в дом.

Старуха Редкозубова, широко открыв рот, посмотрела ей вслед и перекрестилась.

10

Измотанная дикой давкой в таможне, мокрая от пота Люська наконец-то увидела Вадима и, высоко подняв руку, нервно замахала зажатым в ладони платком. Она даже попыталась подпрыгнуть, чтобы он заметил ее поскорее. Но Вадиму не хотелось идти к ней. Он посмотрел на Люську и повернулся к Кате, не зная, с чего начать разговор. Первым делом, конечно, нужно было попросить прощения и объяснить, почему он тогда не заступился за нее и сбежал из стайки. Почему не мог преодолеть животный страх, сковавший его. Но Вадим боялся на-

чинать разговор, потому что прекрасно видел тот водораздел, который пролегал между ними за эти годы. Катя из деревенской девочки превратилась в леди, к которой боязно подойти, а он стал лишь челноком. А что может челнок? Предложить леди, чтобы она купила у него букетик фиалок? Этого не понимала Люська, истерически кричавшая на весь зал:

— Вадим! Я здесь!

Люська кричала так, что можно было подумать, будто с нее сдирают кожу. Вадим сделал ей знак рукой, давая понять, что сейчас подойдет. Катя, смотревшая на Вадима с радостным ожиданием, повернула голову, увидела Люську и мгновенно изменилась в лице. Ее красивые губы плотно сжались, а взгляд стал растерянным. Она оглянулась, словно ища кого-то. Но Вадим не заметил этого.

— Катя, — сказал он, отворачиваясь от Люськи, как от назойливой мухи.

Это имя Вадим произнес не голосом, а сердцем. Он вспомнил, как лежа на пляже, целовал ей пальцы, и от этого воспоминания сразу исчезла нерешительность. Темно-карие Катины глаза были такими родными, смотрели так тепло, что Вадим увидел перед собой другую жизнь, полную чистой любви и света. И от этого видения почувствовал, как отряхнулась душа, сбрасывая с себя ошметки грязи, и потянулась к другой душе, недостижимой и потому казавшейся еще чище. Потянулась, чтобы, пройдя через ее свет, никогда больше не коснуться никакой скверны. Ему показалось, что и Катя сейчас чувствует то же самое. Но Вадим ошибся. Кончиками пальцев Катя поправила шляпу, перевела взгляд с него на Люську и сказала тоном, от которого у Вадима побежали по спине мурашки:

— Извините, я спутала вас с другим.

— Да ты что? — Вадим не мог поверить тому, что она говорила. — Я же приезжал к вам в деревню.

Вадим, как утопающий, пытался ухватиться за последнюю соломинку, все еще надеясь, что она может спасти.

— Я никогда не видела вас ни в какой деревне, — ледяным тоном произнесла Катя. — Извините.

Она отвернулась. Между ней и Вадимом тут же вырос широкоплечий амбал, скорее всего, из ее личной охраны. Но страшен был не амбал, а то, что Катя объяснилась так холодно и жестко. Все эти годы она постоянно жила в его душе. Были женщины, которыми он увлекался, были те, которых, как ему казалось,



любил. Но ни об одной из них он никогда не думал так трепетно и нежно, как о Кате. Он готов был на коленях вымаливать у нее прощение за предательскую трусость. Ведь после того, как проскочив от страха мимо Редкозубовой, Вадик пришел в себя, он хотел позвать кого-нибудь на помощь и спасти Катю. Но рядом никого не оказалось. Все взрослое население, попяртавшись в укромных местах, пьянствовало. Даже деда с бабкой не оказалось дома, они тоже пошли на станцию за дармовым вином. Вадик прошел в комнату, упал на кровать и заплакал от бессилия. Утром он уехал в Новосибирск и больше никогда не возвращался в деревню. Но все эти годы, кляня себя за трусость, думал о Кате. Ведь ему не надо было бросаться на насильника. Достаточно было закричать, позвать на помощь и тот, спасая свою шкуру, сам сбежал бы из стайки. А Вадик оцепенел от страха, который парализовал волю. Впрочем, он всегда верил, что Катя поймет и простит его за минутную слабость, только бы им удалось встретиться. Плохое забывается, остается лишь хорошее. Но Катя не забыла и не простила.

Он понимал, что у Кати другая жизнь, и ему в ней уже нет места. Пусть так. Ему и не надо от нее больше нескольких, в общем-то, ничего не значащих слов или хотя бы жеста, которые дали бы возможность взглянуть на себя по-другому. Может быть, обрести свою любовь. Настоящую, от которой замирает сердце и удесятерятся силы. Он бы выбился в люди, может быть, даже попал в тот круг, в котором вращается Катя. Лишь бы она освободила душу от камня, который многие годы тянет к земле...

Но для Кати, в отличие от Вадима, каждое слово и каждый жест имели значение. Она никогда никого не предавала и поэтому не могла простить предательство, тем более такое, которое перевернуло всю жизнь. Прощение надо вымолить или искупить, может быть даже ценой жертвы. Но Вадим не умел совершать искупление. Он никогда не вставал на колени, его душа не знала слез покаяния. Только сейчас, глядя на чужую и холодную Катю, в его голове впервые пронеслась мысль об искуплении. Но он тут же понял, что никакое искупление теперь уже не изменит ничего. «Всему свое время, — как говорил мудрец. — Время любить и время ненавидеть».

У Вадима затряслись губы. Он опустил голову и медленно пошел к таможенному залу. В глазах было темно, в голове стучало.

Он оглянулся. Катя смотрела на него, но в ее взгляде уже не было ни холода, ни неприязни. Вадим остановился, прикрыл веки, и перед глазами встала речка, белый песчаный пляж, Катя в сиреневом платье, похожая на цветок. Он вдруг увидел, как она кончиками пальцев чуть приподняла подол своего платья, намереваясь раздеться, но застеснялась и заставила его отвернуться. А через некоторое время поцеловала его в щеку. От этого воспоминания замерло сердце. Вадим осознал, что уже никогда не будет счастлив. Если бы сейчас не встретил Катю, могло случиться, что еще обрел бы свою любовь. А теперь — нет. Теперь будет любить только Катю. Будет жить воспоминаниями о ней. О первом поцелуе и этой встрече. Потому что лучше Кати нет никого...

Вадим не знал, сколько простоял с закрытыми глазами. Открыл их, когда услышал рядом знакомый голос, который спросил: «Тебе помочь? У меня машина».

Вадим вздрогнул. Рядом стоял Сема Ляпунов. От него пахло хорошим одеколоном, он был в дорогом костюме и модном французском галстуке. Сема явно причислял себя к тому кругу людей, в который входила Катя. Еще немного и у него появится личная охрана. Вадим подумал, что и Тамара сейчас относит себя к людям высшего круга и так же, как Катя, по всей видимости, считает его ничтожеством. И помощь Сема предлагает не от искреннего великодушия, а чтобы подчеркнуть свое положение.

Не обращая внимания на бывшего друга, Вадим посмотрел туда, где несколько минут назад стояла Катя. Теперь ее там уже не было. В дверь, ведущую на посадку, входили последние пассажиры. Ему показалось, что душа его бросилась вдогонку за ней. Он стоял измученный и опустошенный. Такой опустошенности он не ощущал никогда. Ему не хотелось жить. Все, к чему он стремился последние годы, оказалось суетным и ничтожным. «Что же мне делать?» — думал Вадим и не находил ответа. Тяжело подняв голову, он покачнулся и нехотя направился к таможенному залу, где его ждала изнервничавшаяся Люська. Но вдруг остановился и, повернувшись к Семе, глухо спросил:

— Куда они полетели?

— В Мозамбик, — ответил Сема, поняв, что Вадим спрашивает о Кате. — А где ты с ними познакомился?

— Я с ними не знаком, — сказал Вадим. — Кто они такие?

— Ты что, не знаешь Виктора Шелехова? — удивился Сема.

— Он же работал в институте горного дела. Главный специалист по добыче драгоценных металлов. Сейчас работает в Мозамбике главным специалистом по добыче золота. — Сема нагнулся к Вадиму и полусшепотом сказал: — Самый богатый человек из всех, кого я знаю.

— А эта?... Которая с ним...

— Катя? — Сема повернулся к двери, за которой скрылись пассажиры, отлетающие во Франкфурт. — Жена его. По-французски и испански говорит лучше, чем мы с тобой по-русски.

— А ты-то откуда их знаешь? — спросил Вадим.

— Просил Шелехова узнать, нельзя ли нам поставлять в Мозамбик свои макароны. Бизнес надо ставить на широкую ногу. — Сема щелкнул пальцами. — Жить надо высокими целями, старик.

Вадим окончательно сник. Теперь для него недостижимым стал и Сема. А ведь до женитьбы на Тамаре никаких разговоров о высоких целях он не вел. «Неужели женщина так меняет мужчину? — думал Вадим. — Неужели счастье и все, что с ним связано, зависят только от того, на ком ты женился или кого ты любишь? Неужели мужчина добивается всего на свете только ради женщины?». Вопросы лезли в голову, но ни на один из них Вадим не находил ответа.

Кто-то неловко толкнул его в плечо, он обернулся и увидел бомжа, спешащего к буфетному столику. К тому самому, на котором Вадим оставил недопитую пепси-колу. Она все так же стояла там, но теперь рядом с бутылкой лежала недоеденная куриная ножка. Какой-то пассажир, торопясь на самолет, не успел обглодать ее. За бомжом торопливо семенила его избитая, оборванная подруга.

Вадим оцепенел. Ему показалось, что он увидел самого себя. Ведь и у бомжа когда-то была другая жизнь. Ведь и он, по всей видимости, кого-то любил и мечтал о счастье. Но то ли предал свою любовь, то ли струсил, а дальше все покатило само собой. Сломаться, как и изменить, трудно только первый раз. Потом этого уже не замечаешь. Вот и у него сначала была Катя, затем Тамара, теперь Люська. Он не хотел думать, что будет дальше. Изнервничавшаяся Люська, поджидая его, уже кипела от ярости.

Вадим подошел к ней, не глядя, взял за ручки две огромные сумки, и покатил их к выходу.

Цикл эссе

Ли́ки
дру́зей



БАТЮШКА

На кладбище так тихо, что слышно, как шуршат листья, скользя с вершин пожелтевших берез к их подножиям. Кругом ни одной живой души, да и что ей делать в это время здесь, среди мертвых? Мы медленно едем на машине по дорожке, ища знакомую могилу. И вдруг жена, положив руку мне на плечо, тихо говорит:

— Остановись!

А, может, и не сказала? Может, мне это только показалось? Я и сам увидел около дорожки четыре высоких деревянных креста с маленькими металлическими табличками на них. Среди каменных надгробий и памятников, расположенных во круг, они сразу бросаются в глаза. Под крестами лежит почти вся семья, мне пришлось хоронить каждого из них. Последним был батюшка. Казалось, мы виделись с ним совсем недавно. Он уже почти не вставал с постели, сильно похудел, его желтые щеки выглядели восковыми. В этот день кроме нас с женой навестить его приехала чета художников.

Жена художника, полная женщина с круглым лицом и короткой мальчишеской прической, только что вернулась из Соединенных Штатов Америки, где две недели жила в одной американской семье. Она настолько очаровалась и страной, и американцами, что все время повторяла с восторженным придыханием:

— Они такие чудесные! Они так любят русских и Россию!

— И, поглаживая себя ладонью по кофточке, добавляла: — Посмотрите, какие вещи они носят... Чистый хлопок...

Моя жена молчаливо опускала глаза и прятала в уголках губ улыбку потому, что точно такие кофточки два дня назад видела на прилавках Барнаула. Мы приехали в дом батюшки раньше художников и говорили с ним о Косово, где косовские албанцы недавно взорвали два православных храма. Батюшка не мог понять, как можно взрывать святыни, какому бы народу они ни принадлежали. Вера в Господа — высшее духовное начало человека, уничтожением церквей ее не искоренишь. Чем больше унижается народ, тем сильнее растет его воля к сопротивлению. Не знаю, о чем он думал в ту минуту, но, посмотрев на художницу и ее кофточку, опустил глаза и тихо произнес:

— Но русские поднимутся с колен!



И это прозвучало так строго и так отчетливо, что художница замолчала, нервно дернула плечом и отвернулась, не желая смотреть ни на кого из нас. Ее обидели слова батюшки, а наше скептическое отношение к американцам, с чьего молчаливого согласия совершаются преступления косовцев на сербской земле, оскорбляло. Через некоторое время она снова попыталась восторженно рассказать нам о своих недавних хозяевах, но батюшка еще более сурово повторил:

— Но русские поднимутся с колен!

В трудных ситуациях он всегда умел находить самое точное слово и произносить его так, чтобы это, не унижая человека, ставило его на место. Таким даром мог обладать только настоящий батюшка.

Человек приходит к Богу по-разному. Меня потянуло в церковь за границей, когда ностальгия сжигала сердце и длинными, тоскливыми ночами то и дело часами молча смотрел в потолок, вспоминая места, где родился, вырос и обрел первых друзей. Кто пережил это, знает, как непереносимо духовное одиночество. Спасало то, что в городе была русская православная церковь. В ней всегда было тихо, прохладно и немногочленно, и душа обретала покой. У алтаря никто не мешал думать, вспоминать прошлое и молиться о будущем.

Батюшка пришел к Богу в тюрьме. Его, студента Горьковского педагогического института, осудили на семь лет за то, что распространял листовки, в которых призывал людей к свободе. Сейчас бы над этими наивными прокламациями, в которых не было ничего, кроме юношеского максимализма, просто посмеялись, но в пору андроповского КГБ, когда в стране негласно, но целенаправленно создавалось диссидентское движение, они были достаточным основанием для обвинения в антисоветской деятельности. Батюшка отсидел весь срок от звонка до звонка, диссидентом не стал потому, что слишком любил Россию, но вышел из лагеря совершенно другим человеком. Мы встретились с ним сразу после моего возвращения на Алтай.

Не помню уж по какому поводу, но перед вечером позвонил друг молодости писатель Евгений Гуцин и спросил, когда мы сможем встретиться.

— А где ты сейчас находишься? — поинтересовался я.

— У священника Михаила Капранова.

— Ну, так приезжай ко мне вместе с ним, — сказал я.

Среди моих друзей не было священников. И я никогда не думал, что Михаил Сергеевич Капранов вот так, с ходу, согласится поехать к незнакомому человеку. Однако уже через полчаса они с Гуциным стояли на пороге моей квартиры. Я внимательно рассматривал отца Михаила. Это был довольно высокий, сильный человек с большим лбом и внимательными темными глазами, блестящими за стеклами очков. Его взгляд казался настолько искренним и добрым, что сразу располагал к себе. Я пригласил их в комнату, мы сели за журнальный столик и мне показалось, что я знаю батюшку уже тысячу лет. Так душевно и неторопливо потекла наша беседа. И мы невольно потянулись друг к другу.

Кто пережил самое начало девяностых, помнит, какими растерянными были люди. Не те, кто, получая помощь из американских фондов, собирал народ на митинги и, срывая голос, требовал свободы, покаяния за преступления тоталитарного режима и уверял, что только класс собственников сделает нас счастливыми. Растеряны были другие. Те, кто потерял духовную опору, цель жизни, которая заставляла, не теряя совести, все время стремиться к лучшему. Батюшка считал, что в такие времена людям лучше всего обратиться к Богу, который и успокоит, и поможет обрести новую цель. И он, как мог, восстанавливал из руин Знаменский храм города Барнаула. В нем даже негде было помолиться. В одном из его приделов он поставил иконостас и начал службы. И в полуразрушенный храм потянулись люди. Уже через три месяца здесь возник свой постоянный приход. По воскресеньям в церкви негде было ступить, прихожане теснились даже в коридоре, но службу выстаивали до конца.

Я постоянно был на этих службах, и каждый раз пристально вглядывался в лица прихожан. Что заставляло их приходить сюда и молиться Богу?

Вот муж с женой. Обоим нет и сорока. Оба дорого одеты. Она поставила свечку Божией Матери и то и дело крестится. Взгляд ее устремлен вдаль, она вся ушла в себя и не видит никого вокруг. Женщина или просит у Бога прощенья или обращается к нему с какой-то просьбой. Муж сдержан, но он тоже ушел в себя, в свои думы. Такое душевное состояние человек может обрести только в церкви.

Очень много людей приходило исповедоваться. Исповедь – это осознание человеком своих ошибок, очищение от греха. Это самая трудная работа души, результатом которой



является укрепление духовных устоев. Батюшка никому не отказывал в исповеди, считая, что если человек пришел на нее, значит, созрел для этого, значит его душа начала свою очистительную работу.

Однажды, когда я был в церкви, туда пришли детдомовские дети. Каждый из них держал в руке свечку, каждый исповедовался батюшке. Было что-то трогательное и одновременно прекрасное в этих детских лицах, в их отношении к обряду исповеди. Не могу сказать, что они ушли отсюда убежденными православными, но твердо уверен, что дети поняли: избавиться от греха можно только путем чистосердечного раскаянья и молитвы.

Начало девяностых было возвращением людей к православию. Прихожане отца Михаила во многом отличались от остальных. Немалую часть их составляла интеллигенция. Будучи сам высокообразованным человеком (к тому времени батюшка окончил и прерванное педагогическое образование, и Духовную академию), он занимался просветительской деятельностью. Постоянно бывал во всех барнаульских вузах, выступая там с лекциями по православию, разъяснял пагубность участия в сектах, пропагандирующих отступление от заповедей Божьих, вселял в души людей уверенность в будущем. К нему тянулись и преподаватели, и студенты. И, конечно, творческая интеллигенция.

О его дружбе с самыми известными писателями ходили легенды. Хорошо помню первое посещение его квартиры, в которой всегда было полно самого разного народа. Он провел меня в свой маленький кабинетик, одна стена которого была увешана иконами, а остальные заставлены шкафами с книгами. Рядом с богословскими изданиями здесь стояли томики Ивана Шмелева, Бориса Зайцева, Георгия Иванова, Ирины Одовецевой и многих других, только открываемых нашему читателю талантливых и самобытных писателей русского зарубежья. Но батюшка остановился взглядом не на них, а потрогал рукой только что присланную ему из Красноярска Виктором Астафьевым книгу «Затеси».

— Искушает грех, — сказал батюшка и усмехнулся искренним, почти неслышным детским смешком.

— Какой грех может быть у Виктора Петровича? — удивился я.

— Ну, как же? — сказал батюшка. — Виктор Петрович иногда забывается и сквернословит. Последний раз, когда он был у меня, и с его языка сорвалось столько нехороших слов, что я заставил его встать на колени и отбить пятьдесят поклонов.

— И Астафьев отбил? — спросил я, уже совершенно удивившись.

— Вот перед этой иконой, — сказал батюшка и показал на икону Казанской Божией Матери.

С Виктором Петровичем Астафьевым батюшка познакомился в Красноярске, где до переезда в Барнаул служил в одной из церквей. Между ними сразу завязалась дружба. Батюшка постоянно бывал и в городской квартире Астафьева, и в деревне Овсянке, куда писатель переехал потом. Как известно, прямо напротив этой деревни, перевернувшись на лодке, утонула в Енисее мать писателя, когда тот был еще совсем ребенком. Поселившись в Овсянке, Виктор Петрович часто выходил на берег реки и подолгу молча и задумчиво смотрел на стремительную темную воду, торопливо уносящуюся к Ледовитому океану.

Дружба Астафьева и батюшки продолжалась и после того, как батюшку перевели на Алтай и сделали настоятелем Знаменской церкви. Приезжая в Барнаул, Виктор Петрович всегда останавливался в его доме. Батюшка никогда не рассказывал мне, о чем они говорили, но их беседы иногда продолжались до самого утра. Им было о чем рассказать друг другу. И когда умер Виктор Петрович, а батюшке тотчас же сообщила об этом по телефону жена Астафьева Мария Семеновна, он уже через два часа кинулся на похороны в Овсянку. Поскольку ни поездом, ни самолетом он не успевал, ехать решил на машине. Его отговаривали потому, что мороз был за тридцать, к тому же мела сильная поземка, но он никого не слушал. На территории Кемеровской области машина попала в аварию. Батюшка не пострадал, но на похороны Астафьева опоздал.

Вернулся он в Барнаул совершенно убитым. Я утешал его, говоря, что все делается по воле Божьей, но он только качал головой и, не стесняясь, утирал ладонью мокрые глаза. И успокоился только тогда, когда съездил в Овсянку и отслужил панихиду на могиле писателя.

А незадолго до этого нам с батюшкой выпал случай побывать на Всемирном славянском съезде в Праге. Российскую делегацию возглавлял председатель Всемирного фонда сла-

вянской письменности и культуры знаменитый скульптор Вячеслав Клыков. Делегация была большой, она разместилась в двух автобусах, и добирались мы до Праги два дня. По нашей территории ехали без перерывов, сделав короткую остановку только в Минске, и на границе с Польшей, в Бресте, где оказались глубокой ночью. Я был в Бресте много раз и удивился, увидев, что наш автобус, не доезжая до пограничного перехода, свернул в сторону. Как вскоре выяснилось, Клыков еще из Москвы договорился с директором музея Брестской крепости о том, чтобы нам показали ее.

Когда человек оказывается в подобных местах, его невольно охватывает трепет. Была теплая летняя ночь с невероятно яркими звездами на угольно-черном небе. Бастионы крепости были освещены бледным электрическим светом, на ее главной площади высился храм. Увидев его, батюшка остановился и, шепча молитву, перекрестился. Вячеслав Клыков, который, как известно, тоже был человеком глубоко верующим, перекрестился вслед за ним. Мы все молча стояли, слушая, как совсем рядом, в кустах на берегу Буга, поют соловьи. И каждый думал, что, наверное, соловьи вот так же пели в ту летнюю ночь, когда с другого берега этой спокойной и неширокой реки на нас обрушилась самая страшная в истории народа война.

Нам показали музей Брестской крепости, рассказали о том, что уже не осталось в живых никого из тех, кто защищал ее в июне 1941 года. Батюшка ходил по залам музея со скорбным лицом, но Клыков, догадавшись, о чем он думает, наклонился к его плечу и тихо сказал:

— В Белоруссии много таких мест, на обратном пути где-нибудь обязательно остановимся и отслужим панихиду.

На обратном пути из Праги в Москву мы действительно остановились у одного из мемориалов, и батюшка отслужил там панихиду по нашим погибшим солдатам. Была такая же удивительно теплая ночь, и в соседнем лесу так же, соревнуясь друг с другом, пели соловьи. Но в тот, самый первый день путешествия, рано утром мы были уже в Варшаве.

Батюшка оказался в этом городе впервые и попросил меня свозить его в старую часть польской столицы, которую в 1944 году гитлеровцы сравнивали с землей. Он долго ходил по улочкам Старого Мяста, как называют этот уголок Варшавы поляки, рассматривал чистенькие, восстановленные по сохранившим-

ся чертежам и фотографиям здания и, не переставая, удивлялся бесконечным группам маленьких школьников, которых учителя привозили сюда на экскурсию со всех концов Польши.

Еще больше школьников мы увидели на территории королевского замка в Кракове, где тоже сделали остановку. Одна учительница, заинтересовавшись нами, спросила, откуда приехали мы. Я сказал ей, что из России. Она улыбнулась и начала рассказывать своим ученикам, что эту польскую святыню в самом конце войны помогли спасти от уничтожения русские солдаты. А батюшка, посмотрев на школьников, заметил:

— Вот с этого и начинают дети любить свою родину.

И, грустно вздохнув, опустил голову. Всего несколько минут назад, разглядывая красоты королевского замка, мы говорили с ним о том, что ни в одной стране не относятся к истории с таким пренебрежением, как в нашей. Каждая власть переписывает ее в угоду самой себе. А ведь давно известно, что любой народ держится только на своей истории и вере. Те, кто не дорожит ими, быстро исчезают.

На площадке перед замком работало летнее кафе, мы сели за столик, заказав по чашке кофе. Батюшка был рад передохнуть, кофе он пил маленькими глотками, разглядывая туристов, в основном поляков, приехавших сюда из разных городов. Еще до отъезда из Барнаула матушка дала мне видеокамеру, попросив заснять наше путешествие.

— Батюшка все равно не сумеет этого сделать, — сказала она, — а ты сними, все останется какая-нибудь память.

Я включил видеокамеру, чтобы запечатлеть и замок, и стоящий рядом с ним польский храм, и, конечно, поляков. По всему миру ходят легенды о якобы необыкновенной красоте полячек, когда-то верил в них и я, но, побывав в Польше, понял, что это всего лишь легенды. Красивые девушки там действительно есть, но их не больше, чем у нас. И надо же так случиться, что пока я снимал, за соседний столик села симпатичнейшая полячка. Подтянув край юбки, она в меру обнажила красивые длинные ноги и, повернувшись к нам, положила руки на стол. Я заснял ее. Батюшка не видел этого, но просмотрев дома вместе с матушкой краковские кадры, потом выговорил мне:

— Не удержался, охальник.

— Красота всегда притягивает человека, — опустив голову, виновато сказал я.



— Красоту создает Господь, — наставительно сказал батюшка.

Я понял, что он не жалеет о том кадре. Без него впечатление о Кракове не было бы полным...

На Всемирный славянский съезд батюшка поехал с одной целью: посмотреть, какую роль в жизни других славянских народов играет православие. В работе съезда участвовали сотни делегатов, были там и представители русских диаспор из США и даже Аргентины. Самой многочисленной делегацией после нашей была югославская. Югославы со дня на день ждали нападения на их страну американцев. И большинство разговоров на съезде велось о том, как разделенному славянскому миру защитить их от агрессии. К моему удивлению, самую решительную позицию в защите югославов заняли поляки, хотя они всегда считались правверными католиками. Может быть потому, что они больше других помнили ужасы войны.

Югославов поддерживали все, но это не спасло их от нападения. Мало того, православная страна Болгария в первый же день войны запретила пролеты над своей территорией наших самолетов, которые, по их мнению, могли оказывать помощь сражающемуся Белграду. Но Россия и не стремилась помочь братьям сербам. Даже слова, которые произносились от ее имени в те дни, звучали вяло и лицемерно.

Мы часто встречались с батюшкой после славянского съезда, и он с какой-то особой горечью повторял:

— Ведь всем ясно, что защитить славян может только сильная Россия. Но кого она защитит, если русские так безразличны ко всему и к тому же разобщены как никогда. Пока не станем едиными, нам никого не спасти и не спастись самим.

— А что может спасти нас? — спрашивал я.

— Только вера, — отвечал батюшка.

К тому времени из Знаменской церкви его перевели настоятелем в Свято-Никольскую. До революции она была полковой церковью сибирских казаков. После революции много лет стояла закрытой, потом ее превратили в солдатский клуб. Во времена моего детства несколько лет мы жили рядом с ней, я в то время учился в пятом или шестом классе. По воскресеньям через дыру в заборе мы с пацанами пробирались в эту церковь и смотрели кино. Солдаты нас не выгоняли, мало того, разрешали щелкать семечки и сыпать шелуху в щели между досками пола. После приезда в Барнаул патриарха Московского и Всея

Руси Алексия здание церкви передали барнаульской епархии. Оно представляло собой жалкое зрелище. Батюшка ходил по нему, вздыхал и сразу прикидывал, что нужно сделать. Но главное, надо было как можно быстрее создавать приход. Церковь без прихожан всего лишь здание. Только общая молитва могла помочь ей подняться из руин.

Батюшка обладал особым даром привлекать к себе людей. Его проповеди можно было считать образцом выступления священнослужителя. Говорил он негромко, но так четко и ясно, и всегда о том, что больше всего волновало именно в эту минуту, поэтому каждое его слово западало в сердце. Он никогда и ничего не произносил спонтанно. Долго и обстоятельно готовился к каждой проповеди, читал духовную литературу и не только ее. В проповедях ему помогали и разговоры с Виктором Петровичем Астафьевым, и вся современная литература, за которой он постоянно следил, и общение с творческой и университетской интеллигенцией. Почти каждая более или менее значительная книга первой появлялась у батюшки. Он читал все, что могло хоть в чем-то духовно обогатить его.

Никольский храм постепенно преображался. Художник Владимир Коньков расписывал его стены и писал для него иконы, освещение каждой из которых было событием для прихожан. Вскоре над храмом поднялась снесенная в тридцатые годы колокольня. Затем появился купол. В ограде церкви была построена крестильня. Батюшка жил этим, по копейке собирая пожертвования и восстанавливая то, что было когда-то разрушено. Он весь светился, когда ему удавалось что-то сделать для храма. На воскресных службах в храме некуда было ступить, люди стояли и в его небольшом коридорчике, и на ступенях.

Особая забота батюшки была об иконостасе. Ведь иконостас — лицо храма. Ни одной из икон, украшавших его когда-то, не сохранилось. А на Алтае не было своих иконописцев. И он решился на невиданное — заказать иконостас в Палехе. Палешане — великие мастера, но и работа их стоит немало. Я часто спрашивал батюшку в те дни: где он возьмет денег расписаться с ними.

— Буду собирать с Божьей помощью, — тихо говорил он. — Благое дело Господь не оставляет без покровительства.

И ведь ему удалось добиться своего. Иконостас, сделанный в Палехе, преобразил храм. При одном взгляде на него невольно хочется перекреститься. Никольская церковь стала



гордостью не только ее прихожан, но и всего города. Я часто думаю, может ли священник оставить большую память о себе, чем отстроить храм, в который ходят тысячи людей? И другая мысль часто западает в голову: как удалось это сделать одному человеку? Без Божьего покровительства здесь действительно не обошлось.

Меня всегда интересовала семейная жизнь священника. Часто бывая в доме батюшки, я постоянно наблюдал его в разных ситуациях. И никогда не видел вышедшим из себя или просто сердитым.

Старшего его сына Дмитрия я видел редко. Он пошел по стопам отца, стал священником и так же, как и батюшка, строил храм в городе Заринске. Там он и сгорел в тридцать с небольшим лет, отдав всего себя служению православию. Во время строительства храма некогда было следить за здоровьем, он и не следил. Ночью у него случился приступ гипертонии, врачи не успели спасти. Отца Дмитрия похоронили около храма, который он построил. У меня создалось впечатление, что на похороны пришел весь город Заринск. Батюшка осунулся, почернел, много дней выглядел совершенно растерянным, но спасла молитва.

В его доме всегда было много детей. Это были и подруги младших дочерей, и дети священников, приходивших к нему в гости. Дети всегда находились там на особом положении. Они шумели, бегая из комнаты в комнату, часто заскакивали на кухню, чтобы взять со стола кусок пирога или чего-то еще, им никто ни в чем не отказывал и не делал замечаний. Такой любви к детям я не встречал нигде.

На Рождество или Пасху они всегда устраивали представление. Нарядившись в костюмы, разыгрывали сценки из младенческих лет Иисуса Христа, вдохновенно читали стихи, играли на пианино и пели. Церковные праздники были счастьем и для детей, и для тех, кто их видел в эти минуты.

Но каждой человеческой жизнью Господь распоряжается по-своему. Дочери выросли, вышли замуж, у обеих появились дети. Но младшей не повезло с семьей, а старшая погибла. Случилось так, что мы с женой узнали об этой трагедии первыми. И сразу поехали к батюшке. Матушка, не помня себя и никого не видя, ходила из комнаты в комнату, а он, опустив глаза, молча сидел на диване и по его щекам, не переставая, катились слезы. Батюшка не утирал их. Мы остановились около него и тоже

молчали. В человеческом лексиконе нет слов, которые могли бы утешить родителей, узнавших о смерти своего ребенка. Это был удар, который оказалось трудно перенести. Через полгода не стало и самого батюшки...

Священники — такие же люди, как и мы, разница лишь в том, что главная их забота — о душе, а не о стяжании. Батюшка считал, что каждый настоящий священник обязательно должен побывать на Святой Земле, постоять у Гроба Господня, посмотреть на Иордан, в котором крестился Иисус. Тогда и душа станет чище и помыслы светлее. А кому повезет, побывать и на Афоне, второй православной святыни, где вместе с греками всегда служили и до сих пор служат русские монахи. Первую свою мечту он исполнил, а до греческого Афона не добрался. Уже предчувствуя свой конец, он упросил матушку свозить его туда, но умер на полдороге.

Хоронили его в солнечный морозный день. Кладбищенские деревья стояли в густом куржаке, снежинки, срываясь с веток, светились, как звездочки. Провожая в загробный мир батюшку, священники пели молитву и, когда повторяли рефреном: «Упокой, Господи, душу раба твоего...», у людей замирали сердца. А народу на кладбище собралось столько, что, казалось, сюда пришел весь город. Без отца Михаила очень многие вдруг почувствовали себя сиротами...

Летом нам с женой не удалось навестить батюшку, мы приехали к нему осенью. Я стоял у его могилы, на которой лежали свежие цветы. Кто-то из тех, кто знал батюшку, положил их незадолго до нашего прихода. Мы с женой перекрестились и поклонились всем четырем могилам. Рядом с батюшкой и его дочерью за этой же оградой лежат и родители отца Михаила. Я никогда не думал, что за одной оградой окажутся сразу три поколения одной семьи...

Осеннее солнце светило холодным, но еще радостным светом. Праздник Покрова Богородицы был несколько дней назад, а в чистом небе до сих пор не пронеслось ни одной снежинки. Но с севера уже потянуло холодом, а это значит, что снег скоро выпадет, и мы с женой будем ждать Рождества, которое много лет каждый год встречали в доме отца Михаила. На этот раз мы окажемся одни, но он все равно будет с нами. Мы ходим на рождественскую службу в Никольский храм, увидим друзей и вспомним батюшку. И сиротство на какой-то миг отступит. Когда мы собираемся вместе, нам становится легче.

ДО КРОВИНКИ ЗДЕШНИЙ ЧЕЛОВЕК (Леонид Мерзликин)

Какими бесстрашными и легкими на подъем были мы в молодости! Не знаю, откуда Леня Мерзликин узнал, что я из Тюмени прилетел в Нижневартовск, но едва я вечером появился в своем номере гостиницы, как раздался телефонный звонок. Я снял трубку и услышал его голос. Леня звонил из Стрежевого и спрашивал, как долго я еще пробуду на Севере? Я ответил, что дня три точно.

— Завтра я прилечу к тебе, — обрадованно вздохнув, сказал Леня.

О том, что с августа 1974 года я работаю корреспондентом «Правды» по Тюменской области, он знал наверняка. Мог прочитать об этом в «Правде», мог услышать от кого-нибудь из наших общих друзей. Но как узнал, что я в Нижневартовске, мне было абсолютно неизвестно.

От Нижневартовска до Стрежевого, где он в то время находился, всего пятьдесят километров, но никакой регулярной связи между этими населенными пунктами в январе 1975 года не было. Даже разница во времени составляла между ними два часа. Стрежевой, расположенный на территории Томской области, жил по томскому времени, которое отличалось от московского на четыре часа. Нижневартовск, естественно, по тюменскому, где эта разница была два часа. Между двумя центрами зарождающейся в Западной Сибири нефтяной промышленности курсировал только ведомственный авиатранспорт. В основном, вертолеты. На одном из них и прилетел ко мне Мерзликин.

Зима на Севере в тот год стояла лютая, в Нижневартовске было под минус пятьдесят, тепла в местной котельной не хватало, электричества тоже, в гостинице каждому постояльцу выдавали дополнительное одеяло, чтобы не замерз ночью. Да и гостиница в городе была всего одна, ее почему-то называли «канадской». Она была деревянной, рассчитанной на двадцать четыре постояльца, и получить в ней место можно было только по особому распоряжению. Мерзликин о гостинице не думал. Знал: если я там, значит, устрою и его. Я попросил администратора, чтобы в мою комнату поставили раскладушку и принесли все, что положено, в придачу к ней, в том числе два одеяла.

Мерзликин появился в гостинице часа в четыре дня, зимой в это время в Нижневартовске уже темно. Было видно, что он страшно замерз, но глаза его радостно светились, а с лица не сходила улыбка. Он был счастлив тем, что ему все-таки удалось добраться, и мы встретились. Нам всегда недоставало друг друга. Леня был романтиком, его постоянно влекла к себе красота. Будь то природа, девушки или неординарные человеческие поступки. Я относился к жизни более трезво, и этим самым мы как бы дополняли друг друга.

Мы познакомились с ним в 1964 году, когда он вернулся в Барнаул после окончания Литературного института. В Москве в издательстве «Молодая гвардия» у него вышла книга стихотворений «Купава». Для абсолютного большинства студентов Литинститута это было немислимо. Книги в то время издавались трудно, каждая рукопись проходила через такое сито рецензентов и экспертных оценок, что в конце этого пути уцелевшими оставались лишь немногие. «Купава» не просто прошла, а веселой деревенской ласточкой пролетела через все препятствия. Там же, в Литинституте, Мерзликина приняли в Союз писателей СССР. Для начинающего автора, имеющего на руках всего одну книжку, это тоже было невероятно.

«Купава» слетела с прилавков книжных магазинов в течение нескольких дней. Леня подарил ее мне со своим автографом, но вскоре она тоже исчезла. Кто-то взял почитать и не вернул. Кто, сейчас уж не помню. Зато помню многие стихи из этой книжки. Какой задушевностью, каким теплом, какой радостью жизни веяло в них от каждой строчки!

*Днем погожим бы вынести лёгкие саночки,
Да с горы с улюлюканьем, ёлки зеленые.
Хороши на Алтае девчата-смугляночки,
Предвечерним морозцем слегка обожжённые.*

Уже с первых своих стихотворений Мерзликин умел одним поэтическим мазком создать настроение и нарисовать яркую и живую картинку. Читаешь и не просто представляешь, а зримо видишь и саночки, и снежную горку, и красавиц девчат. Он был щедр на самые искренние чувства, и готов был осыпать ими любого, кто западал ему в душу. Уже с «Купавы» его нельзя было спутать ни с кем другим. У него был свой задушевный язык, свое мироощущение. Некоторые его стихи походили на покаяние.

*Ты один у меня, мой земной уголок,
С крутоярами синими, с тихими плёсами.
В эту осень к тебе я добраться не смог
Ни пешком с батожком, никакими колёсами.
У тебя там давно ежевичник отцвёл,
Одуванчик-растрёпыш осыпался на воду.
Не по мне ли берёзы лопочут у сёл?
Не по мне ли, кудлатые, плачут взаправду?*

Казалось бы, ну что из того, что человек не смог вовремя приехать на свою малую родину? Мало ли какие дела задержали его? Но для Мерзликина малая родина — не просто точка на карте, а неотъемлемая часть духовного мира, то, что делает осознанной жизнь и вдохновляет на творчество. Она ему так же необходима, как и он ей. Друг без друга они — сироты. Отсюда и ощущение вины, и отягощение ее тем, что из-за этого плачут березы.

Это была совершенно новая поэзия, тем более, во времена, когда страна жила великими стройками, и страницы газет и журналов отдавались в первую очередь поэтам-агитаторам. Мерзликин резко выделялся из их ряда, но в бурлящей поэтической реке не только не затерялся со своими стихами, но и сумел найти себе место на общем корабле. Он неосознанно чувствовал, что его призвание — не воспевать грандиозные свершения, а показывать ежедневную жизнь простого народа, в первую очередь деревенского, который постоянно окружал его. Свершения заметны всем, они, конечно, радостны. Но жизнь простого человека — тоже свершение. Отсюда и язык — сочный, народный, иногда с местным говорком, с веселым юмором, который только один и может выразить состояние души.

Для Мерзликина нет жанра, перед которым он мог бы споткнуться или в растерянности замереть. Ему с одинаковой легкостью даются как стихи, наполненные самой задушевной лирикой, так и юмористические, исторические, эпические, философские. Но эта легкость — внешняя, показная, за каждой строкой, даже словом стоит огромная работа, постоянное стремление к самообразованию, достижению совершенства. Уже вскоре после «Купавы» он напишет стихотворение, которое, без всякого преувеличения, подняло его к самым вершинам русской поэзии. Читая его, невольно испытываешь восторг и думаешь: как же он мог сотворить такое?

*Петуший крик. Падучая звезда.
И над ручьём развесистая ива.
И ты греховна тем, что ты счастлива,
А под мосточком катится вода.
Глаза в глаза — и горе не беда,
И грех не грех. Прости её Всевышний.
Она и я. А ты тут третий лишний,
А под мосточком катится вода.
Куда бежит, торопится куда?
А над землёй рассветное брожение,
А в голове приятное кружение,
А под мосточком катится вода.
Уже росу не держит лебеда,
Уже заря таить себя не в силах.
Четыре локтя зябнут на перилах,
А под мосточком катится вода.
Любовь моя, была ли ты когда?
Иль о тебе мне ночь наговорила,
Наворожили шаткие перила?
А под мосточком катится вода.*

Некоторым поэтам и одного стихотворения хватает для того, чтобы надолго остаться в благодарной памяти людей. У Мерзликина они, словно жемчуга, рассыпаны по страницам каждой книжки. Его часто называют лучшим лириком Алтая. Это правда, но с одним добавлением. Мерзликин был лучшим лириком не только Алтая, но и одним из лучших во всей России конца XX века. Кому-то такая оценка может показаться чересчур завышенной, но беда Мерзликина не в его стихах, а в том, что он оказался непрочитанным. Большинство его книг выходило на Алтае. А это уже само по себе делало его поэтом местного значения. Незадолго до смерти, он, уже зная о своей неизлечимой болезни, говорил мне:

— А все-таки я зря не остался в Москве. Россия начинается с нее. Кем бы сегодня был в русской поэзии Рубцов, проживи он всю свою жизнь в Барнауле или Горно-Алтайске?

Но это горькое признание вырвалось у него в минуту, когда от великой, самой читающей в мире страны остались дымящиеся обломки. После окончания Литинститута и возвращения на Алтай он не думал об этом. Ему писалось легко, и стихи у него получались изящными, легкими, захватывающими душу.

У дороги чуть колыхается
Пожелтевшая трава.
Издалёка песня слышится,
Разобрать нельзя слова.
То прихлынет, ахнет благостно,
То замрёт, едва слышна.
Что ты, песня, так нерадостна,
Так томительно грустна?
Подпою тебе вполголоса,
Что про что, не знаю сам.
Паутина тоньше волоса
Измоталась по ветрам.
Я далёк ещё от хворости,
Всё моё в моём краю,
Но, когда поют от горести,
Я, смеясь, не запою.
За рекой зарница пыхнула,
Ходит—бродит листвою.
Песня, песня, ты затихнула,
А я всё живу тобой.

Стихотворение прочитано до последней точки, а все кажется, что оно еще звучит, как эхо. Просто волшебство какое-то. Я думаю, что и других не покидает подобное ощущение. Такова завораживающая сила мерзликинской поэзии. Или вот еще одно стихотворение, если говорить о его лирике:

Далека, недоступна, желанна...
Я придумал тебя и со мной
Облик твой, как обрывок тумана,
Ветерок над поляной лесной.
Я люблю эти грёзы, но часто
Я себя на нелепом ловлю,
По каким-то законам контраста
Эти грёзы я странно люблю.
Тку и тут же по нитке, по нитке
Распускаю и вдруг — пустота.
Где же ты, у какой ты калитки,
Та земная и смертная та?
Может, выдумка — высшее счастье,

*Но сегодня одним я прошит:
Я хочу, чтоб мелькало запястье,
Чтоб я слышал, как платье шуршит.
Я дикарь, я угрюмый отшельник,
Но сегодня хотелось бы мне,
Чтобы руки твои — как ошейник,
Чтобы губы твои — как в огне.*

Русская поэзия, как никакая другая, богата на интимную лирику. И в ее обширном томе у Леонида Мерзликина, вне всякого сомнения, есть своя страница. А его юмористические стихи? Иногда кажется, это вовсе и не стихи, а деревенские сценки, в которых невольно участвует поэт. В них и лукавый смех, и добродушное подтрунивание, и залихватская удаль. Когда из Москвы в Барнаул ему прислали билет члена Союза писателей СССР, он тут же откликнулся на это поэтическими строчками:

*Ах, какое нынче лето!
Дождь и солнце по траве.
Я дожился до поэта,
Узаконили в Москве.
Я копаюсь в огороде,
И на сердце благодать.
Разрешили будто вроде
Мне корову содержать...*

А вот как он рисует самого себя, пришедшего деревенским вечером на свидание к девушке:

*Во! — ботинки.
Рубашка — во!
Весь — ни пылинки.
А? Каково?
Стукну легонько
В твоё окно.
— Кто там?
— Лёнька.
— Мерзликин?
— Но!*

Помню, как впервые он читал мне стихотворение, в котором его герой мечтал побывать в Париже. Мерзликин распрямил плечи, лицо его стало торжественным и он, артистически выбросив вперед руку и чеканя каждое слово, продекламировал:

Я говорил вам: «Силь ву пле»,

Ах, эти иностранки...

После этих слов он вдруг замер, его глаза по-мальчишечьи заблестели, губы растянулись в хитровой улыбке, и он спросил:

— А что такое «Силь ву пле»?

— Это я должен спросить у тебя, — сказал я.

— Ха—ха, ха, ха, — рассмеялся Мерзликин и начал читать дальше:

*А дождь прошёл навеселе,
Как инвалид по пьянке.
Прокондылял по мостовой
И скрылся за домами.
Я от Парижа сам не свой
Тем паче, что я с вами...*

Его юмористические стихи требуют отдельного исследования. В них все мерзликинское — и язык, и поэтические образы, и приемы.

Совершенно особая тема мерзликинского творчества — образ Родины. Для многих нынешних писателей это не только немодная, а просто неприличная тема. Но для Мерзликина, выросшего в крестьянской избе, с молоком матери впитавшего и необычайно образный русский язык, и русскую народную культуру, никакой другой жизни, помимо этого мира, просто нет. И свое отношение к родине он выражает не пафосно и высокопарно, как это делают некоторые поэты, сочиняя стихи к юбилеям и праздникам, а через картины природы, мироощущение героев, экскурсии в историю, размышления по поводу прошедших и предстоящих событий. Чувство родины в нем глубоко и органично, оно проходит буквально через каждое стихотворение.

*Запрягаю коня Махмудку,
Выезжаю на край села.
Рожь густая попёрла в дудку,
А местами колос дала.*

*Три разлтых сосны миную,
Рожь колышется там и тут.
Наконец-то её, родную,
Снова сеют и снова жнут...*

Это о той родине, на которой родился, вырос и без которой не представляет своего существования Мерзликин. Кто-то бы проехал мимо этой ржи и сосен, не заметив их, а для Мерзликина они радостный символ неугасающей деревенской жизни.

Особо хочется сказать о его поэмах. И не потому, что это трудный жанр и не каждому он дается. Поэма требует глубоких размышлений, обобщений, особых красок. Всего этого у Мерзликина с избытком, не зря он написал более пятнадцати поэм. Уже в первом его сборнике была напечатана замечательная поэма «Купава», которая и дала название книжке. Она о том, что человек не может без любви, что он должен найти ту единственную, которая и сделает жизнь счастливой. Поэма вся соткана из лирических строк, но в ней сочно и ярко показана народная жизнь с ее повседневным бытом, былинами и суевериями, с радостями и печалью. Уже в «Купаве» Мерзликин показал себя незаурядным мастером эпического жанра.

Вернувшись на Алтай, он вскоре пишет поэму «Три месяца». В ней и горькая ирония, и залихватская удаля, но главное — глубокие философские размышления о смысле человеческой жизни, о судьбе художника.

*У поэта — судьба.
Может, старую тему
Повторяю, но я
Убеждаюсь опять:
Сто учёных одну
Разрешают дилемму,
Ста поэтам
Поэму одну не писать.
И пчелиная суть
Для поэта смертельна.
И в семье, и на людях
Поэт одинок.
Отчего мне так зябко?
Зачем так метельно?
Это, видимо, время
Дыхнуло в висок.*



В поэме «Три месяца» Мерзликину удалось самыми душевными словами рассказать о драме человеческой жизни. Она вышла исповедальной, как и все его творчество, и еще раз показала величину его поэтического дара. Мы, сверстники, сразу признали его за первого среди нас.

В последней, к сожалению, незаконченной поэме «Млечный Путь» Мерзликин предстал перед нами как мастер стихосложения, для которого в поэзии нет ничего невозможного. С точки зрения формы она — образец совершенства.

Увлечение поэзией в годы его молодости было сумасшедшим. Поэтов приглашали в школы, дома культуры, городские парки. На вечера поэзии в Алтайском политехническом институте собиралось столько людей, что их не мог вместить огромный актовый зал. Там выступали не только алтайские поэты. В Барнаул постоянно приезжали и новосибирцы, и москвичи, и ленинградцы, и многие другие. И среди них Мерзликин всегда был если и не первым, то в числе самых первых. Он был любим публикой, и чувствовал это. Поэтому и восклицал, немного брагулируя перед друзьями:

*Я стихи продаю, я стихи продаю,
А красивым девчатам за так отдаю.
Красота ваша — раз! Ваша молодость — два!
Апельсиновой коркою пахнут слова.
И во рту холодяют, и горчат на душе...*

Но возвратившись из Москвы на Алтай, в Барнауле он пробыл недолго. Надо было обустроить жизнь, а у него не было ни квартиры, ни работы. И Мерзликин, не долго думая, уехал в село Рыбное Каменского района, где ему предложили должность редактора многотиражки в местном совхозе и сразу же выделили трехкомнатную квартиру.

У меня не осталось писем того времени, которые он присылал мне. Но мои письма к нему сохранились в его архиве. Мерзликин просил меня договориться о его выступлении на краевом телевидении. Я договорился, о чем и написал ему в письме. Такое выступление состоялось во второй половине февраля 1965 года.

А за месяц до этого в Барнауле прошел семинар молодых писателей, который продолжался три дня. Поэтической секци-

ей руководил известный новосибирский поэт Леонид Решетников. Человек суховатый, если не сказать больше, строгий и, по мнению многих, не имеющий абсолютно никакого понятия о том, что такое эмоции. Мерзликина на семинаре не было, но в руки Решетникова каким-то образом попала его книжка «Купава». Мы все думали, что кто-то специально подсунул эту книжку ему. В Новосибирске задумали издать большую книгу «День поэзии Сибири». Готовил ее Решетников. И больше всего времени на семинаре он посвятил Мерзликину. Наставляя нас, он говорил, что «Купава» не случайно вышла в Москве. В таком объеме и в таком виде в Барнауле она не могла появиться. Здесь бы ее подстригли под бобрик, но чтобы стихи в ней не торчали дыбком, ее бы еще и пригладили. Решетников давал нам понять, на кого мы должны равняться в своем творчестве.

Сейчас много говорят о советской цензуре и ее жестокости. За всю свою жизнь мне ни разу не довелось столкнуться с ней. Но вот с иезуитской казуистикой редакторов приходилось сталкиваться постоянно. Цензура следила за тем, чтобы не выдавались государственные секреты, не звучали призывы к насильственному свержению власти. А редакторы больше всего беспокоились о том, чтобы власть предрержащие, не дай бог, не сделали какие-нибудь замечания в их адрес. И чем меньший статус имело издательство и его редакторы, тем больше они заботились о своей идейной чистоте и преданности пропагандируемым идеалам. По этому поводу известный алтайский писатель Лазарь Кокышев ядовито заметил: «Если в Москве стригут ногти, то у нас режут пальцы».

Эта участь не обошла и Мерзликина. Многие его стихи в тех сборниках, которые выходили на Алтае, нередко оказывались урезанными, его заставляли переделывать какие-то строчки, отчего стихи получались тусклыми. Читатель этого не замечал, но мы-то знали эти стихи, что называется, из первых уст, и видели, во что они превращались после редакторской правки. При этом все редакторы относились к Мерзликину хорошо, но говорили, многозначительно поднимая палец кверху: «Ты лучше переделай это сейчас. Там все равно заставят». Кто заставит и почему, никогда не объяснялось. Но было совершенно ясно: если не переделаешь, стихотворение из сборника снимут. Так вместо названия «На Ваганьковском кладбище» стихотворение стало называться «На Венском кладбище», а в конечном вари-



анте просто «На кладбище», у многих стихотворений были переделаны концовки. Решетников правильно говорил и о стрижке под бобр, и о приглаживании. Но вот что удивительно.

Сядясь за письменный стол, Мерзликин никогда не думал о том, будет его стихотворение напечатано или нет. Он всегда писал так, как оно ложилось на душу. В связи с этим одна журналистка, трепетно относившаяся к его поэзии, постоянно упрекала Мерзликина в том, что он живет не по разуму, а по эмоциям. И при этом ставила ему в пример Маяковского. Как будто не знала знаменитого стихотворения своего кумира «На смерть Есенина», в котором он безапелляционно заявлял: «Лучше уж от водки умереть, чем от скуки». Мерзликин, слава богу, никогда не внимал ее наставлениям. И оказался прав. В конце концов, все его стихи были опубликованы такими, какими он их написал. И случилось это еще при советской власти. Все дело было в том, что к руководству издательством пришли другой директор и другие редакторы.

Время жестоко. Оно неумолимо расставляет всех по своим местам. Читая многих, еще совсем недавно гремевших поэтов, удивляешься: как могли так восторженно воспринимать их стихи, как могли надевать им на головы лавровые венки? Ведь вся их поэзия не более, чем словесная шелуха. Кончилось время, в которое они жили, и никого из них не стало. Кто-то лег в сырую землю, а кто-то продолжает лишь физическое существование. И наоборот, те, кого пытались задвинуть в их тень, и оказались настоящими поэтами. Так случилось с Николаем Рубцовым, другом и сокурсником Леонида Мерзликина по Литературному институту, так происходит и с самим Мерзликиным. Но в те далекие семидесятые наряду со славой ему полной мерой пришлось хватить и хулы. Мерзликину катастрофически не везло в житейских ситуациях.

Однажды вечером мы проходили с ним мимо одного дома в центре Барнаула. Во дворе дома стояла группа девчат, о чем-то громко разговаривающих.

— А хотите, я прочитаю вам стихи? — сказал Мерзликин, проходя мимо.

— Так уж и читаешь? — повернувшись к нему, с вызовом бросила одна, по всему виду, самая острая на язычок.

Мерзликину зачем-то сразу же потребовалась сцена. Он подошел к наружной лестнице, которая вела на крышу дома,

подпрыгнул, ухватился за нижний пруток, подтянулся и в мгновение ока уже стоял на нем. Держась одной рукой за лестницу и подавшись всем телом вперед, он начал читать стихи. Девчонки с удивлением и восторгом слушали его. Минут через десять под лестницей собралась целая толпа. Импровизированное выступление длилось почти час. Наконец, Мерзликин устал. Это поняли и девчата. Надо было слезать с лестницы. И тут какой-то мужик крикнул ему:

— А ты прыгай.

Не было бы девчат, Мерзликин не послушался бы его. Но ему захотелось показать себя перед ними орлом. Он прыгнул, но встать уже не смог. Хорошо, что это случилось рядом с железнодорожной больницей. Я поднял его, он повис на мне всем телом, и мы кое-как добрались до нее. Его сразу же направили на рентген и установили, что он сломал ногу. Но по городу разнесся слух, что Мерзликин был пьяный и поэтому полез на лестницу. Слух дошел до крайкома партии. Там никак не отреагировали на это, но поэт попал на заметку.

В другой раз он пришел в Союз писателей, держа в руках сетку с поллитровой банкой сметаны. Кто-то спросил в шутку:

— Леня, а сметану-то ты зачем с собой носишь?

— Да вот, вчера жена послала в магазин, — ответил Мерзликин.

И эта история тоже дошла до крайкома. По всей видимости, среди писателей или тех, кто крутился возле них, были люди, пытавшиеся выслужиться перед властью с помощью доносов. Во власти тоже были разные люди. Одни над этим смеялись, другие каждый донос складывали в специальную папочку. И когда их накопилась целая стопка, они выстрелили. Тем более что из издательства тоже шла информация о том, что не все стихи Мерзликина отличаются высокой идейностью. Особенно так называемые юмористические. Ну, какую же идейность можно увидеть в этих строчках:

*Сказка не сказка, быль не быль,
Калека калеке подарил костыль.
Пришёл горбун, в кулаке ноздря:
— Здря без меня вы, товарищи, здря.
И он самогонку и сала кус
Внес, как членский взнос в профсоюз...*

Не знаю, была ли дана официальная команда не печатать его, или поэта хотели немного приструнить, но вначале семидесятых он почувствовал заметное охлаждение к себе как со стороны властей, так и со стороны издательства. Меня в это время в Барнауле не было. В 1968 году я уехал на север Томской области, где четыре года проработал собкором областной газеты «Красное знамя». Именно в это время там начали возводить город нефтяников Стрежевой. От меня и услышал о нем Леня Мерзликин. В 1974 году он перебрался в Стрежевой, устроившись, как тогда говорили, «подснежником» в одну из строительных организаций. Ему дали комнату в общежитии, платили зарплату, но на работу он не ходил. Писал стихи. Были в те времена добрые руководители, понимающие, что человек, имеющий литературный талант, ничего другого делать не может. И они, нарушая трудовое законодательство, как могли, покровительствовали таким людям.

Но Север не вдохновлял Мерзликина. Это была не его земля. Прожив там почти два года, он написал о Севере всего несколько стихотворений. Прилетев ко мне в Нижневартовск в январе 1975 года, он говорил именно об этом. Мы проговорили почти всю ночь. Вспоминали Барнаул, наших общих друзей, шумные поэтические вечера.

— Стихи-то пишешь? — спросил меня Леня.

Я ответил, что уже давно не пишу. С тех пор, как понял, что второго Мерзликина из меня не получится, а быть поэтом меньшего калибра я не хочу. Он грустно улыбнулся и сказал:

— А что дает человеку поэзия? Я, наоборот, завидую тебе. В такую газету попал. — И он вдруг неожиданно спросил: — Скажи, а как можно устроиться собкором центральной газеты? Я бы с удовольствием пошел сейчас в корреспонденты.

У Мерзликина всегда было детское восприятие жизни. Оно осталось с ним до конца дней. Я думаю, оно является неотъемлемой частью любого большого таланта. Дети видят многое лучше и ярче взрослых, у них непосредственное, незамутненное никакими привходящими обстоятельствами восприятие жизни, они постоянно открывают для себя мир. Мне сразу вспомнилась произошедшая с Леонидом история, когда он был редактором совхозной многотиражки.

Мерзликин в стихотворной форме критиковал в ней всех и вся, не глядя на чины. И сколько ни пытались приструнить его

директор совхоза и секретарь парткома, ничего не выходило. И тогда Леню вызвали на бюро райкома партии. Там против него поднялись почти все члены бюро. По всему было видно, что в поэтических персонажах многие увидели самих себя. Предложение большинства было категоричным: исключить Леонида Мерзликина из членов КПСС. Правда, один наиболее жалостливый член бюро робко предложил для начала объявить строгий выговор. Его никто не послушал. Мерзликин молчал, выражая полное равнодушие к тому, что говорили. Не выдержав, первый секретарь райкома возмущенно бросил:

— Ну а ты-то чего молчишь? Ведь решается твоя судьба!

— А чего мне говорить? — пожал плечами Мерзликин. — Я же не член партии.

— Как не член? — удивился секретарь. — Каким же тогда образом ты смог стать редактором газеты?

— Мне предложили, я согласился, — ответил Мерзликин.

Секретарь растерянно обвел глазами членов бюро и сказал:

— Ладно, иди. Мы тут разберемся без тебя.

Мерзликина сняли с редакторов, и он перебрался в Барнаул. Писательская организация выхлопотала ему квартиру... И вот теперь он спрашивал меня, как ему попасть в соборы центральной газеты? Я не знал, что ответить, поэтому сказал:

— Для начала попробуй написать несколько материалов. Репортажей, очерков, проблемных статей. Можешь послать их прямо в редакцию, а можешь прислать мне. Я их посмотрю, а потом отправлю.

— Не знаю, я подумаю, — неопределенно ответил Мерзликин.

Мы долго лежали молча, думая каждый о своем. Я не знал, как помочь ему, он не видел выхода из создавшегося положения. В гостиничном номере было холодно, когда мы говорили, изо рта вылетали клубочки пара. Повернувшись ко мне на скрипучей раскладушке и высунув из-под одеяла нос, Мерзликин спросил:

— А хочешь, прочитаю стихи?

— Прочитай, — сказал я.

Он сел на раскладушке, обмотался обоими одеялами так, что из них торчала одна его голова, и начал читать:

*У меня в январе зацветает стена.
И к цветущей стене примерзает спина.
И опущены веки. И пар из ноздрей.
И метель трое суток поёт у дверей.
Я сосульками-пальцами чуть шевелю,
Шевелю, будто струны какие ловлю.
Я ловлю эти струны и тихо пою:
«Заходи, белокрылая, в избу мою.
Заходи, потанцуем с тобой по избе,
И нарву я цветов, подарю их тебе.
А цветы на стене, как на горном лугу.
Я б открыл тебе двери, да встать не могу...»*

— Ты это сейчас написал? — спросил я.

— Да нет, давно уже, — ответил Мерзликин.

Если бы не лютый холод, я бы встал с постели и обнял его.

А так только тихо произнес:

— Великолепные стихи.

Он помолчал немного, потом сказал:

— Давай спать. — И протянул руку к выключателю.

На следующий день Леня Мерзликин улетел в Стрежевой. Ни репортажей, ни статей он мне не прислал. Впрочем, я и не ожидал их от него. Не его это было дело. Господь наградил его другим талантом.

Следующая наша встреча состоялась в конце 1990 года, когда я, завершив свои путешествия корреспондента по городам и странам, возвратился в Барнаул. Мерзликина снова издавали, он при первой же встрече подарил мне несколько последних сборников, но радости в его глазах не было. В воздухе уже висело ощущение надвигающейся катастрофы, и он остро чувствовал ее.

После крушения Советского Союза государственной политики в области литературы не стало. Издательства умерли, вместо них появились многочисленные частные типографии. Писателям перестали платить за их труд. Чем только ни пробовал заниматься в эти лихие девяностые Леонид Мерзликин. Сочинял для коммерческих фирм рифмованную рекламу, выступал на разных шутовских мероприятиях, пестовал картошку и овощи на своем дачном участке, где у него не было даже сарайчика, в котором он мог бы укрыться от дождя. Крестьян-

ская жилка его характера диктовала ему линию поведения в условиях лихолетья. В ограде Дома писателей он выкопал погреб, куда заложил весь выращенный за лето урожай. Но недели черед две его ограбили. Из погреба вынесли все, на что он надеялся прожить целую зиму. Не дай бог еще кому-нибудь пережить такое!

Мне в это время удалось устроиться в одну небольшую фирму, где я получал какую-то зарплату. Мерзликин пришел ко мне почерневший, с трясущимися руками. Рассказав о краже, он не спросил, а обреченно произнес:

— Как же жить дальше?

Я пошел к руководству фирмы, рассказал о беде и объяснил, кто такой Мерзликин. Руководство решило помочь, с Леной составили фиктивный договор на выполненную работу и выдали ему пятьдесят тысяч рублей. Леня долго стоял с помятыми купюрами в руках и не мог поверить своему счастью. На эти деньги в то время можно было если и не прожить, то хотя бы не умереть с голоду месяца два. Что будет через два месяца ни он, ни я, ни большинство жителей страны в то время не знали.

Врачи говорят, что все болезни человека возникают от нервов. У писателя они особо чувствительны. Лихие девяностые, словно с пулеметом, прошли по писательской организации Алтая. Почти все, кто был ее отцами-основателями, не выдержали их и один за другим ушли из жизни. Не удалось пережить лихолетье и Леониду Мерзликину. В одной из подаренных им книг я прочитал горестные строчки:

И стою, как будто бы нездешний,
До кровинки здешний человек.
Улетели птицы из скворешни.
Скоро ночь. А ночью будет снег...

Перед самой смертью он попросил похоронить его не в Барнауле, а на деревенском кладбище в Белоярске рядом с могилами матери и отца. Мы выполнили эту просьбу поэта.



В ЕГО СТИХАХ ЗВУЧАЛА МУЗЫКА (Николай Рубцов)

Чем дальше отодвигает время события того короткого лета, тем больше саднит в душе боль невысказанного и недоговоренного. Она усиливается от горького сознания, что счастливые минуты общения не могут повториться и поэтому продолжить незаконченный разговор уже не удастся никогда. Но тем отчетливее прорезаются в памяти те, как мне казалось тогда, обычные события.

1966 год для всей литературной Сибири был особенным. В середине мая в Кемерове прошло Всесоюзное совещание молодых писателей. Его руководителем был председатель Союза писателей России Леонид Сергеевич Соболев — элегантный человек с аристократической внешностью, безукоризненными манерами и высочайшим авторитетом в писательской среде. Вместе с ним на совещание прилетели Ярослав Смеляков, Василий Федоров, Сергей Антонов, Михаил Львов и многие другие не менее известные писатели. Одно перечисление этих имен в то время вызывало трепет в душе. А когда на заключительном заседании в областном театре драмы Ярослав Смеляков вышел на сцену и глуховатым голосом начал читать свое знаменитое стихотворение «Если я заболелю, к врачам обращаться не стану...», у многих в зале по телу побежали мурашки. Это стихотворение уже давно жило отдельно от самого Смелякова, его переложили на музыку, оно было своеобразным гимном поколения, и никто никогда не спрашивал об имени его автора.

Мне посчастливилось быть участником того совещания, в Барнаул я вернулся с него перегруженный впечатлениями. Рукопись стихов, которую я привез в Кемерово для обсуждения, изрядно поругали, но рекомендовали к изданию.

Не помню точную дату, но вскоре после совещания, я случайно встретил на центральной улице Барнаула своего приятеля, стихами которого в то время зачитывался весь Алтай, Леонида Мерззликина. Он шел с каким-то худым парнем, на котором, словно на вешалке, болтался длинный коричневый пиджак и серый шарф, несколько раз обмотанный вокруг тонкой шеи. С Мерззликиным мы не виделись несколько недель, он кинулся ко мне, чтобы обняться, потом, кивнув на своего приятеля, сказал:

— Знакомься, Коля Рубцов.

Широкой публике стихи Рубцова были тогда мало известны, но в поэтических кругах о нем ходили легенды. Его строчки: «Стукну по карману — не звенит. /Стукну по другому — не слышать. /В коммунизм, в безоблачный зенит /Полетели мысли отдохнуть» передавались из уст в уста. Впервые мы услышали их от Мерзликина. Читал он и его знаменитое заявление ректору, когда Рубцова пытались исключить из Литинститута: «Быть может, я для вас в гробу мерцаю, /Но должен заявить, в конце концов: /Я, Николай Михайлович Рубцов, /Возможность трезвой жизни отрицаю». Рубцов казался нам легендой, бросившей дерзкий вызов всему, что мешало жить и развиваться русской поэзии. Представившись и пожав руку, я внимательно смотрел на него.

Рубцов был среднего роста, болезненно худым, с узким лицом и глубоко спрятанными карими глазами. У него был высокий лоб и редкие каштановые, почти под цвет пиджака, волосы, зачесанные на бок. Оказалось, что он уже несколько дней жил в Барнауле, куда ему посоветовал приехать другой барнаульский поэт — Василий Нечунаев, с которым они вместе учились в Литературном институте, правда, на разных курсах. Рубцов обрадовался возможности побывать на Алтае, потому что он мог увидеться здесь с Мерзликиным, которого считал своим другом. Они вместе поступали в Литинститут, но Мерзликин уже окончил его, а Николай все мыкался в студентах, переходя с очного обучения на заочное. Ночевал Рубцов у старшей сестры Нечунаева Матрены Марковны, жившей с двумя детьми, но имевшей крохотную свободную комнатку.

Мы оказались недалеко от мастерской художника Николая Иванова, писавшего великолепные сюжетные полотна о жизни Горного Алтая. К нему в любое время мог прийти кто угодно, а уж поэты — тем более. Над городом висели лохматые серые тучи, обещавшие вот-вот разразиться дождем, и мы, не долго думая, направились к живописцу. По дороге, конечно же, купили водки.

Николай Иванов был крупным человеком с большими руками тракториста или лесоруба и громогласным басом. Увидев водку, он воскликнул шаляпинским голосом:

— О! А у меня есть редиска и непревзойденные соленые огурчики.

Тут же организовал стол, разлил водку и после того, как мы выпили по первой стопке, пробасил, уставившись на Рубцова:

— Ну, читай! Своих-то я слышал уже не раз.

Рубцов сидел с краю стола, тихий, ушедший в себя и, казалось, не замечал того, что было вокруг. Он вообще походил на человека не из мира сего. Эта картина до сих пор стоит у меня перед глазами и могу сказать, что за всю свою жизнь я не встречал ни одного человека, на лице которого была бы запечатлена такая отрешенность. По всей видимости, его одолевали тяжелые думы, но он никогда не рассказывал о них другим людям. Как я узнал намного позже, ему не с кем было поделиться ни радостью, ни горем, он все переносил в себе, а это в несколько раз тяжелее. Рубцов долго молчал, опустив голову, затем поднял руку, неторопливо размотал шарф, оставив его на плечах, чуть качнулся и начал негромко читать, словно продолжая свои потаенные раздумья:

*Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи...
Мать моя здесь похоронена
В светлые годы свои.
— Где же погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу.
Тихо ответили жители:
Это на том берегу.
Тихо ответили жители,
Тихо проехал обоз.
Купол церковной обители
Яркой травой зарос.
Там, где я плавал за рыбами,
Сено гребут в сеновал.
Между речными изгибами
Вырыли люди канал.
Тина теперь и болотина
Там, где купаться любил...
Тихая моя родина,
Я ничего не забыл.
Новый забор перед школою,
Тот же зеленый простор.
Словно ворона весёлая,
Сяду опять на забор!
Школа моя деревянная!*

*Время придёт уезжать —
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.
С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.*

Мне показалось, что Иванов перестал дышать. Некоторое время он, застыв, смотрел на Рубцова, словно пытался запечатлеть его портрет, чтобы потом перенести на свое полотно, потом, моргнув, спросил:

— А еще что-нибудь можешь прочитать?

Стихотворение потрясло его. Я много раз потом встречал это стихотворение в различных сборниках, и во всех них последняя строка первого четверостишья выглядела по-другому. Вместо: «В светлые годы свои» там стояло «В детские годы мои». Но могу спорить на что угодно, что в тот день я услышал это стихотворение так, как привел его здесь. А Иванов все смотрел на Рубцова, словно не веря, что сидящий перед ним худой парень в большом, не по размеру, пиджаке и сером, уже довольно поношенном шарфе смог написать такие стихи. Но Рубцов, снова качнувшись и уронив на колени сцепленные в ладонях руки, продолжил:

*Звезда полей во мгле заледенелой,
Остановившись, смотрит в полынью.
Уж на часах двенадцать прозвенело,
И сон окутал родину мою.
Звезда полей! В минуты потрясений
Я вспоминал, как тихо за холмом
Она горит над золотом осенним,
Она горит над зимним серебром.
Звезда полей горит, не угасая
Для всех тревожных жителей земли,
Своим лучом приветливым касаясь
Всех городов, поднявшихся вдали.
Но только здесь, во мгле заледенелой,
Она восходит ярче и полней.
И счастлив я, пока на свете белом
Горит, горит звезда моих полей.*

Иванов молча налил водки в рюмки и, чокнувшись с Рубцовым, сказал:

— За тебя!

Коля растаял. Он словно сбросил давящую на него тяжесть и начал говорить о том, что в журнале «Юность» скоро должна появиться большая подборка его стихов, и он, уезжая на Алтай, просил, чтобы гонорар за нее ему перевели сюда. Он сообщал это таким тоном, словно должен был получить целое состояние. Я только потом понял, что даже гонорар за подборку стихов для него действительно был равен состоянию.

— А еще, — просветлев лицом, сказал Коля, — в следующем году в «Советском писателе» обещают издать мою книжку. Я ее так и назвал: «Звезда полей». Хотите, почитаю из нее? — неуверенно спросил Рубцов и обвел нас детским, беззащитным взглядом.

— А для чего мы здесь сидим? — пробасил Иванов. — Читай, конечно.

Сейчас уже не помню всех стихов, которые читал в тот вечер Николай Рубцов. Но одно из них врезалось в память до конца жизни. Когда он начал читать «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны / неведомый сын удивительных вольных племен», мы словно оцепенели. В Кемерове мне довелось слышать много великолепных стихотворений, но то, что читал Рубцов, было особенным. Его стихи шли из самой души, они были глубоко личными и в то же время всеобъемлющими по своим чувствам. Каждое слово в них было выстрадано, выверено по мысли, ложилось в строку, словно венец к венцу при строительстве крепкого крестьянского дома. В его стихах звучала музыка, которую, смеясь и плача, играла вся Россия.

Мы засиделись у Иванова до позднего вечера, выпили всю водку, которую Рубцов почему-то называл вином, а когда ушли, художник обнял нас своими огромными ручищами всех троих сразу.

— Завтра уезжаю в Горный Алтай, — сказал, прощаясь с ним, Коля, и мне показалось, что если бы не уже назначенный отъезд, он с удовольствием остался и в этой мастерской, и в нашей компании еще на долгое время. Ему, как никому другому, остро не хватало человеческого тепла, и любое дружеское общение, любое внимание к себе он воспринимал с особым, обостренным чувством. Он был бесконечно одинок, и это сразу

бросалось в глаза.

Дождь так и не начался, тучи сползли за город, центральная улица Барнаула была залита огнями загоревшихся фонарей. Навстречу нам попала стайка девчат, которые, непрерывно щебеча, то и дело над чем-то смеялись. Мы окликнули их, но они, стрельнув по нам озорными глазами, прошли мимо.

— Хорошо у вас, — удовлетворенно вздохнул Коля. Помолчал немного и добавил: — Может, и в Горном будет не хуже.

Вместе с Мерзликиным они проводили меня до моего дома, а на следующий день Рубцов уехал в село Красногорское, расположенное в предгорьях Алтая. В красногорской районной газете ответственным секретарем работал друг Мерзликина Геннадий Володин, тоже, кстати сказать, поэт. У него и остановился Рубцов.

Само село не очень привлекательное, но окрестности его удивительно красивые, недалеко от райцентра протекает река Бия, берущая начало из Телецкого озера. Ее берега обрамляет темно-хвойная тайга, а вода в реке настолько прозрачная, что даже на двухметровой глубине видны лежащие на дне камни. Короче говоря, настоящая сибирская глубинка. Там и провел почти все лето Николай Рубцов. В Барнаул он вернулся в начале августа. Был он в том же пиджаке, в котором я увидел его в мае, но без шарфа. Лицо его потемнело от загара, и весь он выглядел окрепшим и посвежевшим. На этот раз Рубцова сопровождал его сокурсник по Литинституту Василий Нечунаев. Рубцов обрадовался мне, как старому знакомому.

Мы сели на скамейку в сквере на центральной улице Барнаула. Я спросил Рубцова понравилось ли ему на Алтае, удалось ли поработать в эти летние месяцы?

— Кое-что написал, — как-то вяло, без особого энтузиазма ответил Рубцов.

И я понял, что он или не очень доволен тем, что ему удалось сделать за это время, или у него просто нет настроения. А когда я попросил его что-нибудь почитать, он отмахнулся:

— Ну что мы будем сидеть на скамейке и читать друг другу стихи?

Рубцов не хотел уезжать в Москву, на Алтае он провел еще месяц. Его очень тепло встречали здесь. Он общался со многими нашими писателями, художниками, актерами. Точно так же тепло относились к нему и в Горно-Алтайске, куда он за время

своего пребывания у нас ездил дважды. Уже после смерти Рубцова я услышал о том, что, напившись, он часто бывал просто нетерпим. Может быть, его доводили до этого? В Барнауле мне не раз приходилось видеть его крепко выпившим, наши поэты, общавшиеся с ним, пили ничуть не меньше, но единственное, что он делал, подвыпив, — брал в руки гитару и начинал не читать, а напевать речитативом свои стихи. И очень жалел, что ни у кого из нас не было гармошки.

В середине сентября, вернувшись из Горного Алтая, он сразу пришел ко мне и спросил:

— Скажи, Слава, я не могу получить гонорар за стихи, которые ты отдавал в «Алтайскую правду»? Собираюсь ехать в Москву, а денег на дорогу нет.

Рубцов был очень стеснительным человеком. Находясь несколько месяцев на Алтае и остро нуждаясь в деньгах, он так и не смог нагнуться прийти в краевую газету и предложить свои стихи. Во время нашей встречи в августе я попросил его дать мне несколько стихотворений и сказал, что сам предложу их нашему литературному отделу. А те, что не возьмут, передам в газету «Молодежь Алтая», которая находится на одном этаже с «Алтайской правдой» и в которой у меня много друзей. Стихи напечатали в обеих газетах. Но время выдачи гонорара еще не пришло, а деньги Рубцову нужны были немедленно. Я пообещал завтра же выяснить все и сообщить об этом. Просить за Рубцова пришлось у редактора, всегда сочувственно относившегося к молодым писателям и журналистам, поэтому он сразу же распорядился выдать причитающийся поэту гонорар. На него и купил Николай билет до Москвы.

Провожать Рубцова на вокзал пришли мы с Мерзликиным. На прощание, конечно, выпили. Коля помахал нам с подножки тронувшегося вагона рукой, и мы простились. А на следующий день жена, возвращаясь с работы и открыв дверь, смущенно сказала:

— Впереди меня по лестнице поднимался какой-то парень. Он прошел на верхний этаж. Мне показалось, что это Рубцов.

Я засмеялся, сказав:

— Откуда ему взяться? Мы вчера проводили его с Мерзликиным. Он сейчас уже в Омске или еще дальше.

И в это время в дверь робко постучали. Жена растерянно посмотрела на меня, я открыл дверь и обомлел. На пороге сто-

ял Рубцов. Он смотрел таким виноватым взглядом, что я, не дав ему ни одного вопроса, сказал:

— Проходи.

Оказалось, что Рубцов смог доехать только до Новоалтайска — первой станции, находящейся в двадцати минутах езды от Барнаула. Устроившись на своем месте в вагоне, ему захотелось пива. Когда поезд остановился, он вышел из вагона, прошел в станционный буфет и взял кружку. Пока он пил пиво, поезд ушел. Как он добирался до Барнаула, где был почти сутки, я не спрашивал. Виноватый, по-детски беззащитный взгляд Коли выдавал его непередаваемую растерянность.

— Иди, умойся, — сказал я ему, кивнув на дверь ванной.

Пока он умывался, жена накрыла на стол.

— Ты понимаешь, прослушал объявление о том, что поезд отправляется из Новоалтайска, — попытался оправдаться Коля, садясь за стол. — Если бы знал, что так будет, никогда бы не стал пить это пиво. Кстати, оно было совсем невкусное.

Мы с женой не стали спрашивать о том, что с ним было дальше, все было ясно и без этого. Я стал лихорадочно соображать, где взять деньги на новый билет Рубцову. Ведь пришел он ко мне именно за этим. Но ничего путного в голову не приходило. Поэтому перестал мучиться сомнениями, а после того, как поужинали, попросил его почитать стихи. Настроение Рубцова улучшилось, он почувствовал себя снова среди друзей, и долго уговаривать его не пришлось. Поэзия была его жизнью, она единственная ни разу не изменила ему, отвечая и верностью, и бесконечной любовью. Он знал ей цену лучше многих других.

Он читал много, как будто знал, что больше уже никогда не вернется на Алтай. На следующий день я вывернул все свои карманы и кое-как наскреб двадцать пять рублей. За пятнадцать из них мы с Колей купили ему билет в общий вагон, десять осталось на дорогу. Как он прожил на них, я не знаю, ведь до Москвы было три дня пути.

— Как только приеду домой, сразу же вышлю тебе мой долг, — крикнул с подножки вагона Рубцов.

Поезд уже набирал ход, я помахал ему рукой, он ответил мне тем же. Больше мы с ним не встретились.

...Три года назад на Шукшинские чтения, ежегодно проходящие на Алтае, приехала большая делегация кемеровских поэтов во главе с моим давним знакомым и другом Борисом



Бурмистровым. После выступления в библиотеке родного села Василия Макаровича Шукшина у нас осталось полдня свободного времени, и я предложил поэтам съездить в те места, где провел все лето 1966 года Николай Рубцов. Они, конечно же, с радостью согласились...

Мы побывали в селе Красногорском, постояли около двухэтажного дома из красного кирпича, на первом этаже которого жил Рубцов. Нам даже показали окно его бывшей комнаты. Потом съездили к реке Би, посидели на берегу, где он когда-то таскал на удочку пескарей, повспоминали его стихи. Я смотрел на бегущую у наших ног прозрачную воду, слушал ее недовольное бурчание, когда она натыкалась на камни, и вспоминал прощальный взгляд Рубцова, стоящего на подножке уходящего поезда. Он, наверное, знал, что уезжает от нас навсегда. В тот последний вечер он прочитал нам с женой свое стихотворение «Журавли». Столько лет прошло, а когда по радио или с телеэкрана зазвучит его первая строчка: «Меж болотных стволов красовался восток огнеликий...» у жены сразу влажнеют глаза, а мне начинает казаться, что Рубцов до сих пор машет рукой с подножки вагона.

А МНЕ ПОВТОРЕНЬЯ НЕ БУДЕТ (Владимир Башунов)

В минуту откровения мудрый и много повидавший на своем веку Виктор Петрович Астафьев с пронзительной горечью произнес:

— У нас, в России, поэтов признают только после их смерти.

Эту горечь ему, по всей видимости, навеяла судьба Николая Рубцова, которого он близко знал, живя в Вологде.

Талантов всегда не хватает, многие из них увядают, так и не успев расцвести, а тем, что расцветают, приходится продирааться сквозь такие мучительные заслоны зависти, равнодушия, мстительного злорадства и яркой ненависти бездарностей, что когда они достигают признания, сил для творчества уже не остается. Какие потери несет от этого Россия, никто не подсчитал, да если бы и взялся подсчитать, вряд ли это удалось бы сделать. Попробуйте оценить то, что могли дать миру Пушкин, Лермонтов, Есенин, тот же Рубцов, проживи каждый из них хотя бы на двадцать-тридцать лет дольше. Какие духовные сокровища могли оставить они нам, насколько богаче стали бы наша культура и мы с вами.

Не хочу ставить в один ряд с Пушкиным или Есениным Владимира Башунова, это было бы просто некорректно, да и жизнь он прожил совсем другую, но то, что он был большим русским поэтом, не вызывает сомнений.

Настоящая поэзия — всегда открытие. Поэт вряд ли объяснит, почему вдруг ему в голову пришли строчки, читая которые у людей замирает душа, но у меня всегда возникает ощущение, что перед тем как написать их, надо пообщаться с Богом. Такое ощущение возникло, когда я услышал последние стихи Владимира Башунова. Он их читал учителям русского языка и литературы, собравшимся на одно из педагогических совещаний в Барнауле.

Башунов был одет по-домашнему, в теплой клетчатой рубашке (он не любил пиджаки и галстуки), на сцену вышел с большой кружкой чая в руках, что вовсе придавало ему домашний вид. Некоторые учителя с удивлением смотрели на него. Кое-кто начал переговариваться с соседями, обмениваясь первыми впечатлениями о поэте. Но едва он произнес начальную строчку, весь зал напряженно затих. А Башунов продолжал читать, не повышая голоса, со своей неповторимой картавинкой, и никто уже не видел и не слышал никого, кроме него.

*Опустишься в сон, как в глубокую воду,
и там, в глубине,
пройдёшь по любимому сердцем народу —
друзьям и родне.
По тем, с кем уже не увидишься въяве
ни нынче, ни впредь.
Ах, кто не мечтал не в болезни, а в славе
легко умереть.
Но что перед жизнью пустые мечтанья!
Как огненный смерч
приносит с собою испуг и страданье,
так ранняя смерть.
И я не хочу никакого загада —
не стоит гроша,
ведь муку чужого предсмертного взгляда
узнала душа.
И я не хочу, точно птица, попасться
в силки, как в беду.
И в день поминальный, девятый по Пасхе,
я вновь к вам приду.
И вновь я услышу, как дышат могилы,
пресилив тиски,
остатком ещё не растроченной силы,
любви и тоски.
И вновь я увижу, как светел и тонок
небесный оклад.
И женщина плачет. И прячет ребёнок
взрослеющий взгляд.*

Поэт закончил читать, а зал еще несколько мгновений потрясенно молчал, переживая услышанное. Потом взорвался аплодисментами и снова тут же затих, напряженно ожидая, когда Башунов продолжит чтение.

После того памятного дня я много раз перечитывал это стихотворение, и оно не переставало поражать меня. Не перестает и до сих пор. Я не говорю о последних двух строчках: «И женщина плачет. И прячет ребенок / взрослеющий взгляд», которые заключают в себе глубочайший духовный и философский смысл, но откуда он взял и девятый день по Пасхе, и услышал как дышат могилы? Скажете мне, что Башунов это вы-

думал сам, что когда он сидел за письменным столом его не навестил Господь, и я вам не поверю. Как не поверят все те, кто по-настоящему любит и умеет ценить поэзию. Впрочем, он сам признался в том, что вдохновение всегда приходит свыше:

*И сжечь ещё тетрадь.
Ещё тетрадь раскрыть.
Легко было начать,
да нелегко забыть.
Твердили дома: «Брось,
а то ни спать, ни есть».
Хотел — не удалось.
Откуда шло — бог весть.
В насмешку ли, во зло,
во счастье ли — как знать?
Цвело, кипело, жгло,
а не давалось взять.
Зато, когда звезда
стояла меж дерев,
издалека тогда
мне слышался напев.
Зато я знал в руке
живого слова дрожь.
И голос вдалеке
был так на мой похож.*

Вот этот голос вдалеке и есть тот самый голос божий, который помогает писать настоящие стихи. И только тот, кому дано услышать его, становится поэтом.

Люди быстро узнают цену материальному. Оценка духовного происходит труднее и требует больше времени. Духовное доступно не каждому, поэтому и цена его намного выше. Много ли на земле народов, которые дали миру литературу, подобную русской? Мы сами еще не до конца осознали ее значение, не поняли, какое богатство оставили нам наши писатели. И самое главное — до сих пор не сумели воспользоваться этим богатством в полной мере.

Башунов никогда не был эстрадным поэтом, в его стихи надо вчитываться, а не воспринимать их на слух, иначе можно не уловить всей глубины мироощущения, тончайших движе-



ний души. Но настоящая поэзия тем и хороша, что ее воспринимаешь и с эстрады, и раскрывая поэтическую книгу. И каждый раз открываешь для себя в, казалось бы, уже давно знакомых строчках что-то новое. Такова тайна поэзии, ее непроходящая притягательная сила. Такова тайна слова.

В уже приведенном стихотворении — «И женщина плачет. И прячет ребенок / взрослеющий взгляд» — вся поэтическая и философская нагрузка лежит всего на одном слове — «взрослеющий». Оно отражает состояние человека и объясняет суть возникшей ситуации. Любое другое слово испортило бы стихотворение, читатель запнулся бы об него, как о случайно оказавшийся на дороге кирпич. Но тем и отличается талант от бездарности, что его строчки вызывают восторг, удивление, неожиданное открытие, ощущение подаренной тебе радости, а не досады. Не зря Маяковский, ворча и утирая градом катящийся с лица пот, заметил однажды: «Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды». Такова цена настоящего поэтического слова.

Однажды ко мне пришел уже довольно немолодой человек с толстой пачкой отпечатанных на компьютере стихов и положил их передо мной, предвосхищая одобрение. В написанных им строчках было все: и рифма, и ритм, и соблюдены все грамматические правила. Не было одного — поэзии. И когда я прямо сказал ему об этом, он совершенно искренне спросил:

— А как можно научиться писать стихи?

Я ответил:

— Никак!

Поэзия — это не ремесло, это дар божий. Он или есть, или его нет. Дар можно совершенствовать, развивать, и тогда он будет расти и расцветать как бережно лелеемое растение. Или засохнет, если на него не обращать внимания. Но если дара нет, то и лелеять нечего. И жалеть потом тоже будет не о чем. Задатки настоящего поэта видны сразу. Даже если его стихи еще наивны и по-детски несовершенны.

Впервые я встретил Башунова теплым августовским вечером в барнаульском городском саду. Это было начало шестидесятых — время взрыва общественного интереса к поэзии. Я уже печатал стихи в краевых газетах и альманахе «Алтай», в Алтайском книжном издательстве лежала рукопись моей первой книжки. Дирекция городского сада пригласила меня выступить

на летней эстраде. Народу собралось много, слушали с интересом, часто аплодировали. А когда закончилось выступление, милая девушка, ведущая вечер, спросила, обращаясь к слушателям:

— А, может быть, и среди вас есть поэты? Мы и вас послушаем с интересом.

У меня сразу пропало настроение. После таких слов на эстраду обычно поднимаются графоманы, которые всегда оказываются среди зрителей, их невозможно остановить, но и слушать нет сил. Я увидел, как с одной из скамеек поднялся худенький русоволосый мальчик, застенчиво вышел на сцену и торопливо, иногда сбиваясь от волнения, начал читать свои стихи. И чем дольше он читал, тем больше росло мое удивление. На сцену вышел не мальчик, а настоящий поэт, его стихи были чистыми, свежими и настолько искренними, что невольно завораживали. Это был Владимир Башунов, три недели назад приехавший из таежного алтайского села Турачак в краевую столицу поступать в Барнаульский педагогический институт. Читал он негромким голосом, с заметной картавинкой, как бы стесняясь своей речи. Но какие стихи исторгал этот негромкий голос!

Вершится таинство в природе.

Уже незримая рука

в лесу,

на речке,

в огороде

всего коснулася слезка.

И на неприбранной поляне

на целый день решаю я

остаться в пестром балагане,

в гостях у синего ручья.

Здесь обострённой ощущенья,

свободней помыслы и речь.

Здесь птичьим посвистом и пеньем

нельзя надменно пренебречь.

Здесь ничего б не помешало

присесть к пеньку и начертать:

«Уж небо осенью дышало...»

Когда бы знать, как продолжать!



Большинство начинающих поэтов в первых своих стихах стараются подражать великим. В этом нет ничего предвзвешенного, каждый из них проходит таким образом школу ученичества. Башунов никому не подражал, он сразу выбрал себе в учителя самого Пушкина. И остался верен этому выбору до конца своих дней.

Из городского сада мы шли вдвоем, Башунов вызвался меня провожать. Мы говорили о современных поэтах, читали наизусть понравившиеся стихи, любовались тихим и спокойным вечерним городом. Он рассказывал о селе Турочак, о сопках, покрытых густой хвойной тайгой, о речке Лебедь, в которой водятся хариус и таймени. Рассказывал красочно, с подробностями, вспоминая истории, случавшиеся когда-то с людьми в этих местах. И вдруг неожиданно сказал, что в педагогический институт он поступил на факультет физкультуры. Меня это настолько удивило, что я остановился.

— Я люблю физкультуру, — сказал Башунов. — Буду тренером.

Я и сейчас убежден, что в своем селе он не имел ни малейшего представления о том, что такое профессиональный спорт. И занимался он в Турочаке не спортом, а именно физкультурой. Да и физические данные у него были совсем не спортивные. Но главное — он писал хорошие стихи. Я сразу вспомнил, что у ответственного секретаря Алтайской краевой писательской организации Александра Григорьевича Баздырева жена была филологом. И не просто филологом, а доцентом кафедры русской литературы Барнаульского педагогического института. Того самого, в который только что поступил Башунов. И я сказал ему:

— Володя, перепиши как можно больше своих стихов и завтра мы вместе с тобой покажем их Баздыреву.

Александр Григорьевич был человеком не очень большого литературного таланта, но хорошо исполнял свои обязанности ответственного секретаря. Не шелохнувшись, он почти целый час слушал стихи Башунова. Потом взял исписанные от руки листки, некоторые пробежал глазами. И сказал, растягивая слова:

— Я обязательно отберу кое-что из них и напечатаю в альманахе «Алтай».

«Алтай» в то время был печатным органом краевой писательской организации. Баздырев открыл папку, чтобы поло-

жить туда стихи Башунова, но я сказал:

— Александр Григорьевич, у Башунова беда. Он поступил в педагогический институт, но перепутал факультеты. Вместо филологического оказался на физкультурном.

Баздырев, подняв брови, с удивлением посмотрел на Башунова. Тому пришлось рассказать историю своего поступления. После чего Александр Григорьевич положил стихи в другую папку и сказал:

— Покажу их вечером жене. Она постарается что-нибудь придумать.

Вскоре после начала занятий в институте Башунова перевели на филологический факультет. О физкультурном он ни разу не вспоминал до самой смерти. Может, с кем-то и говорил на эту тему, но со мной — никогда.

Первая книжка его стихов «Поляна» вышла уже без меня. Я в это время уехал из Барнаула и вернулся многие годы спустя. По мере возможности старался следить за его творчеством, радовался, встречая подборки его стихов в московских журналах. Чувствовалось, что Башунов заметно возмужал в поэзии, у него появилось свое мироощущение, свой четкий и ясный голос.

Снова встретились мы на изломе девяностых. Страна бурлила, толпы людей, опьяненные демократией, собирались на митинги, некоторые алтайские писатели демонстративно отрекались от членства в коммунистической партии (а большинство из них состояли в ней, и партия щедро оплачивала это членство, издавая их книги огромными тиражами). Башунов резко отличался от всех этих возбужденных людей. На митинги не ходил, политических заявлений не делал, но не отодвинулся и в тень, которая уже накрывала многих, до этого известных деятелей литературы. Он начал издавать свою газету «Прямая речь». Без всякого преувеличения, это была одна из лучших газет того времени. Она, словно свеча, притягивала к себе, рассказывая о самом сокровенном в жизни народа. О его корнях, вере, о великих предках и гуманистических идеалах, о том, для чего человек появляется на свет и ради чего он должен жить. Находилось в ней место и для литературы, но литературы высокой, по-настоящему русской, зовущей душу к горным вершинам. Для многих людей каждое ее появление было настоящим событием, они находили в ней утешение. Но, встретив меня, Башунов первым делом спросил:

— Какие мои книжки ты читал?

— Не только не читал, но ни одной не видел, — ответил я.

Через неделю Башунов принес несколько своих книжек. Было видно, что он дорожил моим мнением и хотел знать его. На одной из них он написал: «Станиславу Вторушину — моему первому наставнику со спасибом за доброе напутствие». Я открыл книжку и не смог закрыть ее, пока не дочитал последнее стихотворение.

*Сначала окно голубеет,
лицо обдаёт холодком.
Сначала потянет,
повеет
росою и молоком.
И дальние крыши проступят.
И кроны деревьев взойдут.
И горькие сроки наступят.
И светлые сроки придут.
Обрывками сна и тумана
израя меж розовых туч,
на утренние поляны
опустится утренний луч.
И свет разольётся над миром.
И день возвестит о себе.
И люди оставляют квартиры
и выйдут навстречу судьбе.
Печалься, отчаясь, робея,
надеясь...
Но я не о том.
Сначала окно голубеет,
а все остальное — потом.*

Сколько света, радости в этом стихотворении, с какой легкостью оно написано. Такую легкость ощущаешь — когда стихи пишутся на одном дыхании. Когда строчки возникают сами собой, а рука овладела настоящим мастерством. Вроде все просто, а вдумаясь и увидишь за этой простотой и глубокую философскую мысль, и спрессованный жизненный опыт, и высочайшее профессиональное мастерство.

К сожалению, долго тянуть свое замечательное детище —

газету «Прямая речь» — Башунову не удалось. Денег на нее не было, а у тех, кто имел, выпросить оказалось не по силам. Опьяненные упавшим под ноги счастьем, они были заняты перedelом собственности, открытием в банках счетов, тусовками в среде себе подобных, на которых не только не надо было стыдиться своего неожиданного богатства, но, наоборот, всемерно кичиться им. До культуры ли было этим людям, до поэта ли, озабоченного судьбой Отечества? А Башунову надо было жить, кормить семью и постараться не сойти с ума от наступивших перемен.

Никогда не забуду одну из встреч с ним в те страшные дни. Я зашел в холодный, всегда казавшийся мне темным и уютным Дом писателя. Дом был пуст, как огромный производственный цех, из которого вынесли все оборудование и по полу которого, уже ничего не боясь, начали бегать крысы. В комнате за большим столом одиноко сидел Башунов, одетый в расстегнутое зимнее пальто с поднятым воротником. Поскольку он сидел спиной к двери, из-за воротника выглядывала только его поредевшая макушка. На столе, всегда заваленном рукописями и свежими книгами, не было ни одного листка. На нем стояли початая бутылка водки, пустой стакан и бутылка лимонада.

Башунов был мрачен и молчалив. Увидев меня, он несколько мгновений сидел, опустив голову. Потом, кивнув, произнес: — Если хочешь, наливай.

Я отказался. Мы посидели за столом друг против друга несколько минут, не проронив ни слова. Я чувствовал, что Башунов не хочет говорить потому, что и без слов все было ясно. Я ничем не мог утешить его, он не мог утешить меня. Я встал и молча вышел. Он проводил меня отстраненным взглядом и тихо повернулся к столу. У меня до боли сжалось сердце. Именно в эту минуту я понял всю трагедию русских писателей, оказавшихся после революции за границей и вдруг осознавших, что они никому не нужны. Теперь писатели стали никому не нужны на своей родине.

А жить все равно было надо. В мучительных поисках заработка Башунов стал заниматься писать то историю района, то историю какого-нибудь предприятия. Но удивительное дело. Даже эти, казалось бы, халтурные вещи, получались у него необыкновенно интересными. Он и здесь не мог опустить талант до уровня халтуры. Тогда же начала происходить и переоценка многого из того, что было раньше.

*Вот и ягода с печалинкой,
с холодинкою вода.
Гуси к берегу причалили,
разбрелись в лугах стада.
Бор листом и хвоей выстелен,
в соснах вспышки янтаря.
Это я стою под выстрелом
золотого сентября.
Это синий свет колышется.
Это воздух говорит.
Как далёко выстрел слышится!
Как лицо моё горит!
Как мучительно, несвязанно
проступает между строк
всё, что всуе было сказано
и чему приходит срок.*

Не знаю, как бы он пережил эти годы, если бы не познакомился со священником Михаилом Капрановым. Отец Михаил был одним из самых замечательных людей, живших в то время в Барнауле. Не могу сказать, что он сделал Башунова православным, к вере каждый приходит по—своему, но он очень помог Башунову. В первую очередь тем, что не дал угаснуть вере в лучшие времена.

Отец Михаил переехал в Барнаул из Красноярска, служа в одной из церквей которого не только познакомился, но и подружился с Виктором Петровичем Астафьевым. Знаком был с ним и Башунов, но настоящая дружба между двумя писателями началась после приезда в Барнаул отца Михаила. На Алтае жил фронтовой друг Астафьева Петр Герасимович Николаенко. Приезжая в Барнаул, чтобы встретиться с ним, Виктор Петрович всегда останавливался на квартире отца Михаила, где его ждали как самого родного человека. Так же встречали там и Башунова. Такая уж атмосфера была в семье Капрановых.

Вместе с отцом Михаилом Башунов не раз приезжал к Виктору Петровичу в его родную Овсянку. Вместе они поехали и на похороны писателя. Но по дороге их машина попала в аварию, отцу Михаилу пришлось вернуться в Барнаул, а Башунов, несмотря ни на что, добрался до Красноярска. После возвращения с похорон он написал удивительные по своей искренности

и нежности воспоминания о писателе. Свое прощальное слово.

«Виктор Петрович нежно любил поэзию, — писал Башунов, — тонко ее чувствовал, отдавал ей первенство перед прозой, знал поэтов Запада и Востока, а уж своих, кровных, расейских — и говорить нечего.

В первое мое быватье в Овсянке, лет пятнадцать примерно назад, когда никто не мешал разговору вдвоем — говорил, конечно, Виктор Петрович, а я, и так-то не любивший говорить, тут все «звука не ронял» — только бы послушаться досыта!..

Удивительно, что почему-то вспомнили посреди деревенского раннего лета японцев стародавних, китайскую пейзажную лирику почему-то, и, осмелев, я прочитал несколько миниатюр Басё, которого любил изо всех отдельно, — хокку пять, может, шесть, что зацепились, чудом удержались в моей дырявой памяти... Читая, не зрением увидел — кожей услышал, как заволновался Виктор Петрович, откликнувшись на Басё.

И все бежит, кружит мой сон

По выжженным лугам...

Можно, частью, привыкнуть к расставаниям насовсем — так много выжжено дорогих полей и лугов за минувшее страшное десятилетие, так часто случались расставания. Но невозможно привыкнуть к этой острой тайне — мгновенному переходу человека из живого общения в область воспоминания».

После смерти Астафьева Башунов надолго замкнулся в себе, многим даже казалось, что он не хочет ни с кем общаться.

*Столько думок в голове теснится,
столько в сердце плачется тревог,
что едва метнёшься за порог,
то одно желание — напиться!
То есть впасть в классический порок.
То есть выпасть,
пусть хоть на мгновенье
размягчась сердцем и умом,
из постылого оцепененья
жизни, опрокинутой вверх дном.
Я сие желанье пересилю
в этот раз, в другой и третий раз...
Мать Божья, Оберег России,
или отвернулась Ты от нас?*

*И без материнского догляда
все пошло рывком да кувырком.
Тянет ниоткуда сквозняком.
А душа, взыскуя, ищет лада
и бредёт по углям босиком.*

У меня часто возникало ощущение, что Башунов, несмотря на огромный круг знакомых и большое число друзей, всю свою жизнь оставался одиноким. Да он и сам не скрывал этого, говоря: «Поэт одинок вдвойне, втройне. Чем ярче и сильнее дар, тем больше в нем одиночества, тем глуше и непреодолимей стена разделяющая». После смерти Виктора Петровича это одиночество стало проглядываться еще отчетливее. Он надолго исчезал, по месяцу и более не появляясь на людях. И вдруг принес одну из самых удивительных своих вещей — «Этюды о Пушкине».

Пушкин для нас — такая же, если не большая тайна, чем «Джоконда» Леонардо да Винчи. Сколько столетий искусствоведы и ученые пытаются разгадать ее улыбку, сколько заверений мы слышим, что она наконец-то разгадана, но стоит еще раз бросить взгляд на портрет самой знаменитой в мире итальянки и неповторимая женская улыбка снова становится тайной. То же и с Пушкиным.

«Меня всю жизнь со школы преследовали мечтания о Пушкине, — писал однажды Башунов своему другу Валентину Курбатову. — Хоть бы на киноплёнке его живого вполглаза посмотреть, но ведь и этой ерунды тогда не было. Многих бы интересно посмотреть, только Пушкина — особенно и всегда».

Помню, как совершенно неожиданно очутились мы вместе с ним в приемной только что избранного губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Башунову было назначено время намного раньше меня, и к моему приходу он уже должен был закончить свой разговор. Но тот, кто зашел перед ним, задержался в высоком кабинете, и Башунову больше часа пришлось ждать своей очереди. Здесь мы и встретились.

Я не знал, с чем он идет к Евдокимову, я же пришел выпрашивать деньги на то, чтобы погасить долг журнала «Алтай» перед типографией. Первая моя встреча с каждым новым губернатором всегда начиналась с этого. Приемная была полна народу, Евдокимов большую часть времени проводил не в ра-

бочем кабинете, а в своем родовом селе Верх-Обское, и, чтобы сократить очередь, нас с Башуновым запустили к нему вместе. Дескать, раз оба писатели, значит и вопросы у них одни и те же.

Евдокимов встретил нас улыбаясь, вышел из-за стола, поздоровался за руку. И мы, обменявшись взглядами, сочли это за хорошее предзнаменование. Башунов начал разговор первым. Сказал, что хочет написать историю алтайского села. Собрал уже большой материал, нашел интереснейшие документы, и даже начал кое-что писать, но для того чтобы книга получилась добротной, необходимо съездить в некоторые районы края, повстречаться с необходимыми людьми и, главное, найти потом деньги на ее издание. Евдокимов сидел за столом, над ним на стене красовался портрет президента, а на столе стояли несколько маленьких иконок. Время от времени он бросал на них взгляд, но как только Башунов заговорил о селе, глаза губернатора потухли, он молчал и лишь покачивал головой. Меня губернатор почти не слушал. Попросил только оставить ему бумагу с моей просьбой. Напоследок сказал обоим:

— Я подумаю, что можно сделать. Но только не сейчас. Сейчас не до этого.

Мы долго не могли выйти из кабинета, потому что дверь оказалась запертой. Чтобы открыть ее, нужно было нажать на специальную кнопку. Евдокимов подсказал, где она находится. Выйдя из кабинета, мы с Башуновым не смотрели друг на друга, потому что в который раз убедились: люди, идущие во власть, до выборов говорят одно, после выборов — совсем другое. Мы же, каждый раз получая вместо конфетки фантик, стараемся убедить себя, что и он сладкий.

Когда мы оказались в коридоре, Башунов поднял на меня задумчивые глаза и с горечью сказал:

— Вот если бы в кабинете каждого губернатора вместо нынешней фотографии висел портрет Пушкина, мы жили бы совсем по-другому.

Пушкина он вспомнил не как поэта, а как человека высочайшей культуры и глубокого государственного ума. Ему казалось, что Пушкин бы понял его, правильно оценил и принял единственно верное решение. Книга Башунова об истории алтайского крестьянства так и не появилась на свет.

Пушкина он любил до самозабвения. Звоня иногда мне и попадая на жену, Башунов всегда говорил ей:



— Приветствую тебя, Петра творенье! (Мою жену по отчеству величают Петровкой.)

И звонко смеялся, радуясь тому, что и здесь Пушкин оказывался к месту.

«Такое ощущение, что в Пушкине нет исчерпанности, — писал Башунов в своих «Этюдах». — Только вчитаешься во что-нибудь, только почувствуешь, будто приблизился к пониманию тайны, глядь, а в ней или за нею стоят две новых. И так без конца...

Такого чтения, взглядывания и вдумывания хватит на всю жизнь — не только отдельному человеку, но — всей России».

Почитали бы наши образованцы, ведающие школами, эти строки, может быть, и не стали бы проводить свои антигуманитарные реформы и сокращать количество уроков, отводимых на изучение родной классики. Но до взглядывания и до вдумывания ли им в то, что написал Пушкин?

В самом начале 2004 года вышла предпоследняя из прижизненных изданий книжка Владимира Башунова «Ау». Как было сказано в аннотации, «поэт отобрал для издания стихи, в каких присутствует именно окликание той сокровенной жизни, что помнится и хранится в его душе, тех людей, которых он любил и любит». Включил он в этот сборник и несколько пронзительных по своему звучанию стихов о матери.

*Я люблю эту странную область,
этот мир полуснов, полугрёз,
где на всём ещё светится отблеск
твоей жизни — улыбок и слёз.
Мне иной не осталось отрады:
мне заказаны встречи вовне.
Возле крашеной синей ограды
пресекается голос во мне.
Хорошо здесь. Никто нас не слышит.
Я с тобой говорю полувслух.
Отблеск твой мою память колышет,
Реет близко невидимый дух.
Сосны тихим баюкают шумом.
Льётся пеня тонкая нить.
Нет конца моим грёзам и думам,
нет желанья из них выходить.*

Башунов ждал эту книгу и радовался ее выходу. До сих пор помню его счастливые глаза, когда он подписывал ее мне. И мы, его друзья, радовались, потому что по себе знали: каждая новая книга для поэта — всегда событие. Тем неожиданней для всех нас стала травля, начатая кучкой людей, считающих себя писателями. Они долго терпели его успех, оставаясь незамеченными ни читателями, ни литературной критикой. Эта ситуация, по всей видимости, доводила их до исступления, и они решили, что пришло время свергнуть кумира. Газета «Алтайская правда» напечатала гнуснейшую рецензию, которая называлась «Истоцимо терпенье». В ней говорилось о том, что предпринятая Башуновым «попытка создать лирическое настроение не убедительна и не нова, все сочинено на основе заурядного ритма с правильными рифмами». «За что же были вручены Башунову пять литературных премий?» — восклицал автор убийственно-злой рецензии.

Вслед за этой публикацией появилось не менее гнусное сочинение в журнале «Барнаул». В нем вообще не говорилось о поэзии Башунова — ведь для того, чтобы объективно и беспристрастно судить о поэте, надо самому подняться до его уровня. А поскольку сделать это невозможно, надо забросать его комьями грязи. Иначе говоря, совершить литературный расстрел. Чего только не наплел автор в этом сочинении!

К великому сожалению, для Барнаула такое отношение к талантам весьма характерно. Недаром Василий Шукшин, на фильмы которого «Алтайская правда» того времени писала расстрельные рецензии, объезжал этот город за сто верст. Отправляясь из Москвы в свое родное село Сростки, он летел самолетом до Новосибирска, а оттуда, минуя Барнаул, поездом добирался до Бийска. Башунову ехать было некуда, отравленные стрелы попадали ему прямо в сердце. Осенью его положили в кардиологический центр, сделали на сердце операцию. Через два месяца Владимира Башунова не стало.

Поздним вечером перед похоронами проститься с поэтом приехали его новосибирские друзья—писатели Владимир Берязев и Михаил Щукин. Мы с писателем, давним другом Владимира Башунова, Анатолием Кирилиным встретили их на вокзале и прямо оттуда повезли в Свято-Никольский храм, где стоял гроб с телом поэта. Отпевать его должны были на следующее утро, а до этого всю ночь над гробом должны были



читать молитвы. В церкви, тускло подрагивая, горели свечи, пахло воском, у гроба стояло несколько человек, пришедших попрощаться с поэтом. Недалеко от гроба женщина, покрытая черным платком, читала молитвы негромким голосом. У Берязева повлажнили глаза, глядя на гроб, он опустил голову. Михаил Щукин, угрюмо уставившись в одну точку, отрешенно молчал. У меня защемило сердце. Вдруг вспомнились светлые, необыкновенно легкие, небесные строки Башунова:

*Завидная доля черёмух —
завянуть и снова расцвести.
Во всём на земле очерёдность,
всему повторение есть.
А мне повторенья не будет.
За краем ослепшего дня
и ливень меня не разбудит,
и лес позабудет меня.
Земля станет тёмной, оплывшей...
Но каждую клеткой своей,
не сдавшейся,
не остывшей,
я всё буду помнить о ней!*

Постояв у гроба, мы вышли из церкви. Город уже давно накрыла ночь, яркие, переливающиеся звезды расцветили небо. Мы, не сговариваясь, подняли головы к звездам. Куда-то туда скоро переместится душа поэта. А его прекрасные строчки навсегда останутся с нами.

СОДЕРЖАНИЕ

Рассказы

Тропинка памяти.....	5
Алешкины каникулы.....	13
Ах, зачем эта ночь.....	22
Аркаша.....	31
Женщина в черном.....	38
Тень в раю	47
Отец	55
Сумерки	71
Вечный зов Севера	82
Горькие орехи	99
Венчание	114
Повторный брак.....	127
Я вас люблю	144
Счастливый день.....	161
Очнись и пой	169
Сыновий поклон	187
Милка	204
Нелетная погода	216
На кунцевской даче	227

Повесть

Не кричи, кукушка	239
-------------------------	-----

Цикл эссе «Лики друзей»

Батюшка.....	299
До кровинки здешний человек	310
В его стихах звучала музыка	326
А мне повторенья не будет.....	335

Станислав Васильевич Вторушин

Не кричи, кукушка

проза

Дизайнер: К. М. Паршина
Редактор: И. С. Малышева
Корректор: Т. А. Дубовская
Верстка: Е. К. Метякова

Подписано в печать 22.11.2018 г.
Формат 84x108/32. Тираж 500 экз. Заказ № 1643.

Отпечатано в ООО «Технопринт».
650004, Российская Федерация, Кемеровская обл.,
г. Кемерово, ул. Сибирская, 35а. Тел. (3842) 35-21-19.



Вторушин Станислав Васильевич родился в Новосибирске. Вырос на Алтае. Окончил среднюю школу в Змеиногорске, Алтайский политехнический институт (1962), отделение журналистики Высшей партийной школы при ЦК КПСС (1974). С 1965 г. работал в газетах «Алтайская правда», «Красное знамя» (Томск), с 1974 по 1994 г. был собственным корреспондентом «Правды» в Тюмени, Новосибирске, Чехословакии, Барнауле.

Первое стихотворение опубликовано в 1957 г. в газете «Молодежь Алтая». Участвовал во 2-м Всероссийском совещании молодых писателей (1966, Кемерово). Публиковался в журнале «Гало субота» (Прага).

С 1997 г. главный редактор журнала «Алтай». Заместитель председателя и председатель редакционно-издательских советов книжных серий «Библиотека «Писатели Алтая» (1998–2004) и «Библиотека журнала «Алтай» (издается с 2003 г.). Награжден медалями Алтайского отделения Петровской академии наук и искусств (2000, 2001), серебряной медалью Международного фонда славянской письменности (2005), Почетной грамотой «Век М. А. Шолохова» (2005).

Член-корреспондент Петровской Академии наук и искусств (1997).

Член Союза писателей России с 1995 г.

